

ШКОЛЬНАЯ



БИБЛИОТЕКА

СЕРВАНТЕС

ДОН КИХОТ

В двух частях

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Москва
«Просвещение»
1985

И (Исп)
С32

Текст печатается по изданию:
Мигель де Сервантес Сааведра.
Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский.
(Библиотека мировой литературы для детей, т. 34).
М., Детская литература, 1980.

Сокращенный перевод с испанского *Н. Любимова*

Вступительная статья *Б. Пуришева*

Иллюстрации *Г. Доре*

Сервантес Сааведра Мигель де.

С32 **Дон Кихот.** В 2-х ч. Ч. 2/Сокр. пер. с исп. *Н. Любимова*;
Вступ. ст. *Б. Пуришева*; Ил. *Г. Доре*.— М.: Просвещение,
1985.—256 с., ил.— (Шк. б-ка).

Книга одного из величайших писателей мира, классика испанской литературы Мигеля де Сервантеса Сааведры, предназначена учащимся 6 класса, в соответствии со школьной программой. Вступительная статья написана доктором филологических наук *Б. И. Пуришевым*. Книга состоит из двух частей.

С 4800000000—335 инф. п.—84
103(03) —85

ББК 84
И(Исп)

© Оформление. Издательство «Просвещение», 1985 г



МИГЕЛЬ ДЕ СЕРВАНТЕС СААВЕДРА

ХИТРОУМНЫЙ ИДАЛЬГО ДОН КИХОТ ЛАМАНЧСКИЙ

Часть вторая

ГЛАВА I

*О разговоре, который священник и цирюльник вели
с Дон Кихотом касательно его болезни*

Священник и цирюльник почти целый месяц не бывали у Дон Кихота, чтобы не вызывать и не воскрешать в его памяти минувших событий; однако ж они заходили к племяннице и ключнице и просили заботиться о нем и давать ему что-нибудь питательное и полезное для сердца и мозга, где, вне всякого сомнения, и коренится, дескать, все его злополучие. Женщины сказали, что они так и делают и будут делать с крайним усердием и готовностью: они, мол, уже замечают, что временами их господин обнаруживает все признаки здравомыслия, чему те двое весьма обрадовались, а также тому, как ловко они придумали — привезти его, заколдованного, на волах, о каковой их затее повествуется в последней главе первой части этой столь же великой, сколь и достоверной истории; и по сему обстоятельству порешили они навестить его и убедиться воочию, подлинно ли ему лучше, что казалось им, впрочем, почти невероятным, и уговорились между собою не дотрагиваться до этой его еще свежей и столь странной раны, а о странствующем рыцарстве даже не заикаться.

Итак, они пришли к нему и застали его сидящим на постели в зеленом байковом камзоле и в красном толедском колпаке, и был он до того худ и изможден, что походил на мумию. Он при-

нял их с отменным радушием; они осведомились о его здоровье, и в самых изысканных выражениях; наконец речь зашла о так называемых государственных делах и образах правления, причем иные злоупотребления наши собеседники искореняли, иные — осуждали, одни обычаи исправляли, другие — упраздняли, и каждый чувствовал себя в это время новоявленным законодателем: вторым Ликургом* или же новоиспеченным Солоном*; и так они все государство переиначили, что казалось, будто они бросили его в горн, а когда вынули, то оно было уже совсем другое; Дон Кихот обо всех этих предметах рассуждал в высшей степени умно, и у обоих посетителей не осталось сомнений, что он совершенно здоров и в полном разуме.

При этой беседе присутствовали племянница и ключница и неустанно благодарили бога за то, что их господин вполне образумился; однако ж священник, изменив первоначальному своему решению — не касаться рыцарства, пожелал окончательно удостовериться, точно ли Дон Кихот выздоровел или же это выздоровление мнимое, и для того исподволь перешел к столичным новостям и, между прочим, передал за верное, что султан турецкий с огромным флотом вышел в море*, но каковы его замыслы и где именно ужасная сия гроза разразится, этого-де никто не знает; и что-де, мол, снова, как почти каждый год, весь христианский мир пребывает в страхе и бьет тревогу, а его величество король повелел укрепить берега Неаполя, Сицилии и острова Мальты*. Дон Кихот же на это сказал:

— Укрепив заблаговременно свои владения, дабы неприятель не застигнул его врасплох, его величество поступил как предусмотрительнейший воин. Однако ж, обратись его величество за советом ко мне, я бы ему посоветовал принять такие меры предосторожности, о которых он ныне, верно, и не подозревает.

Цирюльник спросил Дон Кихота, какие именно меры предосторожности он почитает за нужное принять.

— Ах ты господи! — вскричал тут Дон Кихот. — Да что стоит его величеству приказать через глашатаев, чтобы все странствующие рыцари, какие только скитаются по Испании, в назначенный день собрались в столице? Хотя бы даже их явилось не более полдюжины, среди них может оказаться такой, который один сокрушит всю султанову мощь. Слушайте меня со вниманием, ваши милости, и следите за моею мыслью. Неужели это для вас новость, что один-единственный странствующий рыцарь способен перерезать войско в двести тысяч человек, как если бы у всех у них было одно горло или же если бы они были сделаны из марципана? Нет, правда, скажите: не на каждой ли странице любого романа встречаются подобные чудеса? Даю голову на отсечение, свою собственную, а не чью-нибудь чужую, что живи ныне славный дон Бельянис или

же кто-либо из многочисленного потомства Амадиса Галльского, словом, если б кто-нибудь из них дожил до наших дней и переведался с султаном,— скажу по чести, не хотел бы я быть в шкуре султановой! Впрочем, господь не оставит свой народ и пошлет ему кого-нибудь, если и не столь грозного, как прежние странствующие рыцари, то уж, во всяком случае, не уступающего им в твердости духа. Засим господь меня разумеет, а я умолкаю.

— Ах! — воскликнула тут племянница.— Убейте меня, если мой дядюшка не задумал снова сделаться странствующим рыцарем!

Дон Кихот же ей на это сказал:

— Странствующим рыцарем я и умру, а султан турецкий волен, когда ему вздумается, выходить и приходить с каким угодно огромным флотом. Повторяю: господь меня разумеет.

Тут вмешался цирюльник:

— Будьте добры, ваши милости, дозвоьте мне рассказать одну небольшую историйку, которая произошла в Севилье. Она будет сейчас как раз к месту, и потому мне не терпится ее рассказать.

Дон Кихот изъявил согласие, священник и все остальные приготовились слушать, и цирюльник начал так:

— В севильском сумасшедшем доме находился один ученый человек, которого туда посадили родственники, оттого что он лишился рассудка. Проведя несколько лет в затворе, ученый вообразил, что он опамятовался и находится в совершенном уме, и потому написал архиепископу письмо, в каковом письме, вполне здраво рассуждая, убедительно просил архиепископа помочь ему выйти из того бедственного положения, в коем он пребывает, ибо по милости божией он, дескать, уже пришел в себя; однако родственники, чтобы воспользоваться его долей наследства, держат его, мол, здесь и, вопреки истине, желают, чтобы он до конца дней своих оставался умалишенным. Архиепископ, убежденный многочисленными его посланиями, свидетельствовавшими о рассудительности его и благоразумии, в конце концов послал капеллана* узнать у смотрителя дома умалишенных, правда ли то, что пишет больной, а также поговорить с самим сумасшедшим, и если, мол, он увидит, что тот пришел в разум, то пусть-де вызволит его оттуда и выпустит на свободу. Капеллан так и сделал, и смотритель ему сказал, что больной по-прежнему не в себе и что хотя он часто рассуждает как человек большого ума, однако ж потом начинает говорить несуразности, и они у него столь же часты и столь же необычайны, как и его разумные мысли, в чем можно-де удостовериться на опыте, стоит только с ним побеседовать. Капеллан пожелал произвести этот опыт и, запершись с сумасшедшим, проговорил с ним более часа, и за все это время помешанный не сказал ничего несообразного или же нелепого, напротив того,

он выказал такую рассудительность, что капеллан принужден был поверить, что больной поправился; между прочим, сумасшедший объявил, что смотритель на него клеветает, ибо не желает лишаться взяток, которые ему дают родственники больного: якобы за взятки смотритель, мол, и продолжает уверять, что больной все еще не в своем уме, хотя по временам, дескать, и наступает просветление; главная же его, больного, беда — это, мол, его богатство, ибо недруги его, чтобы таковым воспользоваться, пускаются на всяческие подвохи и выражают сомнение в той милости, какую явил ему господь, снова превратив его из животного в существо разумное. Коротко говоря, смотрителя он выставил человеком, доверия не внушающим, родственников — своекорыстными и бессовестными, а себя самого — столь благоразумным, что капеллан в конце концов решился взять его с собой, чтобы архиепископ мог во всем убедиться воочию. Поверив больному на слово, добрый капеллан попросил смотрителя выдать ему платье, в котором он сюда прибыл; смотритель еще раз посоветовал капеллану хорошенько подумать, ибо тот, вне всякого сомнения, все еще, дескать, поврежден в уме. Однако ж, несмотря на все предостережения и увещания смотрителя, капеллан остался непреклонен в своем желании увезти больного с собой; смотритель повиновался, тем более что распоряжение исходило от архиепископа*; на больного надели его собственное платье, новое и приличное, и когда тот увидел, что он одет, как человек здоровый, а беличий халат с него сняли, то попросил капеллана в виде особого одолжения позволить ему попрощаться со своими товарищами сумасшедшими. Капеллан сказал, что ему тоже хочется пойти посмотреть на сумасшедших. Словом, они отправились, а вместе с ними и еще кое-кто; и как скоро выздоровевший приблизился к клетке, где сидел буйный помешанный, который, впрочем, был тогда тих и спокоен, то обратился к нему с такими словами:

«Скажите, приятель, не нужно ли вам чего-либо? Ведь я ухажу домой — господу богу, по бесконечному его милосердию и человеколюбию, угодно было возратить мне, недостойному, разум: теперь я снова в здравом уме и твердой памяти, ибо для всемогущества божия нет ничего невозможного. Надейтесь крепко и уповайте на господа: коли он меня вернул в прежнее состояние, то вернет и вас, только положитесь на него. Я постараюсь послать вам чего-нибудь вкусного, а вы смотрите непременно скушайте: смею вас уверить, как человек, испытавший это на себе, что все наши безумства проистекают от пустоты в желудке и от воздуха в голове. Мужайтесь же, мужайтесь: кто падает духом в несчастии, тот вредит своему здоровью и ускоряет свой конец».

Все эти речи слышал другой сумасшедший, сидевший в другой клетке, напротив буйного; поднявшись с ветхой циновки,

на которой он лежал нагишом, этот второй сумасшедший громко спросил, кто это возвращается домой в здравом уме и твердой памяти. Выздоровевший ему ответил так:

«Это я ухожу, приятель, мне больше незачем здесь оставаться, за что я и воссылаю бесконечные благодарения небу, оказавшему мне столь великую милость».

«Полноте, как бы над вами лукавый не подшутил,— сказал сумасшедший,— торопиться вам некуда, сидите себе смиренно на месте, все равно потом придется возвращаться назад».

«Я уверен, что я здоров,— настаивал тот,— мне незачем возвращаться сюда и сызнова претерпевать все мытарства».

«Это вы-то здоровы? — сказал сумасшедший.— Ну что ж, проживем — увидим, ступайте себе с богом, но клянусь вам Юпитером, коего величие олицетворяет на земле моя особа, что за один этот грех, который ныне совершает Севилья, выпуская вас из этого дома и признавая вас за здорового, я ее так покараю, что память о том пребудет во веки веков, аминь. Я — Юпитер Громовержец, который держит в руках всеопалюющие молнии, коими я могу и имею обыкновение грозить миру и разрушать его. Но сей невежественный град я накажу иначе: клянусь три года подряд, считая с того дня и часа, когда я произношу эту угрозу, не дождить не только самый город, но и округу его и окрестность. Как, ты на свободе, ты в здравом уме, ты в твердой памяти, а я сумасшедший, я неменяемый, я под замком?.. Да я скорей удавлюсь, нежели пошлю дождь!»

Присутствовавшие все еще слушали выкрики и речи помешанного, как вдруг выпускаемый на свободу, обратившись к капеллану и схватив его за руки, молвил:

«Не огорчайтесь, государь мой, и не придавайте значения словам этого сумасшедшего, ибо если он — Юпитер и он не станет кропить вас дождем, то я — Нептун, отец и бог вод, и я буду кропить вас сколько потребуется и когда мне вздумается».

Капеллан же ему на это сказал:

«Со всем тем, господин Нептун, не должно гневить господина Юпитера: оставайтесь-ка вы здесь, а уж мы как-нибудь в другой раз, когда нам будет сподручнее и посвободнее, приедем за вашей милостью».

Смотритель и все присутствовавшие фыркнули, но капеллан на них рассердился; больного раздели, и остался он в доме умалишенных, и на этом история оканчивается.

— Это и есть та самая история, сеньор цирюльник, которая так будто бы подходила к случаю, что вы не могли ее не рассказать? — спросил Дон Кихот.— Ах, сеньор брадобрей, сеньор брадобрей, до чего же люди иной раз бывают неловки! Неужели ваша милость не знает, что сравнение одного ума с другим, одной доблести с другою, одной красоты с другою и одного знатного рода с другим всегда неприятно и вызывает неудоволь-

ствие? Я, сеньор цирюльник, не Нептун и не бог вод и, не будучи умен, за умника себя и не выдаю. Единственно, чего я добиваюсь,— это объяснить людям, в какую ошибку впадают они, не возрождая блаженнейших тех времен, когда подвизалось странствующее рыцарство. Однако же наш развращенный век недостойн наслаждаться столь великим счастьем, каким наслаждались в те века, когда странствующие рыцари вменяли себе в обязанность и брали на себя оборону королевств, помощь сирым и малолетним, наказание гордецов и награждение смиренных. Большинство рыцарей, подвизающихся ныне, предпочитают шуршать шелками, парчою и прочими дорогими тканями, нежели звенеть кольчугою. Теперь уж нет таких рыцарей, которые согласились бы в любую погоду, вооруженные с головы до ног, ночевать под открытым небом, и никто уже по примеру странствующих рыцарей не клюет, как говорится, носом, опершись на копье и не слезая с коня. Найдите мне хотя одного такого рыцаря, который, выйдя из лесу, взобравшись потом на гору, а затем спустившись на пустынный и нелюдимый берег моря, вечно бурного и беспокойного, и видя, что к берегу прибило утлый челн без весел, ветрила, мачты и снастей, бесстрашно ринулся бы туда и отдался на волю неумолимых зыбей бездонного моря, а волны то вознесут его к небу, то низвергнут в пучину, рыцарь же грудь свою подставляет неукротимой буре; и не успевает он оглянуться, как уже оказывается более чем за три тысячи миль от того места, откуда отчалил, и вот он ступает на неведомую и чуждадную землю, и тут с ним происходят случаи, достойные быть начертанными не только на пергаменте, но и на меди. Между тем в наше время леность торжествует над рвением, праздность — над трудолюбием, порок — над добродетелью, наглость — над храбростью и мудрствования — над военным искусством, которое безраздельно царило и процветало в золотом веке и в век странствующих рыцарей. Нет, правда, скажите: кто целомудреннее и отважнее славного Амадиса Галльского? Кто благоразумнее Пальмерина Английского? Кто сговорчивее и уживчивее Тиранта Белого? Кто обходительнее Лисуарта Греческого?* Кто получал и наносил больше ударов, чем дон Бельянис? Кто неустрашимее Перiona Галльского, кто выдержал больше испытаний, чем Фелисмарт Гирканский, и кто прямодушнее Эспландиана? Кто удалее дон Сиронхила Фракийского? Кто смелее Родамонта?* Кто предусмотрительнее короля Собрина?* Кто дерзновенней Ринальда? Кто непобедимей Роланда? Все эти рыцари, а также многие другие, которых я мог бы назвать, были рыцарями странствующими, краскою и гордостью рыцарства. Вот таких-то и подобных им рыцарей я и имел в виду: они не за страх, а за совесть послужили бы его величеству, султану же пришлось бы рвать на себе волосы. Ну, а мне, видно, придется остаться дома, коль скоро капеллан меня с собой не берет. Если же Юпи-



тер, как нам сказал цирюльник, не пошлет дождя, так я сам буду его посылать, когда мне заблагорассудится. Говорю я это, чтобы сеньор Таз-для-бритья знал, что я его понял.

— Право, сеньор Дон Кихот, у меня было совсем другое на уме, — возразил цирюльник, — намерения у меня были хорошие, истинный бог, так что ваша милость напрасно сердится.

— Напрасно или не напрасно — это уж дело мое, — отрезал Дон Кихот.

Но тут вмешался священник:

— До сих пор я не сказал и двух слов, но мне все же хоте-

лось бы разрешить одно сомнение, которое гложет и точит мне душу, а возникло оно в связи с тем, что нам только что поведал сеньор Дон Кихот.

— За чем же дело стало? — молвил Дон Кихот. — Пожалуй-ста, сеньор священник, поделитесь своим сомнением — нехорошо, когда на душе что-то есть.

— Так вот, с вашего дозволения, — начал священник, — сомнение мое заключается в следующем: я никак не могу допустить, чтобы вся эта уйма странствующих рыцарей, коих вы, сеньор Дон Кихот, перечислили, чтобы все они воистину и вправду существовали на свете, как живые люди, — напротив того, я полагаю, что все это выдумки, басни и небылицы, что все это сновидения, о которых люди рассказывают пробудившись или, вернее сказать, в полусне.

— Вот еще одно заблуждение, в которое впадали многие, не верившие, что на свете существовали подобные рыцари, — возразил Дон Кихот, — я же многократно, в беседе с разными людьми и в различных обстоятельствах, старался разъяснить эту почти всеобщую ошибку, причем иногда мне это не удавалось, а иногда, навесивши ее на древко истины, я цели своей достигал. Между тем истина сия непреложна, и я готов утверждать, что видел Амадиса Галльского собственными глазами и что он был высок ростом, лицом бел, с красивою черною бородою, с полуласковым-полусуровым взглядом, скуп на слова, гневался не вдруг и легко остывал. И так же точно, как я обрисовал Амадиса, я мог бы, думается мне, изобразить и описать всех выведенных в романах странствующих рыцарей, какие когда-либо в подлунном мире странствовали, ибо, приняв в соображение, что они были именно такими, как о них пишут в романах, зная их нрав и подвиги, всегда можно с помощью правильных умозаключений определить их черты, цвет лица и рост.

— Сеньор Дон Кихот! А как высок был, по-вашему, великан Моргант? — спросил цирюльник.

— Касательно великанов существуют разные мнения, — отвечал Дон Кихот, — кто говорит, что они были, кто говорит, что нет, однако ж в Священном писании, где все до последнего слова — совершенная правда, имеется указание на то, что они были, ибо Священное писание рассказывает нам историю этого здоровенного филистимлянина Голиафа*, который был семи с половиною локтей росту, то есть величины непомерной. Затем, на острове Сицилии были найдены берцовые и плечевые кости, и по размерам их видно, что они принадлежали великанам ростом с высокую башню. Однако ж, со всем тем, я не могу сказать с уверенностью, какой величины достигал Моргант, хотя думаю, что вряд ли он был уж очень высок; пришел же я к этому заключению, прочитав одну книгу, посвященную, в коей особо подчеркивается то об-

стоятельство, что он часто ночевал под кровлею, а если уж находились такие дома, где он мог поместиться, значит, величина его была не непомерна.

— Вот оно что! — молвил священник.

Ему доставляла удовольствие великая эта нелепица, и потому он спросил, как представляет себе Дон Кихот наружность Ринальда Монтальванского, Роланда и прочих пэров Франции, ибо все они были странствующими рыцарями.

— Осмеливаюсь утверждать, — отвечал Дон Кихот, — что Ринальд был широколиц, румян, с бегающими глазами немного навывкате, самолюбив и вспыльчив донельзя, водился с разбойниками и темными людьми. Что же касается Роланда, то я полагаю и утверждаю, что росту он был среднего, широк в плечах, слегка кривоног, смугл лицом, рыжебород, телом волосат, со взглядом грозным, скуп на слова, однако ж весьма учтив и благовоспитан.

Тут во дворе раздались громкие крики ключницы и племянницы, которые еще раньше вышли из комнаты, и все выбежали на шум.

ГЛАВА II,

повествующая о достопримечательном пререкании Санчо Пансы с племянницею и ключницею Донкихотовыми, равно как и о других забавных вещах

Итак, Дон Кихот, священник и цирюльник услышали голоса ключницы и племянницы, кричавших на Санчо Пансу; Санчо добивался, чтобы его пустили к Дон Кихоту, а они ему преграждали вход.

— Что этому бродяге здесь нужно? Проваливай-ка, братец, подобру-поздорову: ведь это ты, а не кто другой, совращаешь и сманиваешь моего господина и таскаешь его по всяким дебрям.

Санчо же на это ответил так:

— Чертова ключница! Сманивали, совращали и таскали по всяким дебрям меня, а не вашего господина: это он потащил меня мыкаться по белу свету — так что вы обе попали пальцем в небо, — это он хитростью выманил меня из дому, пообещав остров, которого я до сих пор дожидаюсь.

— Чтоб тебе провалиться с мерзостным твоим островом, проклятый Санчо! — вмешалась племянница. — И что это еще за острова? Что, ты их есть будешь, лакомка, обжора ты этакий?

— Да не есть, а ведать ими и править, — возразил Санчо, — и еще получше, нежели десять городских советов и десять столичных алькальдов*.

— А все-таки ты, вместилище пороков и гнездилище лукавства, сюда не войдешь, — объявила ключница. — Иди управляй

своим домом, паши свой клочок земли и забудь про все острова и чертогостровá на свете.

Священника и цирюльника немало потешило это словопрение, однако ж Дон Кихот, боясь, как бы Санчо не наболтал и не намолол всякой зловредной ерунды и не коснулся чего-нибудь такого, что могло бы бросить тень на его, Дон Кихота, доброе имя, позвал его и велел женщинам замолчать и впустить посетителя. Санчо вошел, а священник и цирюльник попросились с Дон Кихотом, на выздоровление коего они теперь утратили всякую надежду: так упорствовал он в странных своих суждениях о злосчастном этом странствующем рыцарстве и так просто-душно был погружен в свои о нем размышления, а потому священник сказал цирюльнику:

— Вот увидите, любезный друг: в один прекрасный день приятель наш снова даст тягу.

— Не сомневаюсь,— отозвался цирюльник,— однако ж меня не столько удивляет помешательство рыцаря, сколько просто-душие оруженосца: он так уверовал в свой остров, что никакие разочарования, думается мне, не выбьют у него этого из головы.

— Да поможет им бог,— сказал священник,— а мы будем на страже: посмотрим, к чему приведет вся эта цепь сумасбродств как рыцаря, так и оруженосца,— право, их обоих словно отлили в одной и той же форме, и безумства господина без глупостей слуги не стоили бы ломаного гроша.

— Ваша правда,— заметил цирюльник,— любопытно было бы знать, о чем они сейчас толкуют.

— Я уверен,— сказал священник,— что племянница или же ключница нам потом расскажут: ведь у них такой обычай — все подслушивать.

Между тем Дон Кихот заперся с Санчо у себя в комнате и, оставшись с ним вдвоем, заговорил:

— Меня весьма огорчает, Санчо, что ты утверждал и утверждаешь, будто я заставил тебя покинуть насиженное местечко, но ведь ты же знаешь, что и я не оставался на месте: отправились мы вдвоем, вдвоем поехали, вдвоем и странствовали, и та же участь и та же судьба постигли нас обоих: если тебя один раз подбрасывали на одеяле, то меня сто раз колотили, вот и все мое перед тобой преимущество.

— Да ведь это в порядке вещей,— возразил Санчо,— сами же вы, ваша милость, говорите, что злключения — это скорей по части странствующих рыцарей, нежели оруженосцев.

— Ты ошибаешься,— заметил Дон Кихот.— Когда болит голова, то болит и все тело, а так как я — твой господин и сеньор, то я — голова, ты же — часть моего тела, коль скоро ты мой слуга, потому-то, если беда стряслась со мною, то она отзывается на тебе, а на мне твоя.

— Так-то оно так,— сказал Санчо,— однако ж когда меня, часть вашего тела, подбрасывали на одеяле, то голова моя пре-

бывала за забором, смотрела, как я взлетаю на воздух, и не чувствовала при этом ни малейшей боли, а если тело обязано болеть вместе с головою, то и голова обязана болеть вместе с телом.

— Ты хочешь сказать, Санчо, что мне не было больно, когда тебя подбрасывали на одеяле? — спросил Дон Кихот. — Так вот, если ты это хочешь сказать, то не говори так и не думай, ибо душа моя болела тогда сильнее, нежели твое тело. Однако ж оставим до времени этот разговор, потом мы все это еще обсудим и взвесим. А теперь скажи, друг Санчо, что говорят обо мне в нашем селе? Какого мнения обо мне простонародье, идальго и кавальеро? Что говорят о моей храбрости, о моих подвигах и о моей учтивости? Какие ходят слухи о моем начинании — возродить и вновь учредить во всем мире давно забытый рыцарский орден? Словом, я желаю, чтобы ты поведал мне, Санчо, все, что на сей предмет дошло до твоего слуха. И ты должен мне это поведать без утайки и без прикрас, ибо верным вассалам надлежит говорить сеньорам своим всю как есть правду, не украшая ее ласкательством и не смягчая ее из ложной почтительности. И тебе надобно знать, Санчо, что когда бы до слуха государей доходила голая правда, не облаченная в одежды лести, то настали бы другие времена, и протекшие века по сравнению с нашим стали бы казаться железными, тогда как наш, должно думать, показался бы золотым. Пусть же эти мои слова будут тебе назиданием, Санчо, дабы ты добросовестно и толково доложил мне всю правду о том, что меня, как тебе известно, занимает.

— Я это сделаю весьма охотно, государь мой, — сказал Санчо, — с условием, однако ж, что ваша милость на мои слова не разгневается, коли желает, чтобы я выставил всю правду нагишом, не облекая ее ни во что, кроме того одеяния, в коем она дошла до меня.

— И не подумаю даже гневаться, — сказал Дон Кихот. — Можешь, Санчо, говорить свободно и без околичностей.

— Ну так, во-первых, я вам скажу, — начал Санчо, — что народ почитает вашу милость за самого настоящего сумасшедшего, а я, мол, тоже с придурью. Идальго говорят, что звание идальго вашей милости показалось мало и вы приставили к своему имени *дон* и, хотя у вас всего две-три виноградные лозы, а землицы — волю развернуться негде, произвели себя в кавальеро. Кавальеро говорят, что они не любят, когда с ними тягаются идальго, особливо такие, которым пристало разве что в конюхах ходить и которые обувь чистят сажей, а черные чулки штопают зеленым шелком.

— Это ко мне не относится, — сказал Дон Кихот, — одет я всегда прилично, чиненого не ношу.

— Касательно же храбрости, учтивости, подвигов и начинаний вашей милости, — продолжал Санчо, — то на сей предмет

существуют разные мнения. Одни говорят: «Сумасшедший, но забавный», другие: «Смелчак, но неудачник», третьи: «Учтивый, но блажной», и уж как примутся пересуживать, так и вашей милости и мне все косточки перемоют.

— Прими вот что в соображение, Санчо,— заговорил Дон Кихот,— стоит только добродетели достигнуть степеней высоких, как ее уже начинают преследовать. Никто или почти никто из славных мужей прошлого не избежал низкой клеветы. Юлия Цезаря, неустрашимейшего, предусмотрительнейшего и отважнейшего полководца, упрекали в тщеславии и нечистоплотности. Об Александре, подвигами своими стяжавшем себе название «Великого», говорят, будто бы он запивал. Про Геркулеса, несшего столь великие труды, рассказывают, будто бы он был неженкою. Про дону Галаора, брата Амадиса Галльского, ходят слухи, будто бы он чересчур был сварлив, а что его брат — будто бы плакса. А потому, Санчо, среди стольких сплетен о людях выдающихся сплетни обо мне пройдут незаметно, если только ты чего-нибудь не утаишь.

— В том-то вся и загвоздка, не видать отцу моему царствия небесного! — воскликнул Санчо.

— Значит, это еще не все? — спросил Дон Кихот.

— Ягодки еще впереди,— отвечал Санчо,— а пока что это были всего только цветочки. Если же милости вашей угодно знать клеветы, про вас распространяемые, то я мигом приведу одного человека, и он вам их выложит все до единой, вот чего не упустит: ведь вчера вечером приехал сын Бартоломе Карраско, тот, что учился в Саламанке* и стал бакалавром, и я пошел поздравить его с приездом, а он мне сказал, будто вышла в свет история вашей милости под названием *Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский*, и еще он сказал, будто меня там вывели под моим собственным именем — Санчо Пансы, и сеньору Дульсинею Тобосскую тоже, и будто там есть все, что происходило между нами двумя, так что я от ужаса начал креститься — откуда, думаю, все это сделалось известно сочинителю?

— Уверяю тебя, Санчо,— сказал Дон Кихот,— что наш летописец — это, уж верно, какой-нибудь мудрый кудесник: от таких, о чем бы они ни пожелали писать, ничто не укроется.

— Так вот,— сказал Санчо,— коли вашей милости желательно, чтобы я привел сюда бакалавра, то я за ним живо слетаю.

— Я буду тебе очень признателен, друг мой,— сказал Дон Кихот.— Ты мне загадал загадку,— я не стану ни пить, ни есть, покуда всего не разведая.

— Ну так я за ним схожу,— повторил Санчо.

И, оставив своего господина, он пошел к бакалавру и малое время спустя вместе с ним возвратился, и тут между ними тремя презабавное началось собеседование.

ГЛАВА III

*Об уморительном разговоре, происходившем между
Дон Кихотом, Санчо Пансою и бакалавром Самсоном
Карраско*

Бакалавр хотя и звался Самсоном, однако ж росту был небольшого, зато был преобладающий хитрец; цвет лица у него был безжизненный, зато умом он отличался весьма живым; сей двадцатичетырехлетний молодой человек был круглолиц, курнос, большерот, что выдавало насмешливый нрав и склонность к забавам и шуткам, каковые свойства он выказал, едва увидевши Дон Кихота, ибо тот же час опустился перед ним на колени и сказал:

— Ваше величие, сеньор Дон Кихот Ламанчский! Пожалуйте мне ваши руки, ибо ваша милость — один из наиславнейших странствующих рыцарей, какие когда-либо появлялись или еще появятся на земной поверхности, и да будет благословен тот, кто написал историю великих ваших деяний!

Дон Кихот попросил его встать и сказал:

— Итак, моя история и правда написана?

— Сущая правда, сеньор, — отвечал Самсон, — и я даже ручаюсь, что в настоящее время она отпечатана в количестве более двенадцати тысяч книг*. Коли не верите, запросите Португалию, Барселону и Валенсию, где она печаталась, и еще ходят слухи, будто бы ее сейчас печатают в Антверпене; мне сдается, что скоро не останется такого народа, который не прочел бы ее на своем родном языке.

— Ничто не может доставить человеку добродетельному и выдающемуся такого полного удовлетворения, — сказал на это Дон Кихот, — как сознание, что благодаря печатному слову добрая о нем молва еще при его жизни звучит на языках разных народов. Я говорю: добрая молва, ибо если наоборот, то с этим никакая смерть не сравнится.

— Что касается доброй славы и доброго имени, — подхватил бакалавр, — то ваша милость превосходит всех странствующих рыцарей, ибо сочинитель постарался в самых картинных выражениях описать молодцеватость вашей милости, великое мужество ваше в минуту опасности, стойкость в бедствиях, терпение в пору невзгод, а также при ранениях и, наконец, чистоту увлечения вашей милости сеньорою доньей Дульсинеей Тобосской.

— Я никогда не слыхал, чтобы сеньору Дульсинею звали донья, — вмешался тут Санчо, — ее зовут просто сеньора Дульсинея Тобосская, так что в этом сочинитель ошибается.

— Твое возражение несущественно, — заметил Карраско.

— Разумеется, что нет, — отозвался Дон Кихот, — однако ж скажите мне, сеньор бакалавр: какие из подвигов моих наипаче прославляются в этой истории?

— На сей предмет,— отвечал бакалавр,— существуют разные мнения, ибо разные у людей вкусы: одни питают пристрастие к приключению с ветряными мельницами, которые ваша милость приняла за великанов, другие — к приключению с сукновальнями, кто — к описанию двух ратей, которые потом оказались стадами баранов, иной восторгается приключением с мертвым телом, которое везли хоронить в Сеговию; один говорит, что лучше нет приключения с освобождением каторжников, другой — что надо всем возвышаются приключения с двумя великанами-бенедиктинцами и схватка с доблестным бискайцем. Мудрец ничего не оставил на дне чернильницы, он всего коснулся и обо всем рассказал, даже о том, как добрый Санчо кувыркался на одеяле.

— Ни на каком одеяле я не кувыркался,— возразил Санчо,— в воздухе, правда, кувыркался, и даже слишком, я бы сказал, долго.

— По моему разумению,— заговорил Дон Кихот,— во всякой светской истории должны быть свои превратности, особливо в такой, в которой речь идет о рыцарских подвигах,— не может же она описывать одни только удачи.

— Как бы то ни было,— сказал бакалавр,— некоторые читатели говорят, что им больше понравилось бы, когда бы сочинитель сократил бесконечное количество ударов, которые во время разных стычек сыпались на сеньора Дон Кихота.

— История должна быть правдивой,— заметил Санчо.

— И все же можно было бы умолчать об этом из чувства справедливости,— возразил Дон Кихот,— не к чему описывать происшествия, которые хотя и не нарушают и не искажают правды исторической, однако ж могут унижить героя. Сказать по совести, Эней не был столь благочестивым, как его изобразил Вергилий, а Одиссей столь хитроумным, как его представил Гомер.

— Так,— согласился Самсон,— но одно дело — поэт, а другое — историк: поэт, повествуя о событиях или же воспевая их, волен изображать их не такими, каковы они были в действительности, а такими, какими они должны были быть, историку же надлежит описывать их не такими, какими они должны были быть, но такими, каковы они были в действительности, ничего при этом не опуская и не присочиняя.

— Коли уж сочинитель выложил всю правду,— заметил Санчо,— стало быть, среди ударов, которые получал мой господин, наверняка значатся и те, что получал я, потому не было еще такого случая, чтобы, снимая мерку со спины моего господина, не сняли заодно и со всего моего тела. Впрочем, тут нет ничего удивительного: мой господин сам же говорит, что головная боль отдается во всех членах.

— Ну и плут же вы, Санчо! — молвил Дон Кихот. — На что, на что, а на то, что вам выгодно, у вас, право, недурная память.

— Да если б я и хотел позабыть про дубинки, которые по мне прошли, — возразил Санчо, — так все равно не мог бы из-за синяков: ведь до ребер-то у меня до сих пор не дотронешься.

— Помолчи, Санчо, — сказал Дон Кихот, — не прерывая сеньора бакалавра, я же, со своей стороны, прошу его продолжать и рассказать все, что в упомянутой истории обо мне говорится.

— И обо мне, — ввернул Санчо, — ведь, говорят, я один из ее главных пресонажей.

— *Персонажей*, а не *пресонажей*, друг Санчо, — поправил Самсон.

— Еще один строгий учитель нашелся! — сказал Санчо. — Если мы будем за каждое слово цепляться, то ни в жизнь не кончим.

— Пусть моя жизнь будет несчастной, если ты, Санчо, не являешься в этой истории вторым лицом, — объявил бакалавр, — и находятся даже такие читатели, которым ты доставляешь больше удовольствия своими речами, нежели самое значительное лицо во всей этой истории, хотя, впрочем, некоторые говорят, что ты обнаружил излишнюю доверчивость, поверив в возможность стать губернатором на острове, который был тебе обещан присутствующим здесь сеньором Дон Кихотом.

— Время еще терпит, — заметил Дон Кихот, — и чем более будет Санчо входить в возраст, чем более с годами у него накопится опыта, тем более способным и искусным окажется он губернатором.

— Ей-богу, сеньор, — сказал Санчо, — не губернаторствовал я на острове в том возрасте, в коем нахожусь ныне, и не губернаторствовать мне там и в возрасте Мафусаиловом. Не то беда, что у меня недостает сметки, чтобы управлять им, а то, что самый этот остров неведомо куда запропастился.

— Положись на бога, Санчо, — молвил Дон Кихот, — и все будет хорошо и, может быть, даже еще лучше, чем ты ожидаешь, ибо без воли божией и лист на дереве не шелохнется.

— Совершенная правда, — заметил Самсон, — если бог захочет, то к услугам Санчо будет не то что один, а целая тысяча островов.

— Навидался я этих самых губернаторов, — сказал Санчо, — по-моему, они мне в подметки не годятся, а все-таки их величают *ваше превосходительство* и кушают они на серебре.

— Это не губернаторы островов, — возразил Самсон, — у них другие области, попроще, — губернаторы островов должны знать, по крайности, арифметику.

— С *орехами*-то я в ладах, — сказал Санчо, — а вот что такое *метика* — тут уж я ни в зуб толкнуть, не понимаю, что это может значить. Предадим, однако ж, судьбы островов в руки божии, и да пошлет меня господь бог туда, где я больше всего

могу пригодиться, я же вам вот что скажу, сеньор бакалавр Самсон Карраско: я страх как доволен, что автор этой истории, рассказывая про мои похождения, не говорит обо мне никаких неприятных вещей, потому, честное слово оруженосца, расскажи он обо мне что-нибудь такое, что не пристало столь почтенному человеку, каков я, то мой голос услышали бы и глухие.

— Это было бы чудо,— заметил Самсон.

— Чудо не чудо,— отрезал Санчо,— а только каждый должен думать, что он говорит или же что пишет о *пресонах*, а не ляпать без разбора все, что взбредет на ум.

— Одним из недостатков этой истории,— продолжал бакалавр,— считается то, что автор забыл упомянуть, что сделал Санчо на ту сотню эскудо, которую он нашел в чемодане в Сьерре Морене: автор об этом умалчивает, а между тем многим хотелось бы знать, что Санчо на них сделал и как он ими распорядился,— вот этой существенной подробности в книге и недостает.

Санчо на это ответил так:

— Мне, сеньор Самсон, сейчас не до счетов и не до отчетов — у меня такая слабость в желудке, что ежели я не глотну для бодрости крепкого вина, то высохну, как щепка. Дома у меня есть вино, моя дражайшая половина меня поджидает, я только поем, а потом вернусь и удовлетворю вашу милость и всякого, кто только ни пожелает меня спросить, на что я израсходовал сто эскудо.

И, не дожидаясь ответа и ни слова более не сказав, Санчо ушел домой.

Дон Кихот стал просить и уговаривать бакалавра остаться и закусить с ним чем бог послал. Бакалавр принял приглашение и остался. В виде добавочного блюда была подана пара голубей; за столом говорили о рыцарстве; Карраско поддакивал хозяину; пиршество кончилось, все легли соснуть, Санчо возвратился, и прерванная беседа возобновилась.

ГЛАВА IV,

в коей Санчо Панса разрешает недоуменные вопросы бакалавра Самсона Карраско, а также происходят события, о которых стоит узнать и рассказать

Санчо возвратился к Дон Кихоту и, возвращаясь к прерванному разговору, сказал:

— Сеньор Самсон говорит, что ему любопытно знать, что же случилось с сотней эскудо. Я истратил их на себя лично, на жену и на детей, и только благодаря им я и не получил от жены нагоняя за то, что, находясь на службе у моего господина Дон Кихота, изъездил все пути-дорожки, а то, если б я через столько времени заявился домой с пустыми руками, меня бы ожидала

незавидная участь. Если же вы еще что-либо желаете знать обо мне, то я к вашим услугам, готов ответ держать хоть перед самим королем, перед собственной его *пресоной*, да и никого это не касается — привез я денег или не привез, истратил или не истратил, потому ежели бы за все колотушки, которые мне надавали за время моего путешествия, рассчитывались деньгами, хотя бы по четыре мараведи за каждую, так не то что ста, а и двухсот эскудо не хватило бы, чтобы расплатиться только за половину, и пусть каждый спросит сначала свою совесть, а потом уже белое называет черным, а черное — белым: ведь все мы таковы, какими нас господь бог сотворил, а бывает, что и того хуже.

— А не собирается ли, чего доброго, автор издать вторую часть? — спросил Дон Кихот.

— Как же, собирается, — отвечал Самсон, — но только некоторые говорят: «Вторая часть никогда не бывает удачной», а другие: «О Дон Кихоте написано уже довольно», так что это еще под сомнением, выйдет ли вторая часть. Впрочем, люди не угрюмые, а жизнерадостные просят: «Давайте нам еще Донкихотовых походов, пусть Дон Кихот воинствует, а Санчо Панса болтает, рассказывайте о чем угодно — мы всем будем довольны». К тому же автор не столько за похвалами гонится, сколько за прибылью.

На это Санчо ему сказал:

— Так, стало быть, автор жаден до денег, до прибыли? Ну, тогда это просто чудо будет, коли он напишет удачно: ведь ему придется метать на живую нитку, как все равно портняжке перед самой Пасхой, — произведения же, написанные наспех, никогда не достигают должного совершенства. Нет, пусть-ка этот самый автор постарается, а уж мы с моим господином насчет приключений и разных происшествий не поскупимся, так что он не только вторую, а и целых сто частей написать сумеет. Он-то, сердечный, поди, думает про нас: дескать, как сыр в масле катаются, а поглядел бы, как мы тут благоденствуем, — пожалуй, от такого благоденства ножки протянешь. А пока вот что я скажу: послушайся меня мой господин, мы бы уж давно были в чистом поле, искореняли бы зло и выпрямляли кривду, как это принято и как это водится у добрых странствующих рыцарей.

Не успел Санчо вымолвить это, как их слуха достигло ржание Росинанта, каковое ржание Дон Кихот почел за весьма добрый знак и порешил дня через три, через четыре снова отправиться в поход. Он взял с бакалавра слово держать это в тайне от всех, в частности от священника и маэсе Николаса, а равно и от племянницы и ключницы, дабы они не воспрепятствовали благородному и смелому его начинанию. Карраско пообещал. Засим, прощаясь с Дон Кихотом, он обратился к нему с просьбой при случае уведомлять его обо всех удачах и неудачах; и тут они расстались, а Санчо пошел готовиться к отъезду.

ГЛАВА V

*Об остроумной и забавной беседе,
какую вели между собой Санчо Панса и супруга его Тереса
Панса, равно как и о других происшествиях, о которых мы не
без приятности упомянем*

Санчо возвратился домой ликующий и веселый, настолько, что жена, учувяв это веселье на расстоянии арбалетного выстрела, спросила:

— Что с тобой, друг Санчо, отчего ты такой веселый?

А Санчо ей на это ответил:

— Была б на то господня воля, женушка, я бы гораздо охотнее так не радовался.

— Я тебя не понимаю, муженек,— сказала жена,— не возьму в толк, что ты хочешь этим сказать: была бы, мол, на то господня воля, ты бы гораздо охотнее не радовался,— я хотя женщина темная, а все-таки не могу себе представить, как это можно быть довольным оттого, что не получаешь удовольствия.

— Слушай, Тереса,— сказал Санчо,— я весел оттого, что порешил возвратиться на службу к господину моему Дон Кихоту, который намерен в третий раз выехать на поиски приключений, и я опять поеду с ним — меня на это толкает нужда вместе с радостною надеждою: а вдруг я найду еще сто эскудо в возмещение уже истраченных, хотя, с другой стороны, меня огорчает разлука с тобой и с детьми, и вот когда бы господу было угодно, чтобы я зарабатывал на кусок хлеба без особых хлопот и у себя дома, не таскаясь по гиблым местам да по перепутьям,— а ведь богу это ничего не стоит, только бы захотеть,— веселью моему, конечно, была бы другая цена, а то ведь к нему примешивается горечь разлуки с тобой. Вот и выходит, что я был прав, когда говорил, что, была б на то господня воля, я охотнее бы не радовался.

— Послушай, Санчо,— сказала Тереса,— с тех пор как ты стал правою рукою странствующего рыцаря, ты такие петли мещешь, что тебя никто не может понять.

— Довольно и того, жена, что меня понимает господь бог, а он все на свете понимает,— возразил Санчо.— Ну ладно, оставим это. Вот что, матушка, тебе придется в течение трех дней хорошенько поухаживать за серым, дабы привести его в боевую готовность: удвой ему порцию овса, осмотри седло и прочие принадлежности — ведь мы не на свадьбу едем, нам предстоит кружить по свету, выдерживать стычки с великанами и чудовищами, слышать шип, рык, рев и вопль, и все это, однако ж, сущие пустяки по сравнению с янгуасцами.

— Да уж я вижу, муженек,— сказала Тереса,— что хлеб странствующих оруженосцев — это хлеб трудовой, и я буду бога молить, чтоб он поскорей избавил тебя от таких напастей.

— Я тебе прямо говорю, жена,— сказал Санчо,— не рассчитывай я в скором времени попасть в губернаторы острова, мне бы и жизнь стала не мила.

— Ну нет, муженек,— возразила Тереса,— живи, живи, петушок, хоть и на языке типунок, и ты себе живи, и пусть черт унесет все губернаторства на свете: не губернатором вышел ты из чрева матери, не губернатором прожил до сего дня и не губернатором ты сойдешь, или, вернее, тебя положат в гроб, когда на то будет господня воля. Не все же на свете губернаторы — и ничего: люди как люди, живут себе и живут. Самая лучшая приправа — это голод, и у бедняков его всегда вдоволь, оттого-то они и едят в охотку. Но только ты смотри у меня, Санчо: коли ты ненароком выскочишь в губернаторы, то не забудь про меня и про детей. Помни, что Санчику уже исполнилось пятнадцать и ему в школу пора. Еще помни, что дочка твоя, Марисанча, совсем даже не прочь выйти замуж,— мне сдается, что она думает о муже не меньше, чем ты о губернаторстве.

— Клянусь честью,— молвил Санчо,— коли господь пошлет мне что-нибудь вроде губернаторства, то я, милая женушка, выдам Марисанчу за такое высокое лицо, что ее станут величать не иначе, как *ваше сиятельство*.

— Ну нет, Санчо,— возразила Тереса,— выдай ее за ровню, это будет дело лучше, а то ежели вместо деревянных башмаков она вырядится в туфельки, вместо дешевого платишка — в шелковое да с фижмами и вместо *Марика*, ты, все станут называть ее *донья такая-то* и *ваше сиятельство*, так девчонка растеряется, на каждом шагу станет попадать впросак, и тут-то по пряже сейчас видно будет толстое и грубое рядно.

— Молчи, дура,— сказал Санчо,— годика два-три ей надобно будет попривыкнуть, а там барские замашки и важность придутся ей как раз впору, а не придутся — что за беда? Только бы ей стать *вашим сиятельством*, а все остальное вздор.

— Сообразуйся, Санчо, со своим собственным званием,— сказала Тереса,— не лезь в знать и затверди пословицу: «Вытри нос соседскому сыну и бери его себе в зятя». Подумаешь, какое счастье — выдать Марику за какого-нибудь графчонка или там дворяннишку, чтобы он после шпынял ее и, чуть что, обзывал деревенщиной: отец, дескать, у тебя простой мужик, а мать — пряха! Нет, друг ты мой, ни в жизнь! Для того ли я ее растила? Лучше, Санчо, привози-ка скорей денег, а выдать ее замуж — это мое дело: у меня на примете сын Хуана Точо, Лопе Точо, крепкий, здоровый малый, все мы его знаем, и девчонка, видать, ему приглянулась. Вот с ним-то, потому как он ей ровня, она и будет счастлива, и будут они всегда у нас перед глазами, и проживем мы одной семьей, родители и дети, зятя и внуки, в мире и в ладу, и благословение божие вечно будет со всеми нами, и не смей ты мне отдавать ее в столицу или в какой-нибудь громадный дворец: там и люди ее не поймут, и она никого не поймет.

— Ах ты дурища! — вскричал Санчо. — Ну какая тебе корысть — не давать мне просватать дочку за такого человека, чтобы внуков моих все величали *ваши сиятельства*? Вот что, Тереса, мне частенько приходилось слышать от стариков: кто не сумел воспользоваться счастьем, когда оно само в руки давалось, тот пусть, мол, не сетует, коли оно прошло мимо. Вот и нехорошо будет, если мы теперь затворим дверь, когда оно само к нам стучится: ветер дует попутный — пускай же он нас и несет. Говори, тварь неразумная: чем же это плохо, ежели я приберу к рукам какое-нибудь выгодное губернаторство и благодаря ему мы все выйдем в люди? Дай Марисанче подцепить, кого я пожелаю, и ты увидишь, что все тебя станут звать *доньей Тересой Панса*, и в церкви ты, назло и на зависть нашим дворянкам, будешь восседать на коврах, да на подушках, да на шелку. А нет, так и торчи на одном месте, ни туда ни сюда, как все равно церковная статуя! И довольно разговоров — как ты себе хочешь, а Марисанча будет графиней.

— Ты соображаешь, что говоришь, муженек? — воскликнула Тереса. — Да ведь я чего боюсь: что это самое графство погубит мою дочку. Делай как знаешь, выдавай ее хоть за герцога или за принца, но только я прямо говорю: не будет на то воли моей и согласия. Я, друг ты мой, всегда была за равенство и терпеть не люблю, когда, здорово живешь, начинают важничать. При крещении мне дали имя Тереса, имя простое и чистое, безо всяких этих примесей, шуток и финтифлюшек — всяких там *донов* да *распродонов*, отец мой — по фамилии Каскахо, а меня, как я есть твоя жена, зовут Тересой Панса, и я своим именем довольна, и не нужно мне никакой *доньи*, а то это такой тяжелый довесок, что мне не под силу будет его носить, и не хочу я, чтобы про меня шушукались, когда я выйду расфуфыренная, как графиня или как губернаторша, — ведь уж непременно скажут: «Глядите, как зазналась наша чумичка! Вчера еще не разгибая спины лен чесала, а в церковь ходила, накрывшись подолом вместо накидки, а нынче ишь ты — *физмы** да застешки, и нос дерет, как будто она знает нас не знает». Пока господь бог не лишил меня не то семи, не то пяти чувств — одним словом, всех, сколько их у меня должно быть, я себя до такого сраму не доведу. Ты, сударь, можешь становиться губернатором или каким-то там островом и напускать на себя важность, сколько душе угодно, а моя дочка и я — клянусь памятью моей матери — никуда из нашего села не двинемся: женщины честной — за прялок место, а девушке скромной своя лачуга — хоромы. Поезжай со своим Дон Кихотом за приключениями, а нам оставь наши злключения; коли будем жить по-божьи, так и с нами что-нибудь доброе приключится.

— Нет, в тебя просто бес вселился, — объявил Санчо. — Господь с тобой, жена, чего ты только не нагородила безо всякого смысла и толка? Ну что общего между застешками, финтифлюш-

ками, поговорками, важничаньем и тем, что я тебе сказал? Слушай ты, невежда и тупица (иначе тебя не назовешь, потому как ты речей моих не разумеешь и не понимаешь своего счастья): если б я сказал, что моя дочь должна прыгнуть с башни или пойти скитаться по белу свету, вот тогда ты вправе была бы со мной не согласиться, но если я раз-раз и готово, так что ты ахнуть не успеешь, пришиллю ей *донью* и *ваше сиятельство* и из грязи выведу в князи, и будет она ходить в шелку да в бархате, то отчего бы тебе не согласиться и что тебе еще надобно?

— Знаешь, муженек, отчего я несогласна? — отвечала Тереса. — Оттого, что, как говорится, «платье тебя одевает, платье тебя и раздевает». Оттого, что люди пробегут по бедняку глазами — и ладно, а на богача они глазищи-то свои так и пялят, и ежели этот богач был когда-то бедняком, тут-то злые языки и давай чесать языки, а таких у нас в селе — куда ни плюнь, как все равно пчел в улье.

— Постой, Тереса, — прервал ее Санчо, — слушай, что я тебе сейчас скажу, — такого ты еще отроду не слыхала, да это и не мои слова: то, что я намерен тебе сказать, это изречения отца-проповедника, который в прошлом году великим постом в нашем селе проповедовал. И вот этот самый проповедник, сколько я помню, говорил так: все, что, мол, является нашему взору в настоящее время, гораздо лучше укладывается и помещается и гораздо сильнее запечатлевается в памяти нашей, нежели то, что было когда-то. Отсюда следствие, что когда мы видим особу разряженную, в дорогом уборе и с нею множество слуг, то, словно побуждаемые некоей силой, мы невольно проникаемся к ней уважением, хотя в тот же миг память подсказывает нам, что прежде эту особу мы лицеизрели в низкой доле, и все-таки этого позора, чем бы он ни был вызван: то ли бедностью, то ли происхождением, — коли он уже в прошлом, — не существует, а существует лишь то, что мы видим в настоящую минуту. И если тот, кого судьба из нечистоты его ничтожества (это подлинное выражение проповедника) вознесла на вершины благополучия, окажется человеком благовоспитанным, щедрым и со всеми любезным и не станёт тягаться с древнею знатью, можешь быть уверена, Тереса, что никто и не вспомнит, кем он был прежде, а будут чтить его таким, каков он есть теперь, кроме разве завистников, ну да от них никакая счастливая судьба не спасется.

— Не понимаю я тебя, муженек, — сказала Тереса, — поступай как знаешь и не забивай мне голову своим краснобайством и пустословием. И если уж тебе так забезрассудилось...

— *Заблагорассудилось* должно говорить, жена, а не *забезрассудилось*, — поправил Санчо.

— Не спорь со мной, муженек, — возразила Тереса, — я говорю, как мне бог на душу положит, безо всяких этих затей. Так вот что я хочу сказать: если уж тебе так далось это губер-

наторство, то возьми с собой своего сына Санчику и прямо с этих пор приучай его губернаторствовать — ведь это хорошо, когда дети идут по стопам отца и обучаются его ремеслу.

— Когда я буду губернатором, — объявил Санчо, — я пошлю за ним почтовых лошадей, а тебе пришлю денег, каковые у меня всегда найдутся, ибо всегда найдутся охотники ссудить губернатору, когда тот сидит без гроша. Сына же ты выряди так, чтобы не было заметно, кто он такой, а было видно, каким ему надлежит быть.

— Пришли только денег, — молвила Тереса, — а уж он у меня будет разодел в пух и прах.

— Ну, словом, — заключил Санчо, — мы с тобой уговорились, что дочка наша должна быть графиней.

— В тот день, когда она станет графиней, — возразила Тереса, — я буду считать, что я ее похоронила. Но только я еще раз скажу: поступай, как тебе угодно, такая наша женская доля — во всем подчиняться мужу, хотя бы и безмозглому.

И тут она залилась такими горькими слезами, точно Марисанча и впрямь умерла и уже похоронена. Тогда Санчо в утешение сказал ей, что хотя он непременно сделает свою дочь графиней, но только отложит это на возможно более долгий срок. На том и кончилась их беседа, и Санчо возвратился к Дон Кихоту, чтобы окончательно условиться об отъезде.

ГЛАВА VI

*О чем обменялся мнениями Дон Кихот со
своею племянницею и ключницею, и это
одна из самых важных глав во всей истории*

Пока Санчо Панса и его супруга Тереса вели между собой вышеприведенный бестолковый разговор, племянница и ключница Дон Кихота также не оставались праздными: по многим признакам догадавшись, что дядя их и господин, томимый жаждой рыцарских, как они полагали, *зablуждений*, а не походов, намерен в третий раз от них вырваться, они всеми возможными способами пытались отвлечь его от столь вредной мысли, но они только вопияли в пустыне и ковали холодное железо. Со всем тем ключница, ведшая с Дон Кихотом долгие препирательства, между прочим сказала ему:

— Право, государь мой, если вы не усидите на месте и опять начнете скитаться по горам и долам, словно неприкаянный, и искать этих самых, как их называют, *облегчений*, а я их называю *огорчениями*, то я пожалуюсь богу и королю и буду кричать на крик и не своим голосом, чтобы они вам не позволили.

Дон Кихот же ей на это сказал:

— Ключница! Мне неизвестно, что господь бог ответит на твои жалобы, как неизвестно мне и то, что ответит его величество,

знаю только, что, будь я королем, я бы не стал отвечать на всю эту уйму нелепых прошений, ежедневно на имя короля поступающих, ибо из всех обременительных обязанностей, которые лежат на его величестве, самая тяжелая — это всех выслушивать и всем отвечать, вот почему мне бы не хотелось, чтобы ему надоедали с моими делами.

Ключница же на это сказала:

— А что, сеньор, при дворе его величества есть рыцари?

— Есть,— отвечал Дон Кихот,— и даже много, и на то есть причина, ибо они служат блестящим украшением двора и поддерживают величие королевского престола.

— Так почему бы и вам, ваша милость, не послужить королю, своему господину, сидя смиренно при дворе?

— Вот что, дорогая моя,— отвечал Дон Кихот,— не все рыцари могут быть придворными, как не все придворные могут и должны быть странствующими рыцарями: в жизни бывают нужны и те и другие. И хоть и все мы — рыцари, однако ж есть между нами огромная разница, ибо придворные, не выходя из своих покоев и не переступая порога дворца, разгуливают по всему свету, глядя на карту, и это им не стоит ни гроша, и они не терпят ни зноя, ни стужи, ни голода, ни жажды, тогда как мы, рыцари странствующие в полном смысле этого слова, в жар, в холод, в бурю, в непогоду, ночью и днем, пешие и конные, из конца в конец самолично обходим дозором землю, и мы знаем врагов не только по картинкам, но и на деле, и при каждой встрече и при первом случае мы на них нападаем, не считаясь с правилами поединка и всякими пустяками, например: не короче ли у одного из противников копье или шпага, и что у недруга спрятано на груди — реликвия или же это какой-нибудь скрытый подвох, и как поделить между собой солнечный свет*, и прочими тому подобными церемониями, которые обыкновенно соблюдаются при единоборствах и которые ты не знаешь, а я знаю. И еще тебе надобно знать вот что: добрый странствующий рыцарь при виде хотя бы и десяти великанов, чьи головы не только касаются облаков, но и скрываются за ними и у каждого из которых вместо ног две преогромные башни, руки напоминают мачты крупных и мощных судов, а глаза как мельничные жернова и горят, как стеклоплавильные печи, отнюдь не устрашается,— напротив того, приосанившись, с душою, полною отваги, он бросается на них, бьется с ними, а буде окажется возможным, то в мгновение ока одолевает и разбивает наголову, хотя бы они были облачены в чешую какой-то особенной рыбы — чешую, говорят, будто бы тверже алмаза,— а вместо шпаг вооружены острыми, дамаской стали саблями или железными палицами с наконечниками тоже из стали, каковые палицы мне лично приходилось видеть не однажды. Все это, любезная моя ключница, я говорю для того, чтобы ты уяснила себе разницу между теми и другими рыцарями. И по справедливости государи должны были бы больше ценить разряд рыцарей странствующих, среди коих,

гласит история, мы встречаем и таких, которые спасали не одно, а множество королевств.

— Ах, сеньор! — воскликнула тут племянница. — Да поймите же вы наконец, ваша милость: все, что рассказывают о странствующих рыцарях, это сплошные враки и побасенки, а книги про них следовало бы сжечь или уж, по крайности, надеть на них санбенито*, а еще можно ставить на них особые знаки, чтоб всем было ясно, что это бессовестные смутьяны и бунтовщики.

— Клянусь создателем, — воскликнул Дон Кихот, — что, не будь ты моею родною племянницей, то есть дочерью единоутробной моей сестры, я бы так тебя проучил за кощунственные твои слова, что слух о том прошел бы по всему свету. Возможно ли, чтобы девчонка, которая и с коклюшками-то еще не умеет как должно обращаться, осмеливалась трепать языком и бранить книги о странствующих рыцарях? Что сказал бы сеньор Амадис, если б он это услышал? Впрочем, он, конечно, простил бы тебя, ибо то был самый кроткий и учтивый рыцарь своего времени и к тому же еще великий покровитель девиц, но если б услышал кто-нибудь другой, то тебе пришлось бы худо, ибо не все рыцари равно учтивы и обходительны, есть среди них невежи и грубияны. Ведь не все именующие себя рыцарями являются таковыми в полной мере: иные сделаны из настоящего золота, иные — из поддельного, и нужно обладать тонким умом, дабы различать эти два рода рыцарей, столь сходных по названию и столь разных по образу действий.

— Боже ты мой! — воскликнула племянница. — Вы так много знаете, дядюшка, что в случае нужды могли бы взойти на кафедру и проповедовать где угодно, и со всем тем слепота ваша столь велика и затмение столь очевидно, что вы уверены в своей удали, будучи на самом деле старым, в своей силе — будучи хилым, что вы выпрямляете кривду, меж тем как сами вы согнулись под бременем лет, а главное в том, что вы — рыцарь и кавалеро, на самом деле не будучи таковым, ибо хотя идальго и могут стать кавалеро, но ведь не бедные же!..

— В твоих словах, племянница, есть большая доля правды, — заметил Дон Кихот, — с этими родами путаницы не оберешься, и только те роды истинно велики и славны, коих представители доказывают это своими добродетелями, богатством своим и щедростью. Говорю: добродетелями, богатством и щедростью, ибо злочестивый властитель — это все равно что властительный злочестивец, а нещедрый богач — это все равно что нищий скупец: ведь счастье обладателя богатств заключается не в том, чтобы владеть ими, а в том, чтобы их расходовать, и расходовать с толком, а не как попало. Бедному же рыцарю остается только один путь, на котором он может показать, что он рыцарь, то есть путь добродетели, а для того ему надлежит быть приветливым, благовоспитанным, учтивым, обходительным и услужливым, не высокомерным, не заносчивым и не клеветником, главное же ему

надлежит быть сострадательным, ибо, с веселым сердцем подав бедному два мараведи, он обнаружит щедрость не меньшую, нежели тот, который о своем благодеянии раззванивает во все колокола, и коли он будет всеми перечисленными добродетелями украшен, то, кто бы с ним ни столкнулся, всякий, даже не имея о нем никаких сведений, признает и почтет его за человека благородного происхождения, а коли не признает, то это будет в высшей степени странно, ибо похвала служит неизменно наградою добродетели и люди добродетельные не могут не быть хвалимы. На свете есть, дети мои, два пути, которые ведут к богатству и почету: один из них — поприще ученое, другой — военное. Я человек скорее военный, нежели ученый, и, судя по моей склонности к военному искусству, должно полагать, родился под знаком Марса, так что я уже как бы по необходимости следуя этим путем и буду им идти, даже если бы весь свет на меня ополчился, и убеждать меня, чтобы я не желал того, чего возжелало само небо, что велит судьба, чего требует разум и, главное, к чему устремлена собственная моя воля, это с вашей стороны напрасный труд, ибо хотя мне доподлинно известны неисчислимые трудности, с подвигом странствующего рыцаря сопряженные, однако ж мне известны и безмерные блага, которые достаются совершившему этот подвиг; и еще я знаю, что стезя добродетели весьма узка, а стезя порока широка и просторна, и знаю также, что цели их и пределы различны, ибо путь порока, широко раскинувшийся и просторный, кончается смертью, путь же добродетели, тесный и утомительный, кончается жизнью, но не тою жизнью, которая сама рано или поздно кончается, а тою, которой не будет конца; и еще я знаю, что, по выражению знаменитого нашего кастильского стихотворца*,

По этим скалам можешь ты взойти
К обители бессмертия высокой,
Куда иного не сыскать пути.

— Что же я за несчастная! — воскликнула племянница. — Мой дядя к довершению всего еще и поэт! Все-то вы знаете, все-то вы постигли — ручаюсь, что, пожелай вы только стать каменщиком, вам так же легко было бы построить дом, как другому смас-терить клетку.

— Уверю тебя, племянница, — сказал Дон Кихот, — что когда бы помыслы о рыцарстве не владели всеми моими чувствами, то не было бы ничего такого, чего бы я не сумел сделать, и не было бы такой затейливой вещицы, к которой я не приложил бы руку.

В это время послышался стук в дверь, и на вопрос, кто там, Санчо Панса ответил, что это он; и, узнав его по голосу, ключница в ту же минуту бросилась вон из комнаты, только чтобы его не видеть, — так он был ей несносен. Дверь Санчо Пансе отворила племянница, сеньор Дон Кихот принял его с распростертыми объятиями, потом они заперлись, и тут у них началось собеседование ничуть не хуже предыдущего.

ГЛАВА VII

О чем говорили между собой Дон Кихот и его оруженосец, равно как и о других достославных происшествиях

Ключница как увидела, что Дон Кихот заперся с Санчо Пансоу, так в ту же секунду смекнула, о чем они могут вести переговоры; и, сообразив, что на этом совещании будет постановлено предпринять третий поход, она схватила свою накидку и, полная печали и беспокойства, побежала к бакалавру Самсону Карраско, ибо ей казалось, что тот, как человек красноречивый, с которым ее господин к тому же только что подружился, сможет уговорить его оставить столь нелепую затею. Бакалавр в это время прохаживался у себя во дворе, и, увидев его, ключница, потная и задыхающаяся от волнения, припала к его стопам. Карраско же, видя, что она так удручена и встревожена, спросил:

— Что с вами, сеньора ключница? Что с вами делается? Можно подумать, что у вас душа с телом расстается.

— Со мной-то ничего, голубчик мой сеньор Самсон, а вот господин мой утекать собирается, непременно утечет!

— Откуда же у него течет? — спросил Самсон. — Что он, разбился, что ли?

— Он сам утечет через ворота своего сумасшествия, — отвечала ключница. — Я хочу сказать, милейший сеньор бакалавр, что он вознамерился еще раз, и это будет уже в третий раз, постранствовать по белу свету и поискать этих самых, как он их называет, *облегчений*, — не могу взять в толк, почему он их так называет. В первый раз, когда нам его вернули, он был весь избит и лежал поперек осла. Во второй раз его посадили и заточили в клетку и привезли домой на волах, а он себе внушил, что его околдовали. И в таком он был жалком виде, что его бы родная мать не узнала: бледный, худой, глаз совсем не видать. Ведь чтобы маленько его подправить, я одних яиц шесть сотен с лишком в него всадила, — беру во свидетели господа бога, весь наш околоток да еще моих кур: мои куры могут это подтвердить.

— В этом я совершенно уверен, — заметил бакалавр, — они у вас такие славные, такие жирные и такие воспитанные, что скорей лопнут, нежели скажут неправду. Итак, сеньора ключница, все дело и вся беда в том, что замыслил сеньор Дон Кихот, и этого именно вы и опасаетесь?

— Именно этого, сеньор, — подтвердила ключница.

— В таком случае не беспокойтесь, — объявил бакалавр, — ступайте с богом домой и приготовьте мне чего-нибудь горяченького закусить, а дорогой прочтите молитву святой Аполлинии, если вы ее знаете, я же сейчас к вам прибуду, и все чудо как хорошо уладится.

— Ах ты, какая досада! — вскричала ключница. — Вы говорите, ваша милость, молитву святой Аполлинии прочесть? Да

ведь это если б у моего господина зубы болели, а у него голова не работает.

— Я знаю, что говорю, сеньора ключница. Идите и не вступайте со мною в споры, вы же знаете, какой я оратор, так что вам все равно меня не переорать,— примолвил Карраско.

После этого ключница удалилась, а бакалавр тут же отправился к священнику поговорить с ним насчет того, о чем в свое время будет сказано.

Между тем Дон Кихот и Санчо, оставшись вдвоем, обменивались мнениями, которые с великою точностью и правдивостью в нашей истории приводятся. Санчо сказал своему господину:

— Сеньор! Я уже засветил мою жену, так что она отпустит меня с вашей милостью, куда вам будет угодно.

— *Просветил* должно говорить, Санчо, а не *засветил*,— заметил Дон Кихот.

— Раза два, если не ошибаюсь,— сказал Санчо,— я просил вашу милость, чтобы вы меня не поправляли, если вам понятно, что я хочу сказать, а если не понимаете, скажите только: «Санчо, или там черт, дьявол, я тебя не понимаю». И вот если я не смогу объяснить, тогда и поправляйте: ведь я человек поладистый...

— Я тебя не понимаю, Санчо,— прервал его тут Дон Кихот,— я не знаю, что значит *я человек поладистый*.

— *Поладистый* — это значит: какой уж я есть,— пояснил Санчо.

— Сейчас я тебя еще меньше понимаю,— признался Дон Кихот.

— Коли вы меня не понимаете, то я уж и не знаю, как вам втолковать, не знаю — и дело с концом,— отрезал Санчо.

— Стой, стой, я уже догадался,— молвил Дон Кихот,— ты хочешь сказать, что ты такой *покладистый*, мягкий и уступчивый, что будешь во всем меня слушаться и поступать, как я тебе скажу.

— Бьюсь об заклад,— сказал Санчо,— что вы еще попервоначалу поняли меня и постигли, а только хотели сбить с толку, чтобы я еще невесту какой чуши напорол.

— Возможно,— сказал Дон Кихот.— Ну, так что же все-таки говорит Тереса?

— Тереса говорит,— отвечал Санчо,— чтобы я охулки на руку не клал, уговор, мол, дороже денег, а после, мол, снявши голову, по волосам не плачут, и лучше, дескать, синица в руках, чем журавль в небе. И хоть я и знаю, что женщины болтают пустяки, а все-таки не слушают их одни дураки.

— И я то же говорю,— согласился Дон Кихот.— Ну, друг Санчо, дальше: нынче у тебя что ни слово — то перл.

— Дело вот в чем,— продолжал Санчо.— Ваша милость лучше меня знает, что все люди смертны: сегодня мы живы, а завтра померли, и так же недалек от смерти птенец желторотый, как и старец седобородый, и никто не может поручиться, что проживет на этом свете хоть на час больше, чем ему положено от бога,

потому смерть глуха, и когда она стучится у ворот нашей жизни, то вечно торопится, и не удержать ее ни мольбою, ни силою, ни скипетром, ни митрою — такая о ней, по крайности, молва и слава, и так нам говорят с амвона.

— Все это справедливо,— заметил Дон Кихот,— только я не понимаю, к чему ты клонишь.

— Клоню я к тому,— отвечал Санчо,— чтобы ваша милость мне точно сказала, сколько вы могли бы положить мне в месяц жалованья, пока я у вас служу, и не можете ли вы положенное жалованье выплачивать наличными, а то служить за награды я не согласен, потому они или поздно приходят, или не в пору, или и вовсе не приходят, а со своими кровными я кум королю. Словом, мало ли, много ли, а я хочу знать, сколько я зарабатываю; курочка по зернышку клюет и тем сыта бывает, а потом: немножко да еще немножко, ан, глядь, и множко, и ведь все это в дом, а не из дому. Конечно, если так случится (хоть я уже не верю и не надеюсь), что ваша милость пожалует мне обещанный остров, то не такой же я неблагодарный и не такие у меня загребушие руки, чтобы по исчислении точной суммы дохода с этого острова я не согласился соответствующую долю придержать.

— Разумеется, друг Санчо, *придержать* для себя всегда выгоднее, чем *удержать* в пользу кого-нибудь другого,— заметил Дон Кихот.

— Ах да,— сказал Санчо,— конечно, мне надлежало сказать: *удержать*, а не *придержать*, ну ничего, ведь вы, ваша милость, и так меня поняли.

— Понял, понял,— сказал Дон Кихот,— все твои тайные мысли насквозь вижу и знаю, в какой огород летят камешки бесчисленных твоих пословиц. Послушай, Санчо: я с удовольствием положил бы тебе жалованье, когда бы хоть в каком-нибудь романе о странствующих рыцарях я сыскал пример, который показал бы, сколько обыкновенно зарабатывали оруженосцы в месяц или же в год. Однако я перечитал все или почти все романы и не могу припомнить, чтобы какой-нибудь странствующий рыцарь назначал своему оруженосцу определенное жалованье,— я точно знаю, что все оруженосцы служили за награды, и в один прекрасный день их сеньоры в случае удачи жаловали их островом, или же чем-либо равноценным, или, по малой мере, титулом и званием. Если вы, Санчо, этими надеждами и расчетами удовлетворетесь и захотите возвратиться ко мне на службу, то милости просим, а чтобы я стал нарушать и ломать древний обычай странствующего рыцарства, это вещь невозможная. Так что, любезный Санчо, ступайте домой и объявите вашей Тересе о моем решении, и если и она и вы согласитесь служить мне за награды, то великолепно, если же нет, то мы расстанемся друзьями: было бы зерно на голубятне, а голуби-то найдутся. И еще примите в рассуждение, сын мой, что добрая надежда лучше худого имения и хороший иск лучше худого платежа. Выражаюсь я так для того, Санчо, чтобы показать вам,

что и я не хуже вашего могу сыпать пословицами. В заключение же я хочу вам сказать и скажу вот что: если вам не угодно пойти ко мне на службу за награды и разделить мою участь, так оставайтесь с богом, а уж потом пеняйте на себя, я же сыщу себе оруженосца послушнее и усерднее вас и не такого нескладного и не такого болтливого, как вы.

Твердое решение Дон Кихота так поразило Санчо, что у него потемнело в глазах и крылья его храбрости опустились, ибо до этого он был уверен, что его господин не выступит без него в поход ни за какие блага в мире; и он все еще пребывал в состоянии растерянности и озабоченности, когда вошел Самсон Карраско, а за ним ключница и племянница, коим любопытно было послушать, как бакалавр станет уговаривать Дон Кихота не ездить на поиски приключений. Известный шутник Самсон приблизился к Дон Кихоту, обнял его, как и в прошлый раз, и заговорил громким голосом:

— О цвет странствующего рыцарства! О лучезарное светило воинства! О честь и зеркало народа испанского! Молю всемогущего бога, чтобы тот или те, кто тщится помешать и воспрепятствовать третьему твоему выезду, заблудились в лабиринте собственных желаний и так и не дождались исполнения того, что им более всего желается.

Затем он обратился к ключнице:

— Сеньора ключница смело может не молиться более святой Аполлинии, ибо мне ведомо, что таково бесповоротное решение небесных сфер, чтобы сеньор Дон Кихот продолжал осуществлять высокие свои и неподобные замыслы, и меня бы замучила совесть, когда б я не побуждал и не уговаривал этого рыцаря прервать наконец бездействие и скованность доблестной его длани и выказать величие бодрейшего духа его, ибо промедление сие лишает его возможности выпрямлять кривду, помогать сирым, охранять честь девиц, оказывать покровительство вдовицам, служить опорой замужним и все прочее в этом роде, что входит в круг обязанностей ордена странствующего рыцарства, что ему положено, что ему приличествует и подобает. Итак, прекрасный и отважный сеньор Дон Кихот, пусть милость ваша и ваше величие отправится в путь не завтра, а сегодня же, и если вам чего-либо для этого недостает, то к вашим услугам я сам и мое достояние, и если ваше великолепие нуждается в оруженосце, то я почел бы за величайшее для себя счастье послужить вам.

Тут Дон Кихот обратился к Санчо и сказал:

— Не говорил ли я тебе, Санчо, что в оруженосцах у меня недостатка не будет? Смотри, кто предлагает мне свои услуги: не кто иной, как несравненный бакалавр Самсон Карраско, первый забавник и шалун среди саламанкских школяров, здоровый телом, быстрый в движениях, не болтливый, умеющий терпеть зной и стужу, голод и жажду, обладающий всеми качествами, какие требуются от оруженосца странствующего рыцаря. Однако ж небеса

не допустят, чтобы я ради собственного удовольствия подрыл этот столп учености, разбил этот сосуд познаний и подсек высокую эту пальму изящных и вольных искусств. Пусть же этот новый Самсон остается у себя на родине и, прославив ее, прославит также седины престарелых родителей своих, я же любым удовольствием оруженосцем, коли Санчо не соблаговолит меня сопровождать.

— Нет, соблаговолю, — растроганный, весь в слезах, объявил Санчо и продолжал: — Обо мне никто не скажет, государь мой: «Поел-попил — и дружба врозь», в моем роду неблагодарных не было, все на свете, особливо в нашем селе, знают, кто такие были Панса, от коих я происхожу, да и потом, по многим вашим добрым делам и еще более добрым словам я постиг и сообразил, что ваша милость намерена меня наградить. Если же я пустился в вычисления касательно жалованья, то только в угоду жене, потому когда ей что втемяшится, то уж она гвоздит, как все равно молоток по обручам бочки, чтоб было по ее. Однако ж мужчине полагается быть мужчиной, а женщине — женщиной, и раз я мужчина, то я желаю быть мужчиной и у себя дома, как она там себе хочет, а потому вашей милости требуется только составить завещание с опиской, так чтобы его нельзя было оспорить, — и скорее в путь, чтобы отпустить душу сеньора Самсона на покаяние: ведь он говорит, что совесть его загрызет, если он не двинет вашу милость — или как это говорится: подвигнет, что ли? — в третий раз пострадать по белу свету. Я же снова даю вашей милости обещание служить вам верой и правдой, ничуть не хуже, а пожалуй, даже и лучше всех оруженосцев странствующих рыцарей, сколько их ни было прежде и сколько их ни есть теперь.

Подивился бакалавр выражениям и оборотам речи Санчо Пансы, ибо хотя он и прочел первую часть истории его господина, однако ж никак не мог предполагать, что Санчо подлинно такой забавный, каким его там изображают; когда же Санчо вместо: *завещание с припиской* сказал: *завещание с опиской*, то бакалавр поверил всему, что о нем читал, и, укрепившись во мнении, что перед ним один из самых круглых дураков нашего столетия, подумал, что таких двух сумасшедших, каковы эти господин и слуга, еще не видывал свет. В конце концов Дон Кихот и Санчо обнялись и снова стали друзьями, и по совету и с благословения высокоумного Карраско, на которого они смотрели теперь как на оракула, было решено, что отъезд состоится через три дня, в течение которых можно успеть запастись всем необходимым в дорогу и подыскать шлем с забралом, без коего Дон Кихот, по его словам, никак не мог обойтись. Самсон взялся раздобыть его — он знал, что таковой имеется у его приятеля и что тот ему не откажет в просьбе, потому что сталь этого шлема не только не сверкала и не была начищена до блеска, но напротив, потемнела от ржавчины и плесени. Проклятиям, коими ключница и племянница осыпали бакалавра, не было конца; обе женщины рвали на себе волосы, царапали лица и, как заправские плакальщицы, оплакивали отъезд Дон

Кихота, словно то был не отъезд, но кончина. О цели же, которую преследовал Самсон, уговаривая Дон Кихота еще раз выступить в поход, будет сказано дальше — так его подучили священник и цирюльник, с коими он держал совет до этого.

Коротко говоря, в течение трех дней Дон Кихот и Санчо запаслись всем, что почитали для себя необходимым; и после того как Санчо успокоил свою супругу, а Дон Кихот — племянницу и ключницу, однажды под вечер, тайком от всех, за исключением бакалавра, который вызвался проводить их с полмили, двинулись они по дороге к Тобосо: Дон Кихот — на добром своем Росинанте, а Санчо — все на том же осле, причем дорожная сума у Санчо была набита снедью, а кошелек — деньгами, которые Дон Кихот вручил ему на всякий случай. Самсон обнял Дон Кихота и попросил уведомлять о всех его удачах и неудачах, дабы он, Самсон, возрадовался неудачам, удачам же, как того, мол, требуют законы истинной дружбы, опечалился*. Дон Кихот обещал; Самсон направил стопы свои в село, а двое всадников продолжали свой путь по направлению к великому городу Тобосо.

ГЛАВА VIII,

в коей рассказывается о том, что произошло с Дон Кихотом по дороге к сеньоре Дульсинее Тобосской

Дон Кихот и Санчо остались вдвоем, и не успел Самсон скрыться из виду, как Росинант начал ржать, а осел реветь, что было принято обоими, и рыцарем и оруженосцем, за добрый знак и счастливейшее предзнаменование, хотя, по правде сказать, стечения и крики осла взяли верх над ржанием клячи, из чего Санчо вывел заключение, что его счастливая доля превзойдет и оставит далеко позади счастливую долю его господина; Дон Кихот же ему сказал:

— Друг Санчо! Ночь застигла нас в пути, и стало так темно, что мы, пожалуй, не успеем на рассвете попасть в город Тобосо, который я намерен посетить до того, как отправлюсь на поиски других приключений, и где я получу благословение и милостивое соизволение несравненной Дульсины, а я полагаю и совершенно уверен, что с таковым соизволением я доведу до победного конца любое опасное приключение, ибо ничто в этой жизни не придает странствующим рыцарям такой отваги, как благоволение их дам.

— Я тоже так думаю,— отозвался Санчо,— только сомнительно, чтобы ваша милость могла с ней побеседовать или же свидеться в таком, к примеру сказать, месте, где бы вы могли получить от нее благословение, разве через изгородь скотного двора, через которую я с нею в прошлый раз и виделся, когда отвозил письмо с вестями о том, как ваша милость дурачится и безумствует в самом сердце Сьерры Морены.

— Так тебе, Санчо, на том месте, где или, вернее, через кото-

рое ты виделся с этою прелестью и красотою, что выше всяких похвал, привиделась изгородь скотного двора? — молвил Дон Кихот. — Нет, то была, верно, галерея, балкон или — как это называется? — портик роскошного королевского дворца.

— Все может быть, — согласился Санчо, — однако ж мне это показалось изгородью, если только мне не изменяет память.

— Как бы то ни было, едем туда, Санчо, — сказал Дон Кихот, — мне совершенно все равно, как мне доведется увидеться с нею: через изгородь ли скотного двора, через окно ли, через щель или же через садовую ограду, ибо всякий луч солнца ее красоты, достигнувший моих очей, озарит мой разум и укрепит мой дух, и тогда в целом свете не найдется равных мне по уму и отваге.

— Сказать по совести, сеньор, — возразил Санчо, — когда я видел это самое солнце, то бишь сеньору Дульсинею Тобосскую, то оно было не такое уж яркое и никаких лучей не посылало, верно, потому, что ее милость, как я вам уже докладывал, просеивала тогда зерно и густая пыль облаком стояла вокруг нее и застилала ее лицо.

— Так ты, Санчо, все еще продолжаешь утверждать, думать, верить и стоять на том, что сеньора Дульсинея просеивала зерно, — спросил Дон Кихот, — хотя эта работа и занятие нимало не соответствуют тому, что обыкновенно делают и должны делать особы знатные, созданные и предназначенные для иных занятий и развлечений, по которым их знатность угадывается на расстоянии арбалетного выстрела?.. Плохо же ты помнишь, Санчо, те стихи нашего поэта*, в коих он описывает, чем занимались там, в хрустальных своих чертогах, четыре нимфы: как они вышли из водлюбимого Тахо и, усевшись на зеленой лужайке, принялись расшивать драгоценные ткани, которые, по словам хитроумного поэта, были сработаны и сотканы из золота, жемчуга и шелка. И тем же, должно думать, была занята и моя госпожа, когда ты ее увидел, если только какой-нибудь злой волшебник, завидующий моим подвигам, не подменил ее и не преобразил, как и все, что мне доставляет отраду, в нечто совершенно иное, — я даже боюсь, как бы в истории моих деяний, будто бы вышедшей из печати, автор ее, в случае если это враждебный мне кудесник, не подтасовал события, не примешал к правде уйму небылиц и не увлекся рассказом о других происшествиях, не относящихся к продолжению этой правдивой истории. О зависть, корень неисчислимых зол, червь, подтачивающий добродетель! Всякий порок, Санчо, таит в себе особое наслаждение, но зависть ничего не таит в себе, кроме огорчений, ненависти и злобы.

— Я тоже это всегда говорю, — подхватил Санчо, — и сдается мне, что в этой самой книжке, которая, если верить бакалавру Карраско, будто бы про нас написана, чести моей, уж верно, достается, словно иному упрямому борову, который не хочет идти, а ему и справа и слева, как говорится, наподдают ногами, так что пыль столбом. А между тем, верное слово, я ни про одного волшеб-

ника ничего худого не говорил, да и добра у меня не так много, чтоб мне можно было завидовать. Правда, я немножко себе на уме и не прочь иной раз сплутовать, но хоть я и плутоват, да зато простоват, и простота моя — от природы, а вовсе не напоказ. Впрочем, пусть себе говорят что хотят, голышом я родился, голышом весь свой век прожить ухитрился, и что про меня пишут в книгах и теперь будут по всему свету трепать мое имя — на это мне наплевать: пусть говорят все, что им заблагорассудится.

— И все же, Санчо, желание прославиться сильно в нас до невероятия, — сказал Дон Кихот. — Что, по-твоему, принудило Горация* в полном вооружении броситься с моста в глубину Тибра? Что принудило Муция* сжечь себе руку? Что побудило Курция* кинуться в бездонную огненную пропасть, разверзшуюся посреди Рима? Что подвигнуло Юлия Цезаря наперекор всевозможным дурным предзнаменованиям перейти Рубикон?* Все эти и прочие великие и разнообразные подвиги были, есть и будут деяниями славы, слава же представляется смертным как своего рода бессмертие, и они чают ее как достойной награды за свои славные подвиги, хотя, впрочем, нам, христианам-католикам и странствующим рыцарям, надлежит более радеть о славе будущего века там, в небесных эфирных пространствах, ибо это слава вечная, нежели о той суетной славе, которую возможно стяжать в земном и преходящем веке и которая, как бы долго она ни длилась, непременно окончится вместе с дольным миром, коего конец предуказан, — вот почему, Санчо, дела наши не должны выходить за пределы, положенные христианскою верою, которую мы исповедуем. Наш долг — в лице великанов сокрушать гордыню, зависть побеждать великодушием и добросердечием, гнев — невозмутимостью и спокойствием душевным, чревоугодие и сонливость — малоядением и многободрствованием, любострастие и похотливость — верностью, которую мы храним по отношению к тем, кого мы избрали владычицами наших помыслов, леньность же — скитаниями по всем странам света в поисках случаев, благодаря которым мы можем стать и подлинно становимся не только христианами, но и славными рыцарями. Вот каковы, Санчо, средства заслужить наивысшие похвалы, которые всегда несет с собой добрая слава.

В таких и тому подобных разговорах прошли у них ночь и следующий день, без каких-либо внимания достойных происшествий, что весьма Дон Кихота опечалило. Наконец, на другой день к вечеру, их взорам открылся великий город Тобосо, при виде коего Дон Кихот взыграл духом, Санчо же духом пал, ибо он не имел понятия, где живет Дульсинея, и никак не мог придумать, что ему предпринять, когда сеньор пошлет его в Тобосо. В конце концов Дон Кихот положил не вступать в город до наступления ночи, и временно они расположились в дубраве близ Тобосо, а когда положенный срок пришел, то вступили в город, и тут с ними случилось то, что непременно должно было случиться.

ГЛАВА IX,

в коей рассказывается о том, что из нее будет видно

*В самую глухую полночь**, а может быть, и не в самую, Дон Кихот и Санчо покинули рошу и вступили в Тобосо. Мирная тишина царила в городке, оттого что все жители отдыхали и, как говорится, спали без задних ног. Ночь выдалась довольно светлая, однако же Санчо предпочел бы, чтоб она была темная-претемная, ибо темнота могла послужить оправданием его тупоумия. Во всем городе слышался только собачий лай, несносный для ушей Дон Кихота и действовавший устрашающе на душу Санчо. Время от времени ревел осел, хрюкали свиньи, мяукали коты, и в ночной тишине все эти по-разному звучащие голоса казались еще громче, какое-то обстоятельство влюбленный рыцарь почел за дурное предзнаменование; однако ж, со всем тем, он сказал Санчо:

— Сын мой Санчо! Указывай мне путь во дворец Дульсинеи — может статься, она уже пробудилась.

— Кой черт во дворец, когда я виделся с ее величием в маленьком домишке? — воскликнул Санчо.

— Должно полагать, — заметил Дон Кихот, — что на ту пору она вместе со своими придворными дамами удалилась в малые покои своего замка, как это принято и как это водится у всех знатных сеньор и принцесс.

— Сеньор! — сказал Санчо. — Уж коли ваша милость назло мне желает, чтобы дом госпожи Дульсинеи был замком, то с чего бы это ворота его в такой час оказались отперты? И пристало ли нам с вами барабанить, чтобы нас услышали и отворили? Этак мы весь народ переполошим и взбудоражим.

— Лиха беда — отыскать замок, — возразил Дон Кихот, — а там я тебе скажу, Санчо, как нам надлежит поступить. Да ты смотри, Санчо: или я плохо вижу, или же вон та темная громада и есть дворец Дульсинеи.

— Ну так вы и поезжайте вперед, ваша милость, — подхватил Санчо, — может, это и так, но если даже я увижу этот дворец своими глазами и ощупаю собственными руками, все-таки я поверю в него не больше, чем тому, что сейчас белый день.

Дон Кихот двинулся первый и, проехав шагов двести, приблизился вплотную к темневшей громаде и увидел высокую башню, и тут только уразумел он, что это не замок, а собор. И тогда он сказал:

— Мы наткнулись на церковь, Санчо.

— Уж я вижу, — отозвался Санчо. — Да и потом, если память мне не изменяет, я вашей милости сказывал, что дом этой сеньоры находится в тупике.

— Побойся ты бога, глупец! — воскликнул Дон Кихот. — Где ты видел, чтобы замки и королевские дворцы строились в тупиках?

— Сеньор! — возразил Санчо. — В каждой стране свой обы-

чай: видно, здесь, в Тобосо, принято строить дворцы и громадные здания в переулках, а потому будьте добры, ваша милость, пустите меня поездить по ближайшим улицам и переулкам — может случиться, что в каком-нибудь закоулке я и наткнусь на этот дворец, чтоб его собаки съели, до того он нас закружил и загонял!

— Выражайся почтительнее, Санчо, обо всем, что касается моей госпожи,— сказал Дон Кихот,— не будем кипятиться и не будем терять последний разум.

— Постараюсь держать себя в руках,— объявил Санчо,— но только какое же надобно иметь терпение, коли ваша милость требует, чтобы я с одного раза на всю жизнь запомнил дом нашей хозяйки и отыскал его в полночь, когда вы сами, ваша милость, не можете его отыскать, а уж вы-то его, наверно, тысячу раз видели?

— Ты приводишь меня в отчаяние, Санчо,— сказал Дон Кихот.— Послушай, еретик: не говорил ли я тебе много раз, что я никогда не видел несравненную Дульсинею и не переступал порога ее дворца и что я влюбился в нее только по слухам, ибо до меня дошла громкая слава о красоте ее и уме?

— Теперь я все понял,— молвил Санчо,— и должен признаться: коли ваша милость никогда ее не видала, то я и подавно.

— Не может этого быть,— возразил Дон Кихот,— по крайней мере ты сам мне говорил, что видел, как она просеивала зерно, и привез мне ответ на письмо, которое я посылал ей с тобой.

— На это вы особенно не напирайте, сеньор,— объявил Санчо,— потому надобно вам знать, что я и видел ее и ответ привез тоже по слухам, и какая она из себя, сеньора Дульсинея, это мне так же легко сказать, как попасть пальцем в небо.

— Санчо, Санчо! — молвил Дон Кихот.— Иногда и пошутить можно, а иногда всякая шутка становится нехорошей и неуместной. И если я сказал, что никогда не виделся и не беседовал с владычицею моей души, то это не значит, что и ты должен говорить, будто никогда не беседовал с ней и не виделся,— ты же сам знаешь, что это не так.

В то время как они вели этот разговор, навстречу им, ведя двух мулов, шел какой-то человек, и по скрежету плуга, тащившегося по земле, Дон Кихот и Санчо заключили, что это хлебопашец, который встал до свету и теперь отправляется на свое поле, и так оно и было на самом деле.

Хлебопашец приблизился, и Дон Кихот окликнул его:

— Бог в помощь, любезный друг! Не можете ли вы мне сказать, где здесь дворец несравненной принцессы доньи Дульсинеи Тобосской?

— Сеньор! — отвечал парень.— Я нездешний, я тут всего несколько дней, нанялся на полевые работы к одному богатому землевладельцу, а вот в доме напротив живут священник и пономарь; кто-нибудь из них, а то и оба дадут вам справку насчет этой сеньоры принцессы, потому у них записаны все жители Тобосо, хотя мне сдается, что во всем Тобосо ни одной принцессы не сыщешь.

Барынь, правда, много, да еще и важных: ведь у себя дома все принцессы.

— Так вот, друг мой,— подхватил Дон Кихот,— среди них и должна быть та, про которую я спрашиваю.

— Все может быть,— молвил парень,— а затем прощайте, уже светает.

И, не дожидаясь дальнейших расспросов, он погнал своих мулов. Санчо, видя, что его господин озадачен и весьма недоволен, сказал:

— Сеньор! Вот уж и день настает. Нехорошо, если солнце достигнет нас на улице, лучше было бы нам выехать из города: вы, ваша милость, укрылись бы в ближайшем лесу, а я деньком возвращусь в город и стану шарить по всем закоулкам, пока не найду не то дом, не то замок, не то дворец моей госпожи, и уж это особая будет неудача, коли я его не найду, а коли найду, так я поговорю с ее милостью и скажу, где и в каком расположении духа ваша милость дожидается повеления ее и указания, как бы это свидеться с нею, не повредив ее чести и доброму имени.

— Ты ухитрился, Санчо, замкнуть множество мыслей в круг небольшого количества слов,— заметил Дон Кихот.— Я с превеликою охотою принимаю твой совет и горю желанием последовать ему. Итак, сын мой, поедem в лес, и там я и побуду, ты же, как обещал, возвратишься в город, разыщешь мою госпожу, повидеешься и побеседуешь с нею, а при ее уме и любезности нам сверхъестественных милостей от нее ожидать должно.

Санчо, чтобы не всплыл обман с мнимым ответом Дульсинеи, который он якобы доставил в Сьерру Морену, жаждал увезти из Тобосо своего господина и потому постарался ускорить отъезд, каковой и в самом деле последовал весьма скоро, и вот в двух милях от городка сыскали они лес, или, вернее, рощу, где Дон Кихот и остался на то время, пока Санчо съездит в город поговорить с Дульсинеей,— с посланцем же нашим произошли дороною события, требующие особого внимания.

ГЛАВА X,

*в коей рассказывается о том,
как ловко удалось Санчо околдовать Дульсинею,
а равно и о других событиях, столь же смешных,
сколь и подлинных*

Как скоро Дон Кихот укрылся не то в роще, не то в дубраве, не то в лесу, близ великого Тобосо, то велел Санчо возвратиться в город и не показываться ему на глаза, пока тот не переговорит от его имени с его госпожою и не добьется милостивого ее согласия свидеться с преданным ей рыцарем и благословить его, дабы на будущее время он мог ожидать наисчастливейшего исхода всех своих битв и трудных начинаний. Санчо обещал исполнить все,

что ему повелено, и привезти столь же благоприятный ответ, как и в прошлый раз.

— Поезжай же, сын мой,— молвил Дон Кихот,— и не смущайся, когда предстанешь пред светозарною красотою, к которой я посылаю тебя. О блаженнейший из всех оруженосцев на свете! Напряги свою память, и да не изгладится из нее, как моя госпожа тебя примет: изменится ли в лице, пока ты будешь излагать ей мою просьбу; встревожится ли и смутится, услышав мое имя; откинется ли на подушки в случае, если она сообразно с высоким своим положением будет восседать на богато убранном возвышении; если же примет тебя стоя, то понаблюдай, не будет ли переступить с ноги на ногу; не повторит ли свой ответ дважды или трижды; не превратится ли из ласковой в суровую или же, напротив, из угрюмой в приветливую; поднимет ли руку, чтобы поправить волосы, хотя бы они и были у нее в полном порядке; одним словом, сын мой, наблюдай за всеми действиями ее и движениями, ибо если ты изложишь мне все в точности, то я угадаю, какие в глубине души питает она ко мне чувства. Должно тебе знать, Санчо, если только ты этого еще не знаешь, что действия и внешние движения влюбленных, когда речь идет об их сердечных делах, являют собою самых верных гонцов, которые доставляют вести о том, что происходит в тайниках их души. Поезжай же, друг мой, да будет звезда твоя счастливее моей, и добейся больших успехов, нежели каких я в горестном моем одиночестве, снедаемый тревогою, могу ожидать.

— Ну, я поеду и скоро вернусь,— объявил Санчо,— а вы, ваша милость, вспомните, как это говорится: храброе сердце злую судьбу ломает, а бодливой корове бог рог не дает, и еще говорят: никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Говорю я это к тому, что ночью мы так и не нашли ни дворцов, ни замков моей госпожи, зато теперь, среди бела дня, я думаю, что как раз совсем невзначай я их и найду, и дайте мне только найти, а уж поговорю я с ней — лучше не надо.

— Право, Санчо,— заметил Дон Кихот,— ты всегда необыкновенно удачно вставляешь свои пословицы. Дай бог и мне такую же удачу в моих предприятиях.

При этих словах Санчо поворотил и погнал своего серого, а Дон Кихот верхом на коне, вдев ноги в стремяна и опершись на копые, предался грустным и неясным мечтаниям; и тут мы его и оставим и последуем за Санчо Пансою, который, покидая своего господина, также пребывал в смятении и задумчивости — настолько, что как скоро он выехал из лесу, то, оглянувшись и удостоверившись, что Дон Кихота не видно, прыгнул с осла, уселся под деревом и заговорил сам с собой:

— Скажите-ка, брат Санчо, куда это милость ваша изволит путь держать? Может статься, вы потеряли осла и теперь его ищете? — Разумеется, что нет.— Так куда же вы едете? — Я еду не более не менее, как к принцессе, а принцесса эта есть солнце кра-

соты и все небо, вместе взятое. — А где же, Санчо, все это, по-вашему, находится? — Где? В великом городе Тобосо. — Добро! А кто вас туда послал? — Меня послал доблестный рыцарь Дон Кихот Ламанчский, тот самый, который выпрямляет кривду, кормит жаждущих и поит голодных*. — Очень хорошо. А вы знаете, Санчо, где она живет? — Мой господин говорит, что она живет не то в королевском дворце, не то в пышном замке. — А вы ее когда-нибудь видели? — Нет, ни я, ни мой господин ни разу ее не видали. — А не кажется ли вам, что когда жители Тобосо прослышат, что вы явились сюда для того, чтобы сманивать их принцесс и беспокоить их дам, то с их стороны будет вполне благоразумно и справедливо, ежели они сбегутся, отлупят вас палками и не оставят живого места? — Признаться сказать, они будут совершенно правы, если только не примут в рассуждение, что я всего только посланец. — Не полагайтесь на это, Санчо, — ламанчцы столь же раздражительны, сколь и честны, и терпеть не могут, когда их затрагивают. Крест истинный: коли выведут они вас на чистую воду, то вам худо придется. — Отвяжись, сатана! Наше место свято! И что это меня понесла нелегкая ради чужого удовольствия за птичьим молоком? Лукавый, лукавый впутал меня в это дело — не кто другой!

Вот как рассуждал сам с собой Санчо; вывод же он сделал из этого следующий:

— Ну ладно, все на свете можно исправить, кроме смерти, — хочешь не хочешь, а в ярмо смерти всем нам в конце жизни предстоит впрячься. Мой господин по всем признакам самый настоящий сумасшедший, ну да и я ему тоже не уступлю, у меня, знать, этой самой придури еще больше, чем у него, коли я за ним слеую и служу ему, а ведь не зря говорится: скажи мне, с кем ты водишься, и я тебе скажу, кто ты; и еще есть другая пословица: с кем поведешься, от того и наберешься. И вот как он есть сумасшедший, то и судит он о вещах большею частью вкривь и вкось и белое принимает за черное, а черное — за белое, и так это с ним и бывало, когда он говорил, что ветряные мельницы — это великаны, мулы монахов — верблюды, стада баранов — вражьи полчища и прочее тому подобное, а стало быть, невелик труд внушить ему, что первая попавшаяся поселянка и есть сеньора Дульсинея, а коли он не поверит, я поклянусь, а коли и он поклянется, я опять поклянусь, а коли он упрется, то я еще пуще, а как у меня такое правило — лишь бы сказать последним, то еще неизвестно, чем это дело кончится. Может, своим упорством я добьюсь того, что он больше не станет посылать меня с подобными поручениями: увидит, что гонец из меня неважный, а может, подумает — и, пожалуй, так оно и будет, — что один из этих злых волшебников, которые якобы его ненавидят, нарочно попортили личность его возлюбленной, чтобы досадить ему и причинить неприятность.

Мысль эта придала Санчо Пансе бодрости, и, решив, что он свое дело сделал, просидел он тут до вечера, чтобы у Дон Кихота

были все основания полагать, будто у Санчо было время съездить в Тобосо и вернуться обратно; и Санчо так повезло, что не успел он встать и взобраться на серого, как увидел, что из Тобосо навстречу ему едут три крестьянки не то на ослах, не то на ослицах; увидев крестьянок, он быстрым шагом направился к господину своему Дон Кихоту, который в это время вздыхал и изливал душу в любовных жалобах. Увидев Санчо, он спросил:

— Ну что, друг Санчо? Ты с добрыми вестями?

— С такими добрыми,— подхватил Санчо,— что вашей милости остается только дать шпоры Росинанту и выехать навстречу сеньоре Дульсинея Тобосской, которая с двумя своими придворными дамами едет к вам на свидание.

— Господи помилуй! Что ты говоришь, друг Санчо? — вскричал Дон Кихот. — Смотри только, не обманывай меня и не пытайся мнимую радостью рассеять непритворную мою печаль.

— Какая мне корысть обманывать вашу милость, тем более что вам ничего не стоит удостовериться самому! — возразил Санчо. — Пришпорьте Росинанта, сеньор, и едьте — сейчас вы увидите вашу принцессу, раздетую и разубранную, как ей, одним словом, положено. И она сама, и ее придворные дамы в золоте как жар горят, унижены жемчугом, осыпаны алмазами да рубинами, все на них из парчи больше чем в десять нитей толщины, волосы — по плечам, ветерок с ними играет все равно как с солнечными лучами, а самое главное — едут они на чубарых свиноходцах, таких, что просто загляденье.

— Ты хочешь сказать, *иноходцах*, Санчо.

— Что свиноходцы, что иноходцы — разница невелика, — возразил Санчо, — словом, на чем бы они ни ехали, а только едут самые нарядные дамы, каких только можно себе вообразить, особенно моя госпожа Дульсинея Тобоская — обомлеть впору.

— Едем, друг Санчо, — объявил Дон Кихот, — и в награду за столь же неожиданные, сколь и добрые вести я отдам тебе лучший трофей, какой мне удастся захватить при первом же приключении, а если ты этим не удовлетворишься, то я отдам тебе жеребят, которых нынешний год мне принесут три мои кобылы, — ты же знаешь, что они в нашем селе на общественном выгоне и скоро должны ожеребиться.

— Мне больше улыбается получить жеребят, — сказал Санчо, — потому я не вполне уверен, что трофеи первого приключения будут стоящие.

Тут они выехали из лесу и увидели вблизи трех крестьянок. Дон Кихот пробежал глазами по всей Тобосской дороге и, не обнаружив никого, кроме крестьянок, весьма смутился и спросил Санчо, точно ли Дульсинея и ее придворные дамы выехали из города.

— Как же не выехали? — воскликнул Санчо. — Да что, у вашей милости глаза на затылке, что ли? Разве вы не видите: ведь это же они и есть — те, что едут навстречу и сияют, ровно солнце в полдень?

— Я никого не вижу, Санчо, кроме трех поселянок на ослах,— молвил Дон Кихот.

— Аминь, рассыпся! — воскликнул Санчо.— Статочное ли это дело, чтобы трех иноходцев — или как их там,— белых как снег, ваша милость принимала за ослов? Свят, свят, свят, да я готов бороду себе вырвать, коли это и правда ослы!

— Ну так я должен тебе сказать, друг Санчо,— объявил Дон Кихот,— что это подлинно ослы или ослицы и что это такая же правда, как то, что я — Дон Кихот, а ты — Санчо Панса,— по крайней мере, таковыми они мне представляются.

— Помолчите, сеньор,— сказал Санчо,— не говорите таких слов, а лучше протрите глаза и отправляйтесь свидетельствовать почтение владычице ваших помыслов — вон она уж как близко.

И, сказавши это, Санчо выехал навстречу крестьянкам, затем спешил, взяв осла одной из них за недоуздок, пал на оба колена и молвил:

— Королева, и принцесса, и герцогиня красоты! Да соблаговолит ваше высокомерие и величие милостиво и благодушно встретить преданного вам рыцаря — вон он стоит как столб, сам не свой: это он замер пред лицом великолепия вашего. Я — его оруженосец, Санчо Панса, а он сам — блуждающий рыцарь Дон Кихот Ламанчский, иначе — Рыцарь Печального Образа.

Тут и Дон Кихот опустил на колени рядом с Санчо и, широко раскрыв глаза, устремил смятенный взор на ту, которую Санчо величал королевою и герцогинею; а так как Дон Кихот видел в ней всего-навсего деревенскую девку, к тому же не слишком приятной наружности, круглолицую и курносую, то был он изумлен и озадачен и не смел выговорить ни слова. Крестьянки также диву дались, видя, что два человека, нисколько не похожие друг на друга, стоят на коленях перед одной из них и загораживают ей дорогу; однако попавшая в засаду в конце концов не выдержала и грубым и сердитым голосом крикнула:

— Прочь с дороги, такие-сякие, дайте-ка проехать, нам недосуг!

На это Санчо ответил так:

— О принцесса и всеобщая тобосская владычица! Ужели благородное сердце ваше не смягчится при виде сего столпа и утверждения странствующего рыцарства, преклонившего колена пред высокопоставленным вашим образом?

Послушав такие речи, другая крестьянка сказала:

— А, да ну вас, чихать мы на вас хотели! Поглядите на этих господчиков: вздумали над крестьянками насмеяться! Шалишь, мы тоже за словом в карман не полезем. Поезжайте своей дорогой, а к нам не приставайте, и будьте здоровы.

— Встань, Санчо,— сказал тут Дон Кихот,— я вижу, что *вновь жаждет горестей моих судьбина** и что она отрезала все пути, по которым какая-либо отрада могла бы проникнуть в наболевшую эту душу, в моем теле заключенную. А ты, высочайшая

доблесть, о какой только можно мечтать, предел благородства человеческого, единственное утешение истерзанного моего сердца, тебя обожающего, внемли моему гласу: коварный волшебник, преследующий меня, затуманил и застлал мне очи, и лишь для меня одного померкнул твой несравненной красоты облик и превратился в облик бедной поселянки, но если только меня не преобразили в какое-нибудь чудище, дабы я стал несносен для очей твоих, то взгляни на меня нежно и ласково, и по этому моему смиренному коленопреклонению пред искаженною твоею красотою ты поймешь, сколь покорно душа моя тебя обожает.

— Вот еще наказание! — отрезала крестьянка. — Нашли какую охотницу шуры-муры тут с вами заводить! Говорят вам похорошему: дайте дорогу, пропустите нас!

Санчо дал дорогу и пропустил ее, весьма довольный, что не ему пришлось расхлебывать кашу, которую он заварил. Крестьянка, принимаемая за Дульсинею, видя, что путь свободен, в ту же минуту кольнула своего *свиноходца* острым концом палки, которая была у нее в руках, и погнала его вперед. Однако ж укол этот был, должно полагать, чувствительнее обыкновенного, оттого что ослица стала вскидывать задние ноги и наконец сбросила сеньору Дульсинею наземь; увидевши это, Дон Кихот кинулся ее поднять, а Санчо — поправить и подтянуть седло, съехавшее ослице на брюхо. Когда же седло было приведено в порядок, Дон Кихот вознамерился поднять зачарованную свою сеньору на руки и посадить на ослицу, однако сеньора избавила его от этого труда: она поднялась самостоятельно, отошла немного назад и, взявши недурной разбег, обеими руками уперлась в круп ослицы, а затем легче сокола вскочила в седло и села верхом по-мужски; и тут Санчо сказал:

— Клянусь святым Роке, наша госпожа легче ястреба, она еще самого ловкого кордованца или же мексиканца* может поучить верховой езде! Одним махом перелетела через заднюю луку седла, а теперь без шпор гонит своего иноходца, как все равно зебру. И придворные дамы от нее не отстают: мчатся вихрем.

И точно: увидев, что Дульсинея уже в седле, подруги ее погнали своих ослиц следом за ней, и они скакали с полмили, ни разу не оглянувшись. Дон Кихот проводил их глазами, а когда они скрылись из виду, то обратился к Санчо и сказал:

— Санчо! Что ты скажешь насчет этих волшебников, которые так мне досаждают? Подумай только, до чего доходят их коварство и злоба: ведь они сговорились лишить меня радости, какую должно было мне доставить лицезрение моей сеньоры. Видно, и впрямь я появился на свет как пример несчастливца, дабы служить целью и мишенью, в которую летят и попадают все стрелы злой судьбы. И еще обрати внимание, Санчо, что вероломные эти существа не удовольствовались тем, чтобы просто преобразить мою Дульсинею и изменить ее облик, — нет, они придали ей низкий облик и некрасивую наружность этой сельчанки и одновременно

отняли у нее то, что столь свойственно знатым сеньорам, которые живут среди цветов и благовоний, а именно: приятный запах. Между тем должен сознаться, Санчо, что когда я приблизился к Дульсинее, дабы посадить ее на иноходца, как ты его называешь, хотя мне он представляется ослицей, то от нее так пахнуло чесноком, что к горлу у меня подступила тошнота и мне едва не сделалось дурно.

— Ах, мошенники! — вскричал тут Санчо. — Ах, волшебники вы несчастные, зловредные, поддеть бы вас всех, как сардинок, под жабры да нанизать на тростинку! Много вы знаете, много можете и много зла делаете. Довольно с вас, мерзавцы, что вы превратили жемчужные очи моей госпожи в чернильные орешки, волосы ее, чистейшего золота, — в рыжий бычачий хвост и, наконец, красивые черты ее лица — в уродливые, так хоть бы запах-то не трогали: ведь по одному этому мы могли бы догадаться, что скрывается под этой грубой корой, хотя, признаться сказать, я никакой уродливости в ней не заметил, — я видел одну только красоту.

— А скажи мне, Санчо: то самое, что я принял за вьючное седло и что ты прилаживал, — что это такое: простое седло или же дамское?

— Нет, нет, — отвечал Санчо, — это седло с короткими стремениами и с такой важной попоной, которая стоит никак не меньше полцарства.

— А я всего этого не видел, Санчо! — воскликнул Дон Кихот. — Повторяю и еще тысячу раз буду повторять, что я самый несчастный человек на свете.

Хитрец Санчо, слушая, какие глупости болтает его господин, столь ловко обведенный им вокруг пальца, едва мог удержаться от смеха. Наконец, после долгих разговоров, оба воссели на своих четвероногих, и далее с ними случилось столько великих и неслыханных событий, что о них стоит написать и стоит прочитать.

ГЛАВА XI

*О необычайном приключении доблестного
Дон Кихота с колесницей,
то есть с телегой Судилища Смерти*

Дон Кихот, погруженный в глубокое раздумье, ехал дальше, вспоминая злую шутку, какую с ним сыграли волшебники, превратившие сеньору Дульсинею в безобразную сельчанку, и все не мог придумать, как бы возвратить ей первоначальный облик; и до того он был этими мыслями занят, что не заметил, как бросил поводья, а Росинант, почуяв свободу, ежеминутно останавливался и щипал зеленую травку, коей окрестные поля были обильны. Из этого самозабвения вывел Дон Кихота Санчо Панса, который обратился к нему с такими словами:

— Сеньор! Печали созданы не для животных, а для людей, но только если люди чересчур печалятся, то превращаются в животных. А ну-ка, ваша милость, совладайте с собой, возьмите себя в руки, подберите Росинантовы поводья, приободритесь, встряхнитесь и будьте молодцом, как подобает странствующему рыцарю. Что это еще за чертовщина? Почто такое уныние? Где мы: во Франции или же у себя дома? Да черт их возьми, всех Дульсинеи на свете,— здоровье одного странствующего рыцаря стоит дороже, чем все волшебства и превращения, какие только есть на земле.

— Замолчи, Санчо,— довольно твердо проговорил Дон Кихот,— замолчи, говорят тебе, и не произноси кощунственных слов о зачарованной нашей сеньоре: в ее несчастьи и напасти повинен я, а не кто другой, ибо злключения ее вызваны той завистью, которую питают ко мне злодеи.

— Я тоже так думаю,— молвил Санчо,— у кого бы сердце не упало, кто видал, какой она была и какую стала?

— Ты можешь так говорить, Санчо,— заметил Дон Кихот,— ты созерцал ее красоту во всей ее целокупности, действие чар на тебя не распространилось: они не затуманили твоего зора и не сокрыли от тебя ее пригожества, вся сила этого яда была направлена только против меня и моих глаз. Однако ж, со всем тем, вот что я подозреваю, Санчо: верно, ты плохо описал мне ее красоту. Если не ошибаюсь, ты сказал, что очи у нее как жемчуг, между тем глаза, напоминающие жемчужины, скорее бывают у рыб, чем у женщин, а у Дульсинеи, сколько я себе представляю, должен быть красивый разрез глаз, самые же глаза — точно зеленые изумруды под радугами вместо бровей, так что эти самые жемчужины ты у глаз отними и передай зубам,— по всей вероятности, ты перепутал, Санчо, и глаза принял за зубы.

— Все может быть,— согласился Санчо,— потому меня так же поразила ее красота, как вашу милость ее безобразие. Будемте же уповать на бога: ему одному известно все, что случится в этой юдоли слез, в нашем грешном мире, где ничего не бывает без примеси низости, плутовства и мошенничества. Одно, государь мой, меня беспокоит больше чем что бы то ни было, а именно: что делать, если ваша милость одолеет какого-нибудь великана или же рыцаря и велит ему явиться пред светлые очи сеньоры Дульсинеи? Где этот бедняга великан или же бедняга и горемыка побежденный рыцарь станут ее искать? Я их отсюда вижу: слоняются, как дураки, по всему Тобосо и всё ищут сеньору Дульсинею, и если даже они ее прямо на улице встретят, все равно это будет для них — что Дульсинея, что мой родной папаша.

— Может статься, Санчо,— заметил Дон Кихот,— чародейство с неузнаванием Дульсинеи не распространяется на побеждаемых мною и представляющихся Дульсинею великанов и рыцарей, а потому с одним или с двумя из тех, кого я в первую очередь покорю и отошлю к Дульсинею, мы проделаем опыт: увидят они ее или

нет, и я прикажу им возвратиться и доложить мне, как у них с этим обстояло.

— Мне ваша мысль, скажу я вам, сеньор, нравится, — молвил Санчо. — Коли пуститься на такую хитрость, то все, что нам желательно знать, мы узнаем, и если окажется, что сеньора Дульсинея всем видна, кроме вас, то это уж беда не столько ее, сколько вашей милости. Лишь бы сеньора Дульсинея была жива-здорова, а уж мы тут как-нибудь приспособимся и потерпим, будем себе искать приключений, а все остальное предоставим течению времени: время — лучший врач, и оно более опасные болезни излечивает, а уж про эту и говорить не приходится.

Дон Кихот хотел ответить Санчо Пансе, но этому помешала выехавшая на дорогу телега, битком набитая самыми разнообразными и необыкновенными существами и фигурами, какие только можно себе представить. Сидел за кучера и погонял мулов некий безобразный демон. Повозка была совершенно открытая, без полотняного верха и плетеных стенок. Первою фигурю, представившеюся глазам Дон Кихота, была сама Смерть с лицом человека; рядом с ней ехал Ангел с большими раскрашенными крыльями; с другого боку стоял Император в короне, по виду золотой; у ног Смерти примостился божок, так называемый Купидон*, без повязки на глазах, но зато с луком, колчаном и стрелами; тут же ехал Рыцарь, вооруженный с головы до ног, только вместо шишака или шлема на нем была шляпа с разноцветными перьями; и еще тут ехало много всяких существ в разнообразном одеянии и разного обличья. Неожиданное это зрелище слегка озадачило Дон Кихота и устрасило Санчо, но Дон Кихот тотчас же возвеселился сердцем; он решил, что его ожидает новое опасное приключение, и с этою мыслью, с душою, готовою к любой опасности, он остановился перед самой телегой и громко и угрожающе заговорил:

— Кто бы ты ни был, возница, кучер или сам дьявол! Сей же час доложи мне: кто ты таков, куда едешь и что за народ везешь в своем фургоне, который, к слову сказать, больше похож на ладю Харона*, нежели на обыкновенную повозку.

Тут Дьявол натянул вожжи и коротко ответил:

— Сеньор! Мы актеры, мы играли в селе, что вон за тем холмом, *Действо о Судилище Смерти**, а вечером нам предстоит играть вот в этом селе — его видно отсюда. Нам тут близко, и чтобы двадцать раз не переодеваться, мы и едем прямо в тех костюмах, в которых играем. Этот юноша изображает Смерть, тот — Ангела, эта женщина — Королеву, вон тот — Солдата, этот — Императора, а я — Дьявола, одно из главных действующих лиц: я в нашей труппе на первых ролях. Если же вашей милости нужны еще какие-либо о нас сведения, то обратитесь ко мне, и я дам вам самый точный ответ: я же Дьявол, я все могу.

— Клянусь честью странствующего рыцаря, — заговорил Дон Кихот, — когда я увидел вашу повозку, то подумал, что мне предстоит какое-то великое приключение, но теперь я понимаю, что

стоит лишь коснуться рукой того, что тебе померещилось, и обман тотчас же рассеивается. Поезжайте с богом, добрые люди, давайте ваше представление и подумайте, не могу ли я чем-нибудь быть вам полезен: я весьма охотно и с полною готовностью сослужу вам службу, ибо лицедейство пленило меня, когда я был еще совсем маленький, а в юности я не выходил из театра.

Во время этого разговора по прихоти судьбы выступил вперед один из комедиантов, одетый в шутовской наряд со множеством бубенчиков и державший на руках палку с тремя надутыми бычачьими пузырями на конце; этот самый шут, приблизившись к Дон Кихоту, начал размахивать палкой, хлопать по земле пузырями и, звеня бубенцами, высоко подпрыгивать, каковое ужасное зрелище так испугало Росинанта, что, сколько ни старался Дон Кихот удержать его, он закусил удила и помчался с проворством, которого вовсе нельзя было ожидать от такого скелета. Санчо, смекнув, что его господину грозит опасность быть низвергнутым, соскочил с осла и со всех ног бросился ему на помощь, но когда он примчался, тот лежал уже на земле, а рядом с ним растянулся Росинант: обычный конец и предел Росинантовой удали и своевольства.

Не успел Санчо оставить серого и подбежать к Дон Кихоту, как плясавший с пузырями Черт вскочил на осла и стал колотить его пузырями по спине; осел же, подгоняемый не столько болью, сколько страхом, который наводило на него это хлопанье, припустился в сторону села, где надлежало быть представлению. Санчо смотрел на удиравшего осла и на поверженного господина и не знал, какому горю пособить прежде, но так как он был верный оруженосец и верный слуга, то любовь к своему господину возобладала в нем над привязанностью к серому, хотя всякий раз, как пузыри поднимались и опускались на круп осла, он испытывал смертный страх и смертную муку; он предпочел бы, чтоб его самого отхлопали так по глазам, чем дотронулись до кончиков волос на хвосте его серого. В состоянии мучительной растерянности приблизился он к Дон Кихоту, являвшему собою более жалкое зрелище, чем он сам предполагал, и, подсаживая его на Росинанта, молвил:

— Сеньор! Черт угнал серого.

— Какой черт? — осведомился Дон Кихот.

— С пузырями, — отвечал Санчо.

— Ничего, я у него отобью, — молвил Дон Кихот, — хотя бы он укрылся с ним в самых глубоких и мрачных узилищах ада. Следуй за мной, Санчо; телега едет медленно, и утрату серого я возьму тебе мулами.

— Вам не из чего хлопотать столько, сеньор, — возразил Санчо, — умерьте гнев, ваша милость: мне сдается, что Черт уже оставил серого и он идет обратно.

И точно: по примеру Дон Кихота и Росинанта, Черт уже грянулса оземь и побрел в село пешком, а серый возвратился к своему хозяину.

— Со всем тем,— объявил Дон Кихот,— за наглость этого беса следовало бы проучить кого-либо из едущих в повозке, хотя бы, например, самого Императора.

— Выкиньте это из головы,— возразил Санчо,— и послушайтесь моего совета; никогда не следует связываться с комедиантами — они весельчаки и забавники, а потому все им покровительствуют, все им помогают, все за них заступаются и все их ублажают.

— Что бы там ни было,— заключил Дон Кихот,— лицедейный Черт так легко от меня не отделается, хотя бы весь род людской ему покровительствовал.

И, сказавши это, он нагнал телегу, которая уже почти подъехала к селу, и крикнул:

— Стойте, погодите, сонмище весельчаков и затейников! Я хочу научить вас, как должно обходиться с ослами и прочими скотами, на которых ездят оруженосцы странствующих рыцарей!

Дон Кихот кричал так громко, что ехавшие в телеге расслышали и уловили его слова; и стоило им постигнуть их смысл, как тот же час с телеги прыгнула Смерть, а за нею Император, возница-Черт и Ангел, не усидели и Королева с божком Купидоном — все, как один, вооружились камнями, построились в одну шеренгу и изготовились встретить Дон Кихота пальбою булыжниками. Дон Кихот, видя, как они в полном боевом порядке подняли руки с тем, чтобы запустить в него камнями, натянул поводья и стал думать, как бы это повести наступление с наименьшим для себя риском. А пока он раздумывал, к нему присоединился Санчо и, видя, что он собирается напасть на этот выстроившийся по всем правилам военного искусства отряд, сказал:

— Нужно совсем сойти с ума, чтобы затевать такое дело. Примите в соображение, государь мой: против таких увесистых камушков нет иного оборонительного средства, кроме как пригнуться и накрыться медным колоколом. А потом вот еще что нужно сообразить: нападать одному на целое войско, в котором находится сама Смерть, в котором собственной персоной сражаются императоры и которому помогают добрые и злые ангелы,— это не столь смело, сколь безрассудно. Если же эти соображения вас не останавливают, то пусть вас остановит одно достоверное сведение, а именно: кем только эти люди ни представляются — и королями, и принцами, и императорами,— а странствующего рыцаря среди них ни одного нет.

— Вот теперь, Санчо, ты попал в самую точку,— объявил Дон Кихот,— и это может и должно заставить меня отказаться от твердого моего намерения. Как я уже не раз тебе говорил, я не могу и не должен обнажать меч против тех, кто не посвящен в рыцари. Это тебе, Санчо, если ты желаешь отомстить за обиду, причиненную твоему серому, надлежит с ними схватиться, я же буду издали помогать тебе словами ободрения и спасительными предостережениями.

— Мстить никому не следует, сеньор,— возразил Санчо,—

доброму христианину не подобает мстить за обиды, тем более что я уговорю моего осла предать его обиду моей доброй воле, а моя добрая воля — мирно прожить дни, положенные мне всевышним.

— Ну, Санчо добрый, Санчо благоразумный, Санчо-христианин, Санчо простосердечный,— молвил Дон Кихот,— коли таково твоё решение, то оставим в покое эти пугала и поищем лучших и более достойных приключений, множество каковых, и притом самых что ни на есть чудесных, судя по всему, именно здесь-то нас и ожидает.

С этими словами он поворотил коня, Санчо взобрался на своего серого, Смерть и весь её летучий отряд снова разместились в повозке и поехали дальше, и таким образом страшное это приключение с колесницею Смерти окончилось благополучно только благодаря спасительному совету, преподанному Санчо Пансоу своему господину, которому на другой день предстояло новое приключение, с неким влюбленным странствующим рыцарем, не менее потрясающее, нежели предыдущее.

ГЛАВА XII

О необычайном приключении доблестного Дон Кихота с отважным Рыцарем Зеркал

Ночь после встречи со Смертью Дон Кихот и его оруженосец провели под высокими и тенистыми деревьями, где, сдавшись на уговоры Санчо, Дон Кихот прежде всего вкусил той снеди, которою был нагружен осел; и за ужином Санчо сказал своему господину:

— Сеньор! В каких бы я остался дураках, когда бы выбрал себе в награду трофеи первого приключения вашей милости, а не жеребят от трех ваших кобыл! Вот уж, что называется: «Лучше синица в руках, чем журавль в небе».

— Однако, Санчо,— возразил Дон Кихот,— если б ты дал мне сразиться, как я хотел, то в виде трофея тебе достались бы по малой мере золотая корона Императрицы и раскрашенные крылья Купидона. Я задал бы этой компании порядочную трепку, и все их пожитки перешли бы к тебе.

— Скипетры и короны императоров лицедейных никогда не бывают из чистого золота, а либо из мишуры, либо из жести,— заметил Санчо Панса.

— Справедливо,— отозвался Дон Кихот,— театральным украшениям не подобает быть добротными, им надлежит быть воображаемыми и только кажущимися, как сама комедия*, и все же мне бы хотелось, чтобы ты, Санчо, оценил и полюбил комедию, а следовательно, и тех, кто её представляет, и тех, кто её сочиняет, ибо все они суть орудия, приносящие государству великую пользу: они беспрестанно подставляют нам зеркало, в коем ярко отражаются деяния человеческие, и никто так ясно не покажет нам раз-

личия между тем, каковы мы суть, и тем, каковыми нам быть надлежит, как комедия и комедианты. Нет, правда, скажи мне: разве ты не видел на сцене комедий, где выводятся короли, императоры, папы, рыцари, дамы и другие действующие лица? Один изображает негодяя, другой — плута, третий — купца, четвертый — солдата, пятый — сметливого простака, шестой — простодушного влюбленного, но едва лишь комедия кончается и актеры снимают с себя костюмы, все они между собою равны.

— Как же, видел,— отвечал Санчо.

— Ведь то же самое происходит и в той комедии, которую представляет собою круговорот нашей жизни,— продолжал Дон Кихот,— и здесь одни играют роль императоров, другие — пап, словом, всех действующих лиц, какие только выводятся в комедии, а когда наступает развязка, то есть когда жизнь кончается, смерть у всех отбирает костюмы, коими они отличались друг от друга, и в могиле все становятся между собою равны.

— Превосходное сравнение,— заметил Санчо,— только уже не новое, мне не однажды и по разным поводам приходилось слышать его, как и сравнение нашей жизни с игрою в шахматы: пока идет игра, каждая фигура имеет свое особое назначение, а когда игра кончилась, все фигуры перемешиваются, перетасовываются, ссыпаются в кучу и попадают в один мешок, подобно тому как все живое сходит в могилу.

— С каждым днем, Санчо, ты становишься все менее простоватым и все более разумным,— заметил Дон Кихот.

— Да ведь что-нибудь да должно же пристать ко мне от вашей премудрости,— сказал Санчо,— земля сама по себе может быть бесплодною и сухою, но если ее удобрить и обработать, она начинает давать хороший урожай. Я хочу сказать, что беседы вашей милости были тем удобрением, которое пало на бесплодную почву сухого моего разума, а все то время, что я у вас служил и с вами общался, было для него обработкой, благодаря чему я надеюсь обильный принести урожай, и урожай этот не сойдет и не уклонится с тропинок благого воспитания, которое милость ваша проложила на высохшей ниве моего понятия.

Посмеялся Дон Кихот высокопарности Санчо, однако ж не мог не признать, что тот в самом деле подает надежды, ибо своей манерой выражаться частенько приводил его в изумление; впрочем, всякий или почти всякий раз, как Санчо начинал изъясняться на ученый или на столичный лад, речь его в конце концов низвергалась с высот простодушия в пучину невежества; особливая же изысканность его речи и изрядная память сказывались в том, как он кстати и некстати применял пословицы, что на протяжении всей нашей истории читатель, по всей вероятности, видел и замечал неоднократно.

В таких и тому подобных разговорах прошла у них большая половина ночи, и наконец Санчо припала охота отправиться на боковую, как он выражался, когда его клонило ко сну, и, рассед-

лав серого, он дал ему полную волю наслаждаться обильным травоя пастбищем. С Росинанта же он не снял седла по особому распоряжению Дон Кихота, не велевшего расседлывать коня, пока они ведут походную жизнь и ночуют под открытым небом; старинный обычай, установленный и неуклонно соблюдавшийся странствующими рыцарями, позволял снимать уздечку и привязывать ее к седельной луке, но снимать седло — ни в коем случае! Санчо так и сделал и предоставил Росинанту свободно пастись вместе с осликом, а между осликом и Росинантом существовала дружба тесная и беспримерная: едва лишь оба четвероногих сходились вместе, Росинант клал свою шею на шею серого, при этом с другой стороны она выступала более чем на пол-локтя, и оба, задумчиво глядя в землю, обыкновенно простаивали так дня по три, во всяком случае все то время, каким они для этой цели располагали, а также когда голод не понуждал их искать пропитания.

Наконец Санчо уснул у подножия пробкового дуба, Дон Кихот же задремал под дубом обыкновенным, но могучим, однако малое время спустя его разбудил шум, послышавшийся у него за спиной, и, тут же вскочив, он начал вглядываться и вслушиваться, сию минуту определить, что это за шум, и увидел двух всадников, один из которых спрыгнул наземь и сказал своему спутнику:

— Слезай, приятель, и разнуздай коней, мне сдается, что травы здесь для них будет вдоволь, а для любовных моих дум — вдоволь тишины и уединения.

Произнеся эти слова, незнакомец в один миг растянулся на траве; когда же он повалился на землю, послышался звон доспехов, и для Дон Кихота то был явный знак, что пред ним странствующий рыцарь; по сему обстоятельству Дон Кихот приблизился к спящему Санчо, потянул его за руку и, с немалым трудом добудившись, сказал ему на ухо:

— Брат Санчо, приключение!

— Дай бог, чтоб удачное, — отозвался Санчо. — А где же оно, государь мой, это самое многоуважаемое приключение?

— Где приключение, Санчо? — переспросил Дон Кихот. — Поверни голову и погляди: вон там лежит странствующий рыцарь, и, сколько я понимаю, он не чрезмерно весел, — я видел, как он соскочил с коня и, словно в отчаянии, повалился на землю, и в это время зазвенели его доспехи.

— Почему же ваша милость думает, что это приключение? — осведомился Санчо.

— Я не хочу сказать, что это уже и есть приключение, это только его начало, ибо приключения начинаются именно так, — отвечал Дон Кихот. — Но чу: кажется, он настраивает не то лютню, не то гитару, откашливается, прочищает горло — видно, собирается петь.

— Честное слово, так оно и есть, — сказал Санчо. — Должно полагать, это влюбленный рыцарь.

— Странствующий рыцарь не может не быть влюблен, — за-

метил Дон Кихот. — Послушаем же его и по шерстинке песни узнаем овчинку его помыслов.

Санчо хотел было возразить своему господину, но ему помешал голос рыцаря, голос не слишком дурной, но и не весьма приятный.

Наконец рыцарь, вздохнув, казалось, из глубины души, кончил свою песню, а немного погодя заговорил голосом жалобным и печальным:

— О прекраснейшая и неблагодарнейшая женщина во всем подлунном мире! Ужели, светлейшая Касильдея Вандальская*, ты допустишь, чтобы преданный тебе рыцарь зачах и погиб в бесконечных странствиях и в суровых и жестоких испытаниях? Ужели тебе не довольно того, что благодаря мне тебя признали первую красавицею в мире все рыцари Наварры, Леона, Тартесии, Кастилии и, наконец, Ламанчи?

— Ну уж нет, — молвил тут Дон Кихот, — я сам рыцарь Ламанчский, но никогда ничего подобного не признавал, да и не мог и не должен был признавать ничего столь принижающего красоту моей госпожи, и теперь ты видишь, Санчо, что рыцарь этот бредит. Впрочем, послушаем еще: уж верно, он выскажется полнее.

— Еще как выскажется, — подхватил Санчо, — он, по видимости, приготовился выть целый месяц без передышки.

Случилось, однако ж, не так: услышав, что кто-то поблизости разговаривает, рыцарь прекратил свои пени, стал на ноги и звонким и приветливым голосом произнес:

— Кто там? Что за люди? Принадлежите ли вы к числу счастливых или же скорбящих?

— Скорбящих, — отозвался Дон Кихот.

— В таком случае приблизьтесь ко мне, — молвил рыцарь, — и знайте, что вы приближаетесь к воплощенной печали и скорби.

Услышав столь трогательный и учтивый ответ, Дон Кихот приблизился к рыцарю, а за Дон Кихотом проследовал и Санчо. Сетовавший рыцарь схватил Дон Кихота за руку и сказал:

— Садитесь, сеньор рыцарь. Чтоб догадаться, что вы рыцарь и принадлежите к ордену рыцарей странствующих, мне довольно было встретить вас в этом месте, где с вами делят досуг лишь уединение да вечерняя роса — обычный приют и естественное ложе странствующих рыцарей.

На это ему Дон Кихот ответил так:

— Я рыцарь, и как раз этого самого ордена, и хотя печали, бедствия и злоключения свили в душе моей прочное гнездо, однако ж от нее не отлетело сострадание к несчастьям чужим. Из песни вашей я сделал вывод, что ваши несчастья — любовного характера, то есть что они вызваны вашею любовною страстью к неблагодарной красавице, имя которой вы упоминали в жалобах ваших.

Так, в мире и согласии, вели они между собой беседу, сидя на голой земле, и кто бы мог подумать, что не успеет заняться день, как они уже займется друг дружкой на поле сражения!

— Уж не влюблены ли, часом, и вы, сеньор рыцарь? — спросил Дон Кихота его собеседник.

— К несчастью, да, — отвечал Дон Кихот, — впрочем, если выбор мы сделали достойный, то страдания, им причиняемые, нам надлежит почитать за особую милость, а никак не за напасть.

— Ваша правда, — заметил рыцарь, — но только презрение наших повелительниц, от которого мы теряем рассудок и здравый смысл, так велико, что скорее напоминает месть.

— Моя госпожа никогда меня не презирала, — возразил Дон Кихот.

— Разумеется, что нет, — подхватил находившийся поблизости Санчо, — моя госпожа кроткая, как овечка, и мягкая, как масло.

— Это ваш оруженосец? — спросил рыцарь.

— Да, оруженосец, — отвечал Дон Кихот.

— В первый раз вижу, чтобы оруженосец смел перебивать своего господина, — заметил рыцарь, — по крайней мере мой оруженосец — вон он стоит, — когда говорю я, как воды в рот наберет.

Тут оруженосец рыцаря-песнопевца взял Санчо за руку и сказал:

— Отойдем-ка в сторонку и поговорим по душам, как оруженосец с оруженосцем, а наши господа пусть себе препираются и рассказывают друг другу о сердечных своих обстоятельствах, — ручаюсь головой, что они еще и дня прихватят, да и то, пожалуй, не кончат.

— Пусть себе на здоровье, — согласился Санчо, — а я расскажу вашей милости, кто я таков, и вы увидите, что меня нельзя ставить на одну доску с другими болтливыми оруженосцами.

Оба оруженосца удалились, и между ними началось собеседование, столь же забавное, сколь важным было собеседование их сеньоров.

ГЛАВА XIII,

в коей продолжается приключение с Рыцарем Зеркал и приводится разумное, мирное и из ряду вон выходящее собеседование двух оруженосцев

— Тяжело и не сладко живется нам, то есть оруженосцам странствующих рыцарей, государь мой, — заговорил слуга другого рыцаря, — вот уж истинно в поте лица нашего едим мы хлеб, а ведь это одно из проклятий, коим господь бог предал наших прародителей.

— С таким же успехом можно сказать, — подхватил Санчо, — что мы едим его в хладе нашего тела, ибо кто больше злосчастных оруженосцев странствующего рыцарства страдает от зноя и стужи? И не так было бы обидно, ежели б мы этот хлеб ели, потому с хлебом и горе не беда, а то ведь иной раз дня по два пробавляемся одним только перелетным ветром.

— Все это еще можно снести и перенести в ожидании награды,— заметил другой слуга,— ведь если только странствующий рыцарь, у которого служит оруженосец, не из самых незадачливых, то немного спустя он ему уж непременно пожалует губернаторство на каком-нибудь разлюбезном острове или же какое-нибудь хорошенькое графство.

— Я уже говорил моему господину, что с меня и губернаторства на острове довольно,— объявил Санчо,— и он был так благодарен и так щедр, что неоднократно и по разным поводам давал обещание пожаловать меня островом.

— А я был бы доволен, если б за непорочную мою службу меня сделали каноником,— сказал другой слуга,— мой господин мне уже обещал приход, да еще какой!

— Ваш господин, как видно, рыцарь по церковной части и имеет право оказывать подобного рода милости верным своим оруженосцам,— заметил Санчо,— ну, а мой — самый обыкновенный светский, хотя, впрочем, я припоминаю, что одни умные люди, коих я, правда, почитал за вероломцев, пытались уговорить его стать архиепископом, однако ж он, кроме императора, ни о чем слышать не хотел, а я тогда боялся: ну как ему припадет охота пойти по духовной части? Ведь я управлять церковным приходом не гожусь: надобно вам знать, ваша милость, что хотя я и похож на человека, но только церкви что от меня, что от скота — один прок.

— Право, ваша милость, вы ошибаетесь, ведь не все острова ладно скроены,— возразил другой слуга.— Попадают среди них и кривые, и бедные, и унылые, и даже с самым из них ровным и стройным тот несчастный, которому он достанется, забот и неприятностей не оберется. На что бы лучше нам бросить эту проклятую службу и разойтись по домам, а уж дома мы бы занялись более приятными делами — скажем, охотой или рыбной ловлей, потому у какого самого что ни на есть бедного оруженосца нет своей лошаденки, пары борзых и удочки, чтоб было чем занять себя в деревне?

— У меня все это есть,— объявил Санчо,— лошадки, правда, нет, но зато есть осел — вдвое лучше, чем конь моего господина. Не встретить мне в радости Пасху, ближайшую, какая должна быть, если я когда-либо обменяю моего осла на этого коня, хотя бы в придачу мне дали не одну фанегу* овса. Вы не поверите, ваша милость, какой у меня замечательный серый — он у меня серый, осел-то. Ну, а за собаками дело не станет: собак у нас в деревне сколько хочешь.

— Признаться сказать, сеньор оруженосец,— молвил другой слуга,— я вознамерился и решился бросить всю эту рыцарскую чушь, возвратиться к себе в деревню и растить детишек: у меня их трое, и все — будто перлы Востока.

— А у меня двое,— сказал Санчо,— да такие, что подноси их на блюде хоть самому римскому папе, особенно девчонка, я ее с

божьей помощью прочу в графини, хотя и наперекор матери.

— А сколько же лет этой сеньоре, которая должна стать графиней? — полюбопытствовал другой слуга.

— Около пятнадцати, — отвечал Санчо, — но ростом она с копьё, свежа, как апрельское утро, а сильна, как все равно поденщик. И я молю бога, чтоб он привел меня свидеться с семьей и избавил от смертного греха, то есть от опасной службы оруженосца, связался же я с нею вторично, оттого что меня соблазнил и попутал кошелек с сотней дукатов, который я однажды нашел в самом сердце Сьерры Морены, а теперь черт то и дело машет у меня перед глазами мешком с дублонами — то здесь, то там; ан, глядь, не там, а вон где, — и мне все чудится: вот я его хватаю руками, прижимаю к груди, несу домой, приобретаю землю, сдаю ее в аренду и живу себе, что твой принц, и стоит мне об этом подумать, как мне уже кажутся легкими и выносимыми те муки, что мне приходится терпеть из-за моего слабоумного господина, которого я почитаю не столько за рыцаря, сколько за сумасброда.

— Вот потому-то и говорят, что от зависти глаза разбегаются, — заметил другой слуга. — Но коли уж речь зашла о сумасбродах, то большего сумасброда, чем мой господин, еще не видывал свет, — это про таких, как он, говорится: «Чужие заботы и осла погубят». Ведь для того, чтобы другой рыцарь образумился, он сам стал сумасшедшим и теперь разъезжает в поисках того, что при встрече может ему еще выйти боком.

— А он, часом, не влюблен?

— Влюблен, — отвечал другой слуга, — в какую-то Касильдею Вандальскую, такую крутую и непромешанную особу, каких свет не производил. Но только крутым нравом его не проймешь, и в недалеком будущем это обнаружится.

— На самой ровной дороге попадают бугорки да рытвины, — заметил Санчо, — у людей еще только варят бобы, а у меня их полны котлы; у сумасшествя, знать, больше спутников да прислужников, нежели у мудрости. Однако ж если недаром говорится, что легче на свете жить, когда у тебя есть товарищ по несчастью, значит, и мне ваша милость будет утешением: ведь ваш господин такой же глупец, как и мой.

— Глупец, да зато удалец, — возразил другой слуга, — и не так он глуп и удал, как хитер.

— А мой не таков, — объявил Санчо, — я хочу сказать, что у моего хитрости вот настолько нет, душа у него нараспашку, он никому не способен причинить зло, он делает только добро, коварства этого самого в нем ни на волос нет, всякий ребенок уверит его, что сейчас ночь, хотя бы это было в полдень, и вот за это простодушие я и люблю его больше жизни и, несмотря ни на какие его дурачества, при всем желании не могу от него уйти.

— Как бы то ни было, друг и государь мой, — сказал слуга рыцаря-песнопевца, — если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Лучше было бы нам — бодрым шагом в родные

края, а то ведь приключения не всегда бывают приятные.

Санчо ежеминутно сплевывал слюну, на вид липкую и довольно густую, и, заметив это, сострадательный оруженосец другого рыцаря молвил:

— По-моему, мы так много говорили, что у нас в горле пересохло, ну да у меня привязано к луке седла такое хорошее промачивающее средство — просто прелесть!

Сказавши это, он встал и не в долгом времени возвратился с большим бурдюком вина и пирогом длиною в пол-локтя, и это не преувеличение, ибо то был пирог с кроликом такой величины, что Санчо, дотронувшись до него и решив, что это даже не козленок, а целый козел, обратился к другому оруженосцу с вопросом:

— И вы эдакое возите с собой, сеньор?

— А вы что же думали? — отозвался тот. — Или, по-вашему, я уж такой захудалый оруженосишка? На крупе моего коня больше запасов довольствия, нежели у генерала, когда он отправляется в поход.

Не заставив себя долго упрашивать, Санчо принялся за еду и, второпях глотая куски величиною с мельничный жернов, сказал:

— Ваша милость — вот уж истинно верный и преданный оруженосец, всамделишный и взаправдашный, роскошный и богатый, как показывает этот пир, который вы задали чисто по волшебству, не то что я, оруженосец жалкий и незадачливый, у которого в переметных сумках только и есть, что немного сыру, такого твердого, что им ничего не стоит размозжить голову великану, да сверх того полсотни сладких стручков, да столько же лесных и грецких орехов. А все потому, что мой господин беден, и еще потому, что он держится того мнения и следует тому правилу, будто странствующим рыцарям надлежит подкрепляться одними лишь сухими плодами да полевыми травами.

— По чести, братец, — объявил другой слуга, — мой желудок не способен переваривать чертополох, дикие груши и древесные корни. Ну их ко всем чертям, наших господ, со всеми их мнениями и рыцарскими законами, пусть себе едят что хотят, — я везу с собой холодное мясо, а к луке седла у меня на всякий случай привязан вот этот бурдюк, и я его так люблю и боготворю — ну прямо минутки не могу пробыть, чтобы не обнять его и не прильнуть к нему устами.

Сказавши это, он сунул бурдюк в руки Санчо, и тот, накренив его и потягивая из горлышка, с четверть часа рассматривал звезды.

Долго еще два славных оруженосца беседовали и выпивали, пока наконец сон не связал им языки и не умерил их жажду, утолить же ее было немыслимо; так они и заснули, держась за почти пустой бурдюк, с недожеванными кусками пирога во рту, и теперь мы их на время оставим, чтобы рассказать, о чем говорили между собою Рыцарь Зеркал и Рыцарь Печального Образа.

ГЛАВА XIV,

в коей продолжается приключение с Рыцарем Зеркал

После долгой беседы с Дон Кихотом другой рыцарь обратился к нему с такими словами:

— А теперь, сеньор рыцарь, да будет вам известно, что не столько по велению судьбы, сколько по своей доброй воле меня угораздило влюбиться в несравненную Касильдею Вандальскую. Я именую ее несравненной потому, что никто не может с ней сравниться ни по величественности телосложения, ни по родовитости, ни по красоте. И вот эта Касильдея, о которой я держу речь, за все мои честные намерения и благородные чувства отплатила тем, что по примеру мачехи Геркулеса* повелела мне выдержать многоразличные испытания, и в конце каждого она давала мне слово, что в конце следующего наступит конец моим ожиданиям, а между тем мытарства мои нанизываются одно на другое, и нет им числа, и теперь уж я не знаю, какое из них будет последним и положит начало исполнению благих моих желаний. Однажды она приказала мне вызвать на поединок знаменитую севильскую великаншу Хиральду*, ражую и здоровенную, точно отлитую из меди, и, хотя она всегда на одном месте, самую изменчивую и непостоянную женщину в мире. Я пришел, увидел, победил* ее, велел стоять спокойно и не вертеться. Еще как-то приказала мне моя владычица взвесить древних каменных Быков Гисандо*, а ведь они такие тяжеленные, что это скорей подошло бы грузчикам, нежели рыцарям. Еще как-то приказала она мне низринуться и низвергнуться в пропасть Кабра*,— дело страшное и неслыханное,— а затем подробно доложить ей о том, что в мрачной той бездне таится. Я остановил вращение Хиральды, взвесил Быков Гисандо*, бросился в пропасть и исследовал таимое на ее дне, а надежды мои как не сбывались, так и не сбываются, приказы же ее и пренебрежение — это все своим чередом. Ведь вот уж совсем недавно приказала она мне объехать все испанские провинции и добиться признания от всех странствующих рыцарей, какие там только бродят, что красотою своею она превзошла всех женщин на свете, а что я — самый отважный и влюбленный рыцарь во всем подлунном мире, и по ее распоряжению я уже объехал почти всю Испанию и одолел многих рыцарей, осмелившихся мне перечить. Но больше всего я кичусь и величаюсь тем, что победил в единоборстве славного рыцаря Дон Кихота Ламанчского и заставил его признать, что моя Касильдея Вандальская прекраснее его Дульсинеи, и полагаю, что это равносильно победе над всеми рыцарями в мире, ибо их всех победил упомянутый мною Дон Кихот, а коль скоро я его победил, то его слава, честь и заслуги переходят ко мне и переносятся на мою особу, так что неисчислимые подвиги названного мною Дон Кихота теперь уже приписываются мне и становятся моими.

С изумлением внимал Дон Кихот речам другого рыцаря и не раз готов был сказать ему, что он лжет; слово «ложь» так и вертелось у него на языке, однако ж он, сколько мог, сдерживал себя, чтобы тот окончательно запутался в собственной лжи, и потому хладнокровно заметил:

— Что ваша милость, сеньор рыцарь, победила чуть ли не всех странствующих рыцарей Испании и даже всего мира — тут я ничего не могу сказать, но что вы победили Дон Кихота Ламанчского — это я ставлю под сомнение. Может статься, то был кто-нибудь другой, на него похожий, хотя, впрочем, мало кто на него походит.

— Как так другой? — вскричал рыцарь. — Клянусь небом, раскинувшимся над нами, что я схватился с Дон Кихотом, одолел его и принудил сдаться, и это человек высокого роста, долговязый и сухопарый, лицом худощавый, волосы у него с проседью, нос орлиный, с чуть заметной горбинкой, усы большие, черные, книзу опущенные. Воюет он под именем Рыцаря Печального Образа, а в оруженосцах у него состоит некий хлебопашец Санчо Панса, ездит и гарцует он на славном коне, именуемом Росинантом, и вот еще что: повелительницею его является некая Дульсинея Тобосская, прежде именовавшаяся Альдонсою Лоренсо, подобно тому как мою владычицу зовут на самом деле Касильдою и родом она из Андалусии, а я ее на этом основании величаю Касильдеей Вандальскою. Если же всех этих примет недостаточно, дабы вы уверились в моей правоте, то при мне мой меч, а он и само недоверие принудит уверовать.

— Успокойтесь, сеньор рыцарь, и выслушайте меня, — сказал Дон Кихот. — Надобно вам знать, что этот Дон Кихот, о котором вы говорите, — мой самый лучший друг, и у нас с ним такая тесная дружба, что мы как бы составляем одно целое, приметы же, которые вы мне сообщили, столь верны и бесспорны, что я не могу не признать, что вы победили именно его. С другой стороны, мое собственное зрение и осязание доказывают мне всю невозможность того, чтобы это был он, если только кто-нибудь из многочисленных враждебных ему волшебников (вернее всего, тот, кто постоянно его преследует) не принял его облика и не дал себя одолеть, дабы лишить его славы, которую он высокими своими рыцарскими подвигами во всех известных нам странах заслужил и стяжал. И для вящей убедительности я хочу еще довести до вашего сведения, что упомянутые волшебники, его недоброжелатели, дня два тому назад преобразили и обратили прекрасную Дульсинею Тобосскую в простую и грубую сельчанку, и, должно полагать, так же они изменили наружность и самого Дон Кихота. Если же всего этого не довольно, дабы вы удостоверились в правоте слов моих, то перед вами сам Дон Кихот, который свою правоту будет отстаивать с оружием в руках, то ли на коне, то ли спешившись, то ли как вам заблагорассудится.

Сказавши это, он встал и в ожидании, что предпримет другой

рыцарь, взялся за меч, а тот не менее спокойно обратился к нему с такими словами:

— Исправному плательщику залог не страшен. Кому однажды, сеньор Дон Кихот, удалось победить вас, превращенного, тот имеет основание надеяться одолеть вас в вашем настоящем виде. Однако ж рыцарям не подобает совершать ратные подвиги впотьмах, мы не разбойники и не лиходеи, подождем до рассвета, и да будет солнце свидетелем наших деяний. Условием же нашего поединка я ставлю следующее: побежденный сдается на милость победителя, и тот волен поступить с ним как угодно, с тем, однако же, чтобы повеления его не были для побежденного унижительны.

— Подобное условие и соглашение меня совершенно удовлетворяют,— объявил Дон Кихот.

Засим оба рыцаря направились к своим оруженосцам и заставили их похрапывающими в тех самых позах, в каких они были застигнуты сном. Рыцари их разбудили и велели снаряжать коней, ибо на восходе солнца между ними-де должно состояться кровопролитное, бесподобное и беспримерное единоборство, при котором известии Санчо обмер и оторопел, ибо от оруженосца другого рыцаря он много наслышался об удалстве рыцаря и теперь опасался за жизнь своего господина; как бы то ни было, оруженосцы, ни слова не говоря, направились к своему табуну — надобно заметить, что все три коня и осел успели обнюхать друг дружку и уже не расставались.

Дорогою оруженосец рыцаря-песнопевца сказал Санчо:

— Было бы вам известно, приятель, что у андалусских драчунов такой обычай: коли попал во свидетели, то не сиди сложа руки, покуда дерутся спорщики. Теперь, стало быть, вы предудеждены, что коли хозяева наши дерутся, то и нам надлежит биться так, чтобы клочья летели.

— Пускай себе, сеньор оруженосец, держатся этого обычая и соблюдают его подстрекатели и драчуны, а чтобы оруженосцы странствующих рыцарей — это уж дудки,— возразил Санчо.— Я, по крайности, не слыхал от моего господина о подобном обычае, а он все установления странствующего рыцарства назубок знает. И пусть даже это правда и в самом деле существует такое правило, чтобы оруженосцы дрались, когда дерутся их господа, я все равно не стану его исполнять, а лучше заплачу пеню, налагаемую на таких смиренных оруженосцев, каков я. Это мне наверняка станет дешевле корпии на лечение головы, а ведь я уверен, что в драке мне ее непременно разрубят и рассекут пополам. И еще потому не могу я драться, что у меня нет меча, да я его и в руки-то отродясь не брал.

— Это уладить легко,— молвил другой оруженосец,— у меня с собой два одинаковых полотняных мешка, вы возьмете один, я — другой, и мы на равных условиях станем друг друга охаживать мешками.

— Это пожалуйста,— сказал Санчо,— такая драка ранить нас не ранит, а пыль повыбьет.

— Нет, так не годится,— возразил другой оруженосец.— Что-бы ветер не унес мешков, нужно положить в них по полдюжине хорошеньких гладеньких голышей, по весу одинаковых, вот мы и начнем мешковать друг дружку без особого вреда и ущерба для обоих.

— Ах ты нелегкая его побери! — воскликнул Санчо.— Нечего сказать, хорошенькие собольи меха и волокна хлопка желает он наложить в мешки, чтоб не раскроить друг другу череп и чтоб из наших костей не получилось каши! Да хоть бы вы, государь мой, шелковичными коконами их набили, все равно, было бы вам известно, я не стану драться, пусть дерутся наши господа, ну их к богу, а мы будем жить-поживать да вино попивать, время и так постанется нас уморить, а нам самим не стоит хлопотать, чтоб век наш кончился до поры и до срока: созреем, тогда и упадем.

— И все же нам хоть с полчаса, а придется подраться,— возразил другой оруженосец.

— Никак нет,— отрезал Санчо,— я не такой невежа и не такой неблагодарный, чтоб затевать хотя бы легкую ссору с человеком, с которым мы вместе ели и пили. Тем более, он меня ничем не разгневывал и не обозлился, так какого же черта я ни с того ни с сего сунусь в драку?

— Я и это берусь уладить,— сказал другой оруженосец,— и вот каким образом: перед началом стычки я преспокойно подойду к вашей милости и дам вам две-три затрещины, так что вы полетите с ног, и этим я пробужу в душе вашей гнев, даже если вы сонливее сурка.

— Против этого выпада у меня найдется другой, несколько не хуже,— объявил Санчо.— Я схвачу дубину и, прежде нежели ваша милость начнет пробуждать мой гнев, так усыплю вас, что пробудится он разве на том свете, а на том свете, поди, известно, что наступать себе на ногу я никому не позволю. И всем нам нужно держать ухо востро, а главное, не будить чужой гнев, пусть он себе спит, потому чужая душа — потемки: пойдешь за шерстью — ан, глядь, самого обстригли, да ведь и господь благословил мир, а свары проклял. И то сказать: затравленный, загнанный, прижатый к стене кот превращается в льва, ну, а я-то человек, так я бог знает в кого могу превратиться, а потому я вас, сеньор оруженосец, предуведомляю: за весь вред и ущерб от нашей драки в ответе вы, и никто другой.

— Добро,— молвил другой оруженосец.— Утро вечера мудренее.

Между тем на деревьях уже защелкали хоры птичек радужного оперения; в своих многоголосых и веселых песнях они величали и приветствовали прохладную зарю, чей прекрасный лик уже показался на востоке и которая уже начала отряхивать со своих волос бесчисленное множество влажных перлов, и омытые приятною этою влагою травы были словно покрыты и осыпаны тончайшим белым бисером; ивы источали сладостную манну, смеялись родни-

ки, журчали ручьи, ликовали дубравы, и в самый дорогой свой наряд убрались луга на заре. Когда же рассвело и стало возможно видеть и различать предметы, то первым предметом, бросившимся в глаза Санчо Пансе, был нос оруженосца Рыцаря Зеркал, такой громадный, что казалось, будто он отбрасывает тень на все оруженосцево тело. В самом деле, нос был величины невероятной, с горбинкою посредине, усеянный бородавками, лиловый, как баклажан, и свисал ниже рта на целых два пальца, каковы величины, цвет, бородавки и кривизна до того оруженосца безобразили, что Санчо при виде вышеописанного носа заболтал руками и ногами, как ребенок, с которым случился родимчик, и дал себе слово получить лучше две сотни оплеух, нежели пробуждать гнев у такого страшилища, а потом с ним драться. Тем временем Дон Кихот устремил взор на своего противника, но тот уже надел шлем и опустил забрало, так что лица его нельзя было разглядеть; Дон Кихот, однако же, заметил, что это человек коренастый и не очень высокого роста. Поверх доспехов на нем был камзол, сотканный словно из нитей чистейшего золота и сплошь усыпанный сверкающими зеркальцами в виде крошечных лун, что придавало его наряду необычайную пышность и великолепие; на шлеме развевалось множество зеленых, желтых и белых перьев; его копье, прислоненное к дереву, было преогромное и толстое, с железным наконечником величиною в пядь.

Дон Кихот все это рассмотрел и заметил и из всего виденного и замеченного вывел заключение, что упомянутый рыцарь, верно, изрядный силач, однако это не привело его в ужас, как Санчо Пансу,— нет, он обратился к Рыцарю Зеркал с хладнокровною и смелою речью:

— Если боевой пыл не взял верх над вашею, сеньор рыцарь, учтивостью, то я взываю к ней и прошу вас поднять немного забрало, дабы я уверился, что мужественность лица вашего соответствует мужественности вашего телосложения.

— Выйдете ли вы, сеньор рыцарь, из этого испытания победителем или же будете побеждены,— возразил Рыцарь Зеркал,— у вас еще будет досуг и время меня разглядеть, а сейчас я не могу исполнить ваше желание единственно потому, что, думается мне, я нанесу явную обиду прекрасной Касильдее Вандальской, если буду тратить время на то, чтобы поднимать забрало, меж тем как мне надлежит вынудить у вас то признание, коего, как вам известно, я от вас добиваюсь.

— Как бы то ни было,— возразил Дон Кихот,— пока мы будем садиться на коней, вы успеете мне сказать, подлинно ли я тот самый Дон Кихот, которого вы будто бы победили.

— На каковой ваш запрос отвечаем,— молвил Рыцарь Зеркал,— что вы как две капли воды похожи на побежденного мною рыцаря, но вы же сами говорите, что волшебники строят ему козни, а потому я не осмеливаюсь утверждать положительно, являетесь ли вы данным подследственным лицом или нет.

— Теперь для меня совершенно ясно, что вы заблуждаетесь,— заметил Дон Кихот,— однако ж, дабы вы разуверились совершенно, пусть подадут нам коней,— с помощью господа бога, моей госпожи и собственной моей длани я увижу ваше лицо скорее, чем если бы вы стали поднимать забрало, вы же увидите, что я не тот побежденный Дон Кихот, за которого вы меня принимаете.

Тут, прервав разговор, сели они на коней, и Дон Кихот поворотил Росинанта, чтобы сначала разогнать его, а затем ринуться на своего неприятеля, и так же точно поступил Рыцарь Зеркал. Но не успел Дон Кихот отъехать и на двадцать шагов, как Рыцарь Зеркал, также на полпути, остановился и крикнул ему:

— Помните же, сеньор рыцарь, что по условию нашего поединка побежденный, еще раз повторяю, сдается на милость победителя.

— Я знаю,— отозвался Дон Кихот,— с тою, однако же, оговоркою, что побежденному не будет предъявлено требований и дано приказаний, находящихся в противоречии с рыцарским уставом.

— Само собою разумеется,— молвил Рыцарь Зеркал.

Тут Дон Кихот обратил внимание на из ряда вон выходящий нос оруженосца и не менее Санчо ему подивился, настолько, что даже почел этого оруженосца за некое чудовище, за человека другой породы, доселе не встречавшейся на земле. Санчо, видя, что его господин намеревается взять разбег, не пожелал остаться наедине с носатым: он боялся, что если тот хоть раз щелкнет его своим носом по носу, то этим все их сражение и кончится, ибо от силы удара, а то и со страху он непременно растянется,— поэтому-то, ухватившись за Росинантово стремя, он двинулся следом за своим господином; когда же, по его соображениям, настала пора поворотить обратно, он сказал:

— Будьте так добры, государь мой, пока вы еще с неприятелем не схватились, подсобите мне влезть на этот дуб — там мне будет удобнее, нежели на земле, наблюдать за той жаркой схваткой, которая сейчас начнется между вашей милостью и вон тем рыцарем.

— По-моему, Санчо,— возразил Дон Кихот,— ты просто хочешь подняться и взобраться на подмости, чтобы смотреть на бой быков, находясь в полной безопасности.

— Сказать по правде,— признался Санчо,— меня ошеломил и устрасил громадный нос этого оруженосца, и я боюсь с ним оставаться.

— Нос у него в самом деле таков, что, будь я другим человеком, он бы и меня привел в трепет,— сказал Дон Кихот.— Ну что ж, полезай, я тебя подсажу.

Пока Дон Кихот возился, помогая Санчо взгромоздиться на дуб, Рыцарь Зеркал взял какой ему хотелось разбег и, полагая, что Дон Кихот успел сделать то же самое, и не дожидаясь ни звука трубы, ни какого-либо другого знака, поворотил своего коня, столь

же знатного и ретивого, как Росинант, и во всю его прыть, то есть мелкой рысцой, двинулся на сближение с неприятелем; видя, однако ж, что Дон Кихот замешкался с подсаживанием Санчо, Рыцарь Зеркал натянул поводья и на полпути остановился, за что конь был ему весьма признателен, ибо он уже выдохся. Дон Кихоту меж тем почудилось, будто неприятель уже на него налетает,— он с силою вонзил шпоры в тощие бока Росинанта, так его этим расшевелив, что Росинант впервые перешел на крупную рысь (а то ведь обыкновенно он только трусил рысцой) и с невиданною быстротою помчал своего седока прямо на Рыцаря Зеркал. Рыцарь же в это время всаживал своему коню шпоры по самый каблук, но конь и на палец не сдвинулся с того места, где его бег был остановлен. При таких-то благоприятных обстоятельствах и до такой степени вовремя напал Дон Кихот на своего противника, возившегося с конем и то ли не сумевшего, то ли не успевшего взять копьё наперевес. Не обращая внимания на эти его затруднения, Дон Кихот без малейшего для себя риска и вполне безнаказанно так хватил Рыцаря Зеркал, что тому волей-неволей пришлось скатиться по крупу коня на землю, и до того лихо он при этом шлепнулся, что, словно мертвый, не мог пошевелить ни рукой, ни ногой.

Как увидел Санчо, что рыцарь сверзился, так сейчас же спустился с дуба и с великим проворством направился к своему господину, тот же, спешившись, поспешил к Рыцарю Зеркал и, развязав ему ленты от шлема, чтобы удостовериться, жив он или мертв, и чтобы ему легче было дышать в случае, если жив, увидел... Но как сказать, кого он увидел, не приведя при этом в изумление, не поразив и не ужаснув читателей? Он увидел лицо, облик, наружность, черты, образ и обличье бакалавра Самсона Карраско, и как скоро увидел, то возопил громким голосом:

— Сюда, Санчо! Сейчас ты должен будешь увидеть то, чему ты не должен верить! Торопись же, сын мой, и удостоверься, на что способно волшебство, на что способны колдуны и чародеи!

Санчо приблизился и, увидев лицо бакалавра Карраско, начал усердно креститься и не менее усердно призывать имя господне. Все это время потерпевший рыцарь не подавал признаков жизни, а потому Санчо сказал Дон Кихоту:

— По мне, государь мой, вашей милости на всякий случай следовало бы вогнать и всунуть меч в пасть вот этого, который прикинулся бакалавром Самсоном Карраско: может статься, вы таким образом прикончите одного из враждебных вам чародеев.

— Ты дело говоришь,— заметил Дон Кихот,— чем меньше врагов, тем лучше.

И он уж обнажил меч, чтобы последовать совету и наставлению Санчо, но тут к нему подскочил оруженосец Рыцаря Зеркал, уже без этого безобразного носа, и громко воскликнул:

— Подумайте, сеньор Дон Кихот, что вы делаете! Ведь у ваших ног бакалавр Самсон Карраско, ваш приятель, а я его оруженосец.

Санчо, видя, что он не такой урод, как прежде, спросил:

— А где же нос?

На что тот ответил:

— Он у меня здесь, в кармане.

С этими словами он сунул руку в правый карман и вытащил поддельный, из лакированного картона, нос вышеописанного образца. Санчо долго к оруженосцу приглядывался и наконец громко и с изумлением воскликнул:

— Пресвятая богородица, спаси нас! Да ведь это же Томе Сесьяль, сосед мой и кум!

— А кто же еще! — подхватил обезносевший оруженосец. — Да, я Томе Сесьяль, друг мой и кум Санчо Панса, и я тебе потом расскажу про все пакости, плутни и каверзы, из-за которых я здесь очутился. А сейчас проси и умоляй своего господина, чтобы он не трогал, не обижал, не ранил и не убивал Рыцаря Зеркал, что лежит у его ног, — вне всякого сомнения, это дерзкий и легкомысленный бакалавр Самсон Карраско, наш односельчанин.

Тем временем Рыцарь Зеркал пришел в себя; тогда Дон Кихот приставил к его лицу острие обнаженного меча и сказал:

— Смерть вам, рыцарь, если вы не признаете, что несравненная Дульсинея Тобосская выше по красоте вашей Касильдеи Вандальской, а кроме того, вы должны мне обещать (если только после этой сшибки и падения вы останетесь живы), что отправитесь в город Тобосо, явитесь к Дульсинее и скажете, что вы от меня, а уж как она с вами поступит, на то ее полная воля; если же она полную волю предоставит вам, то вам все же придется меня разыскать (вожатаем послужит вам след от моих деяний, и он приведет вас к месту моего пребывания) и поведать, о чем вы с нею беседовали; таковы мои условия, и они находятся в согласии с нашим уговором пред битвою и не противоречат уставу странствующего рыцарства.

— Признаю, — сказал поверженный рыцарь, — что всклокоченные, хотя и чистые волосы Касильдеи не стоят рваных и грязных башмаков сеньоры Дульсинеи Тобосской, и обещаю съездить к ней, вернуться от нее к вам и дать самый полный подробный отчет, какого только вы от меня потребуете.

— Еще вам надлежит признать и поверить, — примолвил Дон Кихот, — что тот рыцарь, которого вы одолели, не был и не мог быть Дон Кихотом Ламанчским, что это был кто-то другой, на него похожий, я же признаю и верю, что хотя вы и похожи на бакалавра Самсона Карраско, однако ж вы не он, а кто-то другой, на него похожий, и что недруги мои придали вам его обличье, дабы я сдержал и усмирил порыв ярости, меня охватившей, и дабы я с кротостью пожинал плоды победы.

— Все это я признаю, принимаю в рассуждение и сознаю, равно как и вы этому верите, принимаете это в рассуждение и признаете, — отвечал вышибленный из седла рыцарь. — А теперь будьте любезны, позвольте мне встать — впрочем, не знаю, смогу ли: я основательно расшибся, когда падал.

Дон Кихот и оруженосец Томе Сесьяль стали поднимать его, а Санчо глаз не сводил со своего земляка и забрасывал его вопросами, из ответов на которые явствовало, что это и точно Томе Сесьяль; однако же слова Дон Кихота о том, что волшебники заменили облик Рыцаря Зеркал обликом бакалавра Карраско, запали в душу Санчо, и он не решался признать за истину то, в чем его убеждало его же собственное зрение. В конце концов господин и его слуга так и не разубедились, а Рыцарь Зеркал и его оруженосец, недовольные и понурые, расстались с Дон Кихотом и Санчо и отправились искать место, где бы можно было вправить и перевязать ребра потерпевшему рыцарю. Дон Кихот и Санчо снова двинулись в путь, и тут мы их и оставим, чтобы сообщить, кто такие Рыцарь Зеркал и носовитейший его оруженосец.

ГЛАВА XV,

*в коей рассказывается и сообщается о том,
кто такие были Рыцарь Зеркал и его оруженосец*

Дон Кихот был чрезвычайно доволен, горд и упоен своею победою над столь отважным рыцарем, каким ему представлялся Рыцарь Зеркал, и, поверив его честному рыцарскому слову, он надеялся узнать от него в точности, все ли еще заворожена сеньора Дульсинья, ибо такой побежденный рыцарь, по мнению Дон Кихота, не мог не довести до его сведения, как он с нею встретится, иначе это не был бы рыцарь. Но так думал Дон Кихот, да не так думал Рыцарь Зеркал, — как уже было сказано, все помыслы его были теперь устремлены к тому, где бы полечиться. Надобно заметить, что бакалавр Самсон Карраско, прежде чем подвинуть Дон Кихота возобновить прерванные его рыцарские похождения, совещался со священником и цирюльником по поводу того, какие надлежит принять меры, чтобы Дон Кихот тихо и спокойно сидел дома и чтобы злополучные поиски приключений более его не соблазняли; на этом совещании было единодушно решено, и, в частности, таково было мнение самого Карраско, что Дон Кихота должно отпустить, ибо удержать его все равно невозможно, а что Самсон под видом странствующего рыцаря его нагонит, завяжет с ним бой, повод для которого всегда найдется, и одержит над ним победу (каковая победа представлялась участникам совещания делом нетрудным); между бойцами же должен, мол, существовать предварительный уговор и соглашение, по которому побежденный обязан сдать на милость победителя, и вот на этом основании переодетый рыцарем бакалавр велит побежденному Дон Кихоту возвратиться в родное село и в родной дом и никуда не выезжать в течение двух лет или же впредь до особого его распоряжения, причем все, кто держал совет, были совершенно уверены, что Дон Кихот не преминет исполнить это повеление, дабы не идти против законов рыцарства и не нарушать их, и может статься, что в заточении он, дескать, позабудет свои сумасбродства или

же сыщется какое-либо подходящее средство от его безумия.

Карраско все это одобрил, а в оруженосцы к нему напросился Томе Сесьяль, кум и сосед Санчо Пансы, весельчак и пустельга. Выше было сказано, как снаряжился Самсон, а Томе Сесьяль приладил к натуральному своему носу уже упоминавшийся искусственный и поддельный, чтобы его не узнал куманек, когда они встретятся, и поехали Карраско с Сесьялем по той же самой дороге, что и Дон Кихот, совсем было нагнали его во время приключения с колесницею Смерти и в конце концов столкнулись с ним в лесу, где и произошло между ними все то, о чем внимательному читателю уже известно. Томе Сесьяль, видя, сколь неудачным оказалось их предприятие и сколь мрачен конец их пути, обратился к бакалавру с такими словами:

— Сказать по совести, сеньор Самсон Карраско, так нам и надо: не хитро что-нибудь затеять и исполнить, да чаще всего трудненько бывает ноги унести. Дон Кихот — сумасшедший, мы с вами здоровы; он себе целехонек, да еще и посмеивается, а вы вон какой, ваша милость: избитый и унылый. Теперь давайте подумаем, кто более помешан: тот, который другим и быть не может, либо безумец по собственному желанию.

На это ему Самсон ответил так:

— Разница между этими двумя сумасшедшими заключается в том, что безумец поневоле безумцем и останется, безумец же добровольный в любое время может превратиться в человека здорового.

— Коли так, — подхватил Томе Сесьяль, — то я добровольно свихнулся, когда пожелал пойти к вашей милости в оруженосцы, а теперь я, так же добровольно, желаю образумиться и вернуться домой.

— Это твое дело, — заметил Самсон, — а я, пока не отлуплю Дон Кихота, ни под каким видом домой не вернусь, и теперь я стану его преследовать не с целью привести в разум, но единственно в целях мести, ибо сильная боль в ребрах принуждает меня отказать от более человеколюбивых намерений.

Продолжая такой разговор, достигли они одного селения, и тут им посчастливилось найти костоправа, который и оказал злощастному Самсону помощь. Томе Сесьяль покинул его и возвратился домой, Самсон же, оставшись один, принялся обдумывать план мести, и в свое время история наша к нему еще вернется, а теперь ей хочется разделить с Дон Кихотом его радость.

ГЛАВА XVI,

*из коей явствует, каких вершин и пределов могло достигнуть
и достигло неслыханное мужество Дон Кихота,
и в коей речь идет о приключении со львами,
которое Дон Кихоту удалось счастливо завершить*

Радостный, счастливый и гордый, как уже было сказано, продолжал Дон Кихот свой путь; ему представлялось, что одер-

жанная победа возвела его на степень наиотважнейшего рыцаря своего времени; он считал все приключения, какие только могут ожидать его в будущем, уже завершенными и до победного конца доведенными; он уже презирал и колдунов и самое колдовство; он уже позабыл и о бесчисленных побоях, которые за время рыцарских его походов довелось ему принять, и о камне, выбившем ему половину зубов, и о неблагодарности каторжников, и о той дерзости, с какою янгусцы охаживали его дубинами; словом, он говорил себе, что придумай он только уловку, прием или же способ, чтобы расколдовать сеньору Дульсинею, и он уже не стал бы завидовать величайшей удаче, какая когда-либо выпадала на долю наиудачливейшего странствующего рыцаря времен протекших. Он все еще был занят этими мыслями, когда Санчо сказал ему:

— Как вам это нравится, сеньор? У меня так и стоит перед глазами здоровенный, непомерный нос моего кума Томе Сесьяля.

— Неужели ты и правда думаешь, Санчо, что Рыцарь Зеркал — это бакалавр Карраско, а его оруженосец — твой кум Томе Сесьяль?

— Не знаю, что вам на это ответить, — молвил Санчо, — знаю только, что никто, кроме этого оруженосца, не мог бы сообщить мне такие верные приметы моего дома, жены и детей, лицо же у него без поддельного носа совсем как у Томе Сесьяля, а с Томе Сесьялем я, когда жил в деревне, виделся часто, да и дома наши бок о бок, опять же и говорит он точь-в-точь как Томе Сесьяль.

— Давай рассудим хорошенько, Санчо, — сказал Дон Кихот. — Послушай: ну с какой стати бакалавру Самсону Карраско переодеваться странствующим рыцарем, брать с собой оружие и доспехи и вызывать меня на бой? Разве я его враг? Разве я чем-либо навлек на себя его гнев? Разве я его соперник? Разве он вступил на военное поприще и завидует той славе, которую я на этом поприще стяжал?

— А что вы скажете, сеньор, о разительном сходстве этого рыцаря, кто бы он ни был, с бакалавром Карраско, а его оруженосца — с моим кумом Томе Сесьялем? — возразил Санчо. — И если это, по-вашему, волшебство, то почему же волшебники захотели быть похожими именно на эту парочку?

— Все это происки и уловки преследующих меня коварных чародеев, — отвечал Дон Кихот. — В предвидении того, что мне суждено одержать в этой схватке победу, они подстроили так, что победенный рыцарь сделался похож на моего друга бакалавра, дабы дружеская моя привязанность к нему, встав между острием моего меча и неумолимостью длани моей, умерила правый гнев моего сердца, — им надобно было спасти жизнь тому, кто хитростью и обманом пытался отнять жизнь у меня. И ты, Санчо, в доказательствах не нуждаешься, — ты сам знаешь по опыту, а опыт никогда не лжет и не обманывает, что волшебникам ничего

не стоит заменить один облик другим: прекрасный — уродливым, а уродливый — прекрасным. Два дня тому назад ты своими глазами созерцал красоту и статность несравненной Дульсины во всей ее целостности и в полном соответствии истинному ее облику, я же видел пред собой уродливую, грубую, простую сельчанку с тусклыми гляделками и с дурным запахом изо рта, и если порочный волшебник отважился на столь гнусное превращение, то не удивительно, что он же превратил рыцаря в Самсона Карраско, а его оруженосца — в твоего кума, дабы лишить меня чести победителя. Но, как бы то ни было, я утешен, оттого что, несмотря на его обличье, победа все же осталась за мной.

— Один бог знает, где тут правда,— заметил Санчо.

А так как Санчо было известно, что превращение Дульсины состоялось благодаря его собственным плутням и проделкам, то и не мог он быть удовлетворен домыслами своего господина, однако ж возражать не стал, чтобы не проболтаться и самому не раскрыть свой обман.

Немного погодя Санчо свернул с дороги, чтобы попросить молока у пастухов, доивших неподалеку овец, а Дон Кихот между тем поднял голову и увидел, что навстречу едет повозка, расцвеченная королевскими флагами, и, решив, что это, уж верно, какое-нибудь новое приключение, он громко стал кричать Санчо, чтобы тот подал ему шлем. Санчо как раз в это время покупал у пастухов творог; настойчивый зов господина сбил его с толку, и он не знал, что с этим творогом делать и в чем его везти; расстаться с ним было жалко, ибо деньги за него были уже уплачены, и по сему обстоятельству порешил он сунуть его в шлем своего господина; с этими-то славными дарами направился он к Дон Кихоту, дабы узнать, что ему требуется, а тот при его приближении молвил:

— Друг мой! Поддай мне шлем. Или я мало смыслю в приключениях, или же то, что там виднеется, представляет собою такое приключение, которое должно принудить меня, и уже принуждает, взяться за оружие.

Санчо не успел вынуть из шлема творог и оттого подал его как есть. Дон Кихот взял шлем и, не посмотрев, есть ли что внутри, с великим проворством надел его на голову; а так как творог слежался и отжался, то по всему лицу и бороде Дон Кихота потекла сыворотка, каковое обстоятельство привело Дон Кихота в ужас, и он сказал Санчо:

— Что бы это значило, Санчо? Не то у меня размягчился череп, не то растопился мозг, не то я весь взмокнул от пота. Но если я и впрямь вспотел, то, уж конечно, не от страха, хотя я и не сомневаюсь, что приключение, ожидающее меня, ужасно. Дай мне чем-нибудь отереться — пот настолько обилен, что я ничего не вижу.

Санчо подал ему платок, мысленно воздавая богу хвалу за то, что его господин не понял, в чем дело. Дон Кихот вытерся и снял шлем, чтобы посмотреть, отчего это стало холодно голове, а как

скоро увидел внутри шлема белую кашицу, то поднес ее к носу и, понюхав, сказал:

— Клянусь жизнью сеньоры Дульсинеи Тобосской, ты, предатель, мошенник и неучтивый оруженосец, положил мне сюда творог.

На это Санчо, напустив на себя совершенное равнодушие, ответил так:

— Коли это творог, так дайте его мне, ваша милость, я его съем... Да нет, пускай его черт съест — ведь это он, знать, сунул его в шлем. Да разве я осмелюсь запачкать шлем вашей милости? Нашли какого смельчака! По чести вам скажу, сеньор: я своим худым умишком, какой мне от бога дан, смеаю так, что у меня тоже, видно, есть эти самые волшебники, и они меня преследуют, потому как я есть ваше произведение и плоть от вашей плоти, и сунули они туда эту пакость, чтобы вывести вас из терпения и заставить пересчитать мне, как это за вами водится, ребра. Однако ж на сей раз они, честное слово, промахнулись: я полагаюсь на здравый смысл моего господина, — мой господин возьмет в толк, что нет у меня ни творогу, ни молока, ничего похожего, а если б у меня что-нибудь такое и было, то я скорее нашел бы ему место в своем собственном желудке, чем в вашем шлеме.

— И то правда, — заметил Дон Кихот.

Тут он вытер голову, лицо и бороду, вытер шлем и надел его, вытянулся на стременах и, осмотрев меч и взяв в руки копье, молвил:

— А теперь будь что будет — у меня достанет мужества схватиться с самим сатаной.

Тем временем повозка с флажками подъехала ближе, и тут оказалось, что, кроме погонщика верхом на одном из мулов и еще одного человека на передке повозки, никто больше ее не сопровождал. Дон Кихот выехал вперед и молвил:

— Куда, братцы, путь держите? Что это за повозка, что вы в ней везете и что это за стяги?

Погонщик же ему на это ответил так:

— Повозка — моя, а везу я клетку с двумя свирепыми львами, которых губернатор Оранский отсылает ко двору в подарок его величеству, флаги же — государя нашего короля в знак того, что везем мы его достояние.

— А как велики эти львы? — осведомился Дон Кихот.

— Столь велики, — отвечал человек, сидевший на передке, — что крупнее их или даже таких, как они, еще ни разу из Африки в Испанию не привозили. Я львиный сторож, много львов перевез на своем веку, но таких, как эти, еще не приходилось. Это лев и львица — лев в передней клетке, а львица в задней, и сейчас они голодные, потому с утра еще ничего не ели, так что, ваша милость, уж вы нас пропустите, нам надобно поскорее добраться до какого-нибудь селения и покормить их.

Дон Кихот же, чуть заметно усмехнувшись, ему на это сказал:

— Львят — против меня? Ну так эти сеньоры, пославшие их сюда, вот как перед богом говорю, сейчас увидят, такой ли я человек, чтобы устрашиться львов! Слезай с повозки, добрый человек, и если ты сторож, то открой клетки и выпусти зверей, — назло и наперекор тем волшебникам, которые их на меня натравили, я сейчас покажу, кто таков Дон Кихот Ламанчский.

Возница, видя, что это вооруженное пугало преисполнено решимости, молвил:

— Государь мой! Будьте настолько любезны, сжальтесь вы надо мной и велите выпустить львов не прежде, чем я распрягу мулов и отведу их в безопасное место, а то если львы их растерзают, то мне тогда всю жизнь придется терзаться: ведь мулы и повозка — это все мое достояние.

— О малонер! — вскричал Дон Кихот. — Слезай, распрягай мулов — словом, поступай как знаешь; сейчас ты увидишь, что напрасно хлопчешь и что все старания твои ни к чему.

Возница спешил и, нимало не медля, распряг мулов, а сторож между тем заговорил громким голосом:

— Призываю во свидетели всех здесь присутствующих, что я против воли и по принуждению открываю клетки и выпускаю львов и объявляю этому сеньору, что за весь вред и ущерб от этих зверей отвечает он, и он же возместит мне мое жалованье и то, что я имею сверх жалованья. Вы, сеньоры, спасайтесь бегством, прежде нежели я открою, а насчет себя я уверен, что звери меня не тронут.

Тут Санчо со слезами на глазах взмолился к Дон Кихоту, чтобы он отказался от этого предприятия, в сравнении с коим приключение с ветряными мельницами и ужасающее приключение с сукновальнями, а равно и все подвиги, которые он на своем веку совершил, это, дескать, только цветочки.

— Поймите, сеньор, — говорил Санчо, — тут нет колдовства, ничего похожего тут нет, сквозь решетку я разглядел коготь всамделишного льва и заключил, что ежели у этого льва такой коготь, то сам лев, уж верно, больше горы.

— Со страху он тебе и с полмира мог показаться, — возразил Дон Кихот. — Удались, Санчо, и оставь меня. Если же я погибну, то ведь тебе известен прежний наш уговор: поспеши к Дульсине, все прочее делается само собой.

К этому Дон Кихот прибавил много такого, что отняло у окружающих всякую надежду отговорить его от столь нелепой затеи. Санчо пришпорил своего серого, возница — своих мулов, и оба старались как можно дальше отъехать от повозки, прежде чем львы выйдут из заточения. Санчо заранее оплакивал гибель своего господина, ибо на сей раз нимало не сомневался, что быть ему в когтях львиных; он проклинал свою судьбу и тот час, когда ему вспало на ум снова поступить на службу к Дон Кихоту; впрочем, жалобы и слезы не мешали ему нахлестывать серого, чтобы он быстрее удалялся от повозки. Когда же сторож наконец уверился,

что беглецы далеко, он начал молить и заклинять Дон Кихота, но Дон Кихот ему сказал, что пусть, дескать, сторож не утруждает себя просьбами и закликаниями, ибо все это напрасно, а пусть лучше, мол, поторопится. Пока сторож возился с первой клеткой, Дон Кихот обдумывал, как благоразумнее вести сражение — пешим или же на коне, и, поразмыслив, решил, что пешим, ибо львы могли испугать Росинанта. Он соскочил с коня, бросил копьё, схватил щит, обнажил меч и, исполненный изумительной отваги и бесстрашия, важною поступью двинулся прямо к повозке, всецело поручая себя сначала богу, а потом госпоже своей Дульсинее.

Едва сторож увидел, что Дон Кихот уже наготове и что из боязни навлечь на себя гнев вспыльчивого и дерзкого кавальеро ему не миновать выпустить льва, он настежь распахнул дверцу первой клетки, где, повторяем, находился лев величины, как оказалось, непомерной — чудовищный и страховидный лев. Прежде всего лев повернулся в своей клетке, выставил лапы и потянулся всем телом, засим разинул пасть, сладко зевнул и языком почти в две пяди длиною протер себе глаза и облизал морду; после этого он высунулся из клетки и горящими, как угли, глазами повел во все стороны; при этом вид его и движения могли бы, кажется, навести страх на самое смелость. Дон Кихот, однако, смотрел на него в упор — он с нетерпением ждал, когда же наконец лев спрыгнет с повозки и вступит с ним в рукопашную, а он изрубит льва на куски.

Вот до какой крайности дошло его доселе не виданное безумие. Однако благородный лев, не столь дерзновенный, сколь учтивый, оглядевшись, как уже было сказано, по сторонам и не обращая внимания на Донкихотово ребячество и молодечество, повернулся и, показав Дон Кихоту зад, прехладнокровно и не торопясь снова вытянулся в клетке; тогда Дон Кихот велел сторожу ударить его, чтобы разозлить и выгнать из клетки.

— Этого я делать не стану, — возразил сторож, — ведь коли я его раздражу, так он первым делом разорвет в клочки меня. Пусть ваша милость, сеньор кавальеро, удовольствуется уже сделанным, ибо по части храбрости лучшего и желать невозможно, испытывать же судьбу дважды не годится. В клетке у льва дверца отворена: он волен выходить или не выходить, но ежели он до сей поры не вышел, стало быть, и до вечера не выйдет. Твердость духа вашей милости уже доказана, — от самого храброго бойца, сколько я понимаю, требуется лишь вызвать недруга на поединок и ожидать его на поле брани, если же неприятель не явился, то позор на нем, а победный венок достается ожидавшему.

— И то правда, — молвил Дон Кихот, — закрой, приятель, дверцу и в наилучшей форме засвидетельствуй всё, что здесь на твоих глазах произошло, а именно: как ты открыл льву, как я его ждал, а он не вышел, как я его снова стал ждать, а он опять не вышел и снова улегся. Мой долг исполнен, прочь колдовские чары, и да поможет господь разуму, истине и истинному рыцарству, ты же



закрой, повторяю, клетку, а я тем временем знаками подзову бежавших и отсутствовавших, дабы они услышали из твоих уст о моем подвиге.

Сторож так и сделал, а Дон Кихот, нацепив на острие копыя платок, коим он вытирал лицо после творожного дождя, стал звать беглецов, которые все еще мчались и поминутно оборачивались; как же скоро Санчо увидел, что Дон Кихот машет белым платком, то сказал:

— Убейте меня, если мой господин не одолел этих диких зверей,— ведь он нас кличет!

Беглецы остановились и уверились, что делал знаки не кто иной, как сам Дон Кихот; это их несколько ободрило, они осторожно двинулись обратно, и вскоре до них уже явственно донеслись крики Дон Кихота, который их звал. В конце концов они приблизились к повозке, и тогда Дон Кихот сказал вознице:

— Запрягай, братец, своих мулов и трогайся в путь, а ты, Санчо, выдай ему два золотых, один — для него, другой — для сторожа, за то, что я у них отнял время.

— Выдать-то я им с великим удовольствием выдам, — сказал Санчо, — но, однако же, что случилось со львами? Живы они или мертвы?

Тут сторож обстоятельно и с расстановкою принялся рассказывать об исходе схватки, преувеличивая, как мог и умел, доблесть Дон Кихота, при одном виде которого лев якобы струхнул и не пожелал и не посмел выйти из клетки, хотя дверца долгое время оставалась открытою; и только после того, как он, сторож, сказал этому кавальеро, что дразнить льва и силком гнать из клетки значит испытывать долготерпение божие, а кавальеро, дескать, именно добивался, чтобы льва раздражили, он неохотно и скрепя сердце позволил запереть клетку.

— Что ты на это скажешь, Санчо? — спросил Дон Кихот. — Какое чародейство устоит против истинной отваги? Чародеи вольны обречь меня на неудачи, но сломить мое упорство и мужество они не властны.

Санчо выдал деньги, возница запряг мулов, а сторож поцеловал Дон Кихоту руки за оказанное благодеяние и пообещал рассказать о славном этом подвиге королю, когда приедет в столицу.

— Буде же его величество спросит, кто этот подвиг совершил, скажите, что — *Рыцарь Львов*, ибо я хочу, чтобы прежнее мое прозвание, *Рыцарь Печального Образа*, изменили, переменили, заменили и сменили на это, и тут я следую старинному обычаю странствующих рыцарей, которые меняли имена, когда им этого хотелось или же когда это напрашивалось само собой.

Повозка двинулась своею дорогою, а Дон Кихот и Санчо — своею.

ГЛАВА XVII,

*в коей рассказывается
о приключении с влюбленным пастухом*

Дон Кихот не так еще далеко отъехал, когда ему повстречались двое то ли духовных лиц, сколько можно было судить по одежде, то ли студентов*, а с ними два поселянина; все четверо ехали верхами на животных ослиной породы. Один из студентов вез, как можно было заметить, что-то белое, суконное, завернутое вместе с двумя парами шерстяных чулок в зеленое полотно, замечавшее ему дорожный мешок; другой студент не вез ничего, кроме

двух новеньких учебных рапир с кожаными наконечниками. Поселяне же везли с собой другие предметы, которые ясно показывали, что их обладатели едут из какого-нибудь большого села: там они все это купили, а теперь возвращаются к себе домой. И вот эти самые студенты, а равно и поселяне подивились Дон Кихоту так же точно, как дивились все, кто впервые с ним сталкивался, и всем им страх как захотелось узнать, что это за человек, столь не похожий на людей обыкновенных. Дон Кихот с ними раскланялся и, узнав, что едут они туда же, куда и он, предложил ехать вместе и попросил придержать ослиц, ибо конь его не мог за ними поспеть; при этом он из любезности объяснил им в кратких словах, кто он таков, каково его призвание и род занятий — что он, дескать, странствующий рыцарь, ищущий приключений во всех частях света. Еще он им сказал, что настоящее его имя Дон Кихот Ламанчский, по прозвищу же он *Рыцарь Львов*. Для поселян это было все равно, как если бы с ними говорили на языке греческом или же тарабарском, но не для студентов, ибо они живо смекнули, что у Дон Кихота зашел ум за разум; однако ж, со всем тем, они смотрели на него с почтительным удивлением, и один из них ему сказал:

— Если ваша милость, сеньор рыцарь, по обычаю искателей приключений, не имеет определенного места назначения, то едемте, ваша милость, с нами: вы увидите такую веселую и такую пышную свадьбу, какой ни в Ламанче, ни во всей округе нашей никогда еще не справляли.

Дон Кихот осведомился, не свадьба ли это какого-нибудь владетельного князя, коль скоро студент так ее превозносит.

— Нет, не князя, — отвечал студент, — а поселянина и поселянки, первого богача во всем нашем околотке и красавицы, доселе невиданной. Приготовления к свадьбе делаются необычайные и беспримерные: дело состоит в том, что свадьбу хотят играть на лугу возле невестиною села; невесту, кстати сказать, величают Китерией Прекрасной, а жениха — Камачо Богатым. Ей восемнадцать лет, ему — двадцать два. Пара они отличная, хотя, впрочем, всезнайки, которые любую родословную знают назубок, уверяют, что прекрасная Китерия происходит из лучшей семьи, чем Камачо, но это неважно: богатство любой изъязн прикроет. И точно, Камачо тороват: ему пришлось на ум завесить всю лужайку шатром из ветвей, так чтобы солнцу нелегко было добраться до муравы. Еще у него приготовлены танцы со шпагами, а также с бубенчиками; среди его односельчан есть лихие танцоры, которые великолепно умеют звенеть и потрясать ими, а о таких, которые похлопывают себя по подметкам, и говорить нечего — их у него, как слышно, набрана несметная сила. Однако ж останется в памяти эта свадьба не из-за того, о чем я вам рассказал, и не из-за многого другого, о чем я не упомянул, а, по моему разумению, из-за того, как будет себя вести убитый горем Басильо. Басильо — это пастух из того же села, что и Китерия, его дом — стенка в стенку с домом ее родителей. Басильо с малых лет, с самого нежного возраста, испы-

тивал к Китерии сердечное влечение, она же дарила его целомудренною благосклонностью, так что во всем селе только и разговору было, что о детской этой любви Басилью и Китерии. Как же скоро оба вошли в возраст, то отец Китерии порешил не пускать Басилью к себе в дом и вознамерился выдать свою дочь за богача Камачо, выдать же ее за Басилью не заблагорассудил, ибо тот более щедро наделен дарами природы, нежели дарами Фортуны. Однако ж, если говорить положила руку на сердце, без малейшей примеси зависти, то Басилью — самый ловкий парень, какого я только знаю: здóрово мечет барру, изрядный борец, в мяч играет великолепно, бегаёт, как олень, прыгает, как серна, кегли сбивает, точно какой волшебник, поёт, как жаворонок, гитара у него прямо так и разговаривает, а главное, шпагой он владеет — лучше нельзя.

— По одному этому, — молвил Дон Кихот, — названный вами юноша достоин жениться не только на прекрасной Китерии, но даже на королеве.

— Подите скажите об этом моей жене! — вмешался до сих пор молча слушавший Санчо Панса. — Она стоит на том, что каждый должен жениться на ровне, по пословице: два сапога — пара. А мне бы хотелось, чтобы добрый этот Басилью, который мне уже пришелся по душе, женился на сеньоре Китерии.

— Если бы все влюбленные вступали в брак, — возразил Дон Кихот, — то родители были бы лишены права выбора и права женить своих детей, когда они это почтут приличным. И если бы дочери сами выбирали себе мужей, то одна выскочила бы за слугу своих родителей, другая — за первого встречного повесу и драчуна, который пленил бы ее своею самоуверенностью и молодечеством. Ведь любовь и увлечение без труда накладывают повязку на очи разума, столь необходимые, когда дело идет о каком-нибудь рискованном шаге, в выборе же спутника жизни весьма легко ошибиться: чтобы брак вышел удачным, нужна большая осмотрительность и особая милость божья. Положим, кто-нибудь желает предпринять далекое путешествие: если он человек благоразумный, то, прежде чем отправиться в дорогу, он подыщет себе надежного и приятного спутника — зачем же не последовать его примеру тем, кому положено вместе идти всю жизнь, а таковою спутницею и является для мужа его супруга? Жена не есть товар, который можно купить, а после возвратить обратно, сменить или же заменить другим, она есть спутник неразлучный, который не уйдет от вас до тех пор, пока от вас не уйдет жизнь. Можно было бы еще долго рассуждать по этому поводу, но меня томит желание знать, что еще сеньору лиценциату осталось досказать про Басилью.

— Мне осталось досказать лишь вот что: с той поры, как Басилью узнал, что прекрасная Китерия выходит за Камачо Богатого, он уже более не смеется и разумного слова не вымолвит; теперь он вечно уныл и задумчив, говорит сам с собой (явный и непре-

ложный знак того, что он тронулся), ест мало и спит мало, а коли и ест, то одни лишь плоды, спит же он, если только это можно назвать сном, не иначе как в поле, на голой земле, словно дикий зверь, по временам поднимает глаза к небу, по временам уставляет их в землю и застывает на месте, так что, глядя на него, можно подумать, будто перед вами одетая статуя, чье платье треплет ветер. Коротко говоря, по всем признакам, он пылает любовью, и мы, его знакомые, все, как один, убеждены, что если завтра прекрасная Китерия скажет Камачо «да», то для Басильо это будет смертным приговором.

— Храни его господь! — молвил Санчо. — Господь посылает рану, господь же ее и уврачуе, никто не знает, что впереди, до завтра еще далеко, а ведь довольно одного часа, даже одной минуты, чтобы целый дом рухнул, я видел собственными глазами: дождь идет — и тут же тебе светит солнце; ложишься спать здоровехонек, проснулся — ни охнуть, ни вздохнуть. Дайте мне только увериться, что Китерия любит Басильо всей душой и от чистого сердца, и я ему головой поручусь за успех, потому любовь, как я слышал, носит такие очки, сквозь которые медь кажется золотом, а бедность — богатством.

— Да замолчишь ли ты наконец, Санчо, окаянная сила? — возопил Дон Кихот. — Ты как начнешь сыпать своими поговорками да присказками, так тебя сам черт не остановит.

Уже стемнело; однако ж, когда они подъезжали к селению Китерии, откуда и студенты и поселяне были родом, им всем почудилось, будто небо над ним усеяно мириадами ярких звезд. В то же время до них донеслись неясные, тихие звуки различных музыкальных инструментов, как-то: рожков, тамбуринов, гуслей, свирелей, бубнов и погремушек, а когда они подъехали ближе, то увидели, что устроенный у въезда в село древесный шатер — весь в фонариках, и ветер не задувал их, ибо от ласкового его дуновения даже листья деревьев не шевелились. Музыканты увеселяли явившихся на свадьбу гостей, которые там и сям толпились на приветном этом лугу: одни танцевали, другие пели, третьи играли на упомянутых разнообразных инструментах. Казалось, будто на этой лужайке носится сама Радость и скачет само Веселье. Множество людей строило подмости, чтобы завтра гостям удобнее было смотреть на представление и танцы, коим надлежало быть в этом месте, приготовленном для свадебного торжества богача Камачо и для погребения Басильо. Дон Кихот не пожелал въехать в селение, как ни уговаривали его спутники: более чем достаточным к тому основанием служило, на его взгляд, то обстоятельство, что у странствующих рыцарей было принято ночевать в полях и рощах, но не в селениях, хотя бы и под золоченою кровлею.

ГЛАВА XVIII,

*в коей рассказывается о свадьбе Камачо Богатого
и о происшествии с Басильо Бедным*

Светлая Аврора только еще изъясляла согласие, чтобы блистающий Феб жаром горячих лучей своих осушил влажный бисер в золотистых ее кудрях, когда Дон Кихот, расправив члены, вскочил и окликнул оруженосца своего Санчо, который все еще похрапывал; видя, что Санчо спит, Дон Кихот, прежде чем будить его, молвил:

— О ты, счастливейший из всех в подлунном мире живущих, счастливейший, ибо ты спишь со спокойною душою, не испытывая зависти и ни в ком ее не возбуждая, не преследуемый колдунами и не волнуемый ворожбою! Так спи же, говорю я и готов повторить сто раз, ибо тебя не принуждают вечно бодрствовать муки ревности при мысли о возлюбленной и от тебя не отгоняют сна думы о том, чем ты будешь платить долги и чем ты будешь завтра питаться сам и кормить свою маленькую горемычную семью. Честолюбие тебя не тревожит, тщета мирская тебя не утомляет, ибо желания твои не выходят за пределы забот о твоём осле, заботу же о твоей особе ты возложил на мои плечи: это уж сама природа совместно с обычаем постарались для равновесия возложить бремя сие на господ. Слуга спит, а господин бодрствует и думает о том, как прокормить слугу, как облегчить его участь, чем его вознаградить. Скорбь при виде того, что небо сделалось каменным и не кропит землю целебною росой, стесняет сердце не слуги, а господина, ибо того, кто служил у него в год плодородный и урожайный, он должен прокормить и в год неурожайный и голодный.

Санчо ничего на это не отвечал, потому что спал, и он бы так скоро и не пробудился, когда бы Дон Кихот кончиком копья не развеял его сон. Наконец он пробудился, сонным и безучастным взглядом обнял окрестные предметы и сказал:

— Если я не ошибаюсь, со стороны этого шатра идет дух и запах не столько нарциссов и тмина, сколько жареного сала. Коли свадьба начинается с таких благоуханий, то, вот вам крест, все здесь будет на широкую ногу и всего будет в изобилии.

— Замолчи, обжора,— сказал Дон Кихот,— поедем-ка лучше на свадьбу, посмотрим, что будет делать отвергнутый Басильо.

— Что хочет, то пускай и делает,— заметил Санчо,— не был бы бедняком, так и женился бы на Китерии. А то ишь ты: у самого хоть шаром покати, а дерево рубит не по плечу. По чести, сеньор, мое мнение такое: что бедняку доступно, тем и будь доволен, нечего на дне морском искать груш. Я руку даю на отсечение, что Камачо может засыпать деньгами Басильо, а коли так, то глупа же была бы Китерия, когда бы променяла наряды и драгоценности, которыми ее, конечно, уже оделил и еще оделит Камачо, на ловкость, с какою Басильо мечет барру и дерется на ра-

пирах. За удачный бросок или же за славный выпад и полкварты вина не дадут в таверне. Коли способности и дарования не приносят дохода, то черт ли в них? А вот ежели судьба надумает послать талант человеку, у которого мощна тугая, так тут уж и впрямь завидки возьмут. На хорошем фундаменте и здание бывает хорошее, а лучший фундамент и котлован — это деньги.

— Ради создателя, Санчо,— взмолился тут Дон Кихот,— кончай ты свою речь! Я уверен, что если не прерывать рассуждений, в которые ты ежеминутно пускаешься, то у тебя не останется времени ни на еду, ни на сон: все твое время уйдет на болтовню.

— Будь у вашей милости хорошая память,— возразил Санчо,— вы должны были бы помнить все пункты соглашения, которые мы с вами заключили перед последним нашим выездом. Один из его пунктов гласит, что мне дозволяется говорить все, что угодно, если только это не порочит ближнего моего и не оскорбляет вашей милости, и, по-моему, до сих пор я помянутого пункта ни разу не нарушил.

— Я не помню такого пункта, Санчо,— сказал Дон Кихот,— но если даже это и так, все же я хочу, чтобы ты умолкнул и двинулся следом за мной: ведь музыка, которую мы вчера вечером слышали, снова увеселяет долины, и разумеется, что свадьба будет отпразднована прохладным утром, а не в знойный полдень.

Санчо исполнил повеление своего господина, и как скоро он оседлал Росинанта и серого, то оба сели верхами и неспешным шагом въехали под навес. Первое, что явилось взору Санчо, это целый бычок, насаженный на вертел из цельного вяза и жарившийся на огне, в коем пылала добрая поленица дров; шесть же котлов, стоявших вокруг костра, формою своею не напоминали обыкновенные котлы, скорее это были бочки, способные вместить груды мяса: они столь неприметно вбирали в себя и поглощали бараньи туши, точно это были не бараньи туши, а голуби; уже ободранными зайцам и ощипанным курам, висевшим на деревьях и ожидавшим своего погребения в котлах, не было числа; видимо-невидимо битой птицы и всевозможной дичи было развешано на деревьях, чтобы проявить ее. Санчо насчитал свыше шестидесяти бурдюков вместимостью более двух арроб каждый и, как оказалось впоследствии, с вином лучших сортов; белоснежный хлеб был свален в кучи, как обыкновенно сваливают зерно на гумне; сыры, сложенные как кирпичи, образовывали целую стену; два чана с маслом поболее красильных служили для жаренья изделий из теста; поджаренное тесто вытаскивали громадными лопатами и бросали в стоявший тут же чан с медом. Поваров и поварих было более пятидесяти, и все они, как на подбор, казались опрятными, расторопными и довольными. В просторном брюхе бычка было зашито двенадцать маленьких молоденьких поросят, отчего мясо его должно было стать еще вкуснее и нежнее. В большом ящике находились пряности всех сортов: видно было, что их покупали не фунтами, а целыми арробами. Словом,

свадебное угощение было чисто деревенское, но зато столь обильное, что его хватило бы на целое войско.

Санчо Панса все это разглядывал, все это созерцал и всем этим любовался. Первоначально его пленили и соблазнили котлы, из коих он с превеликою охотою налил бы себе чугунок, засим бурдюки пленили его сердце и, наконец, изделия из теста, поджаривавшиеся сверх обыкновения не на сковородках, а в пузатых чанах. Терпеть долее и поступить иначе было выше его сил, а потому он приблизился к одному из ретивых поваров и на языке голодного, хотя и вполне учтивого человека попросил позволения обмакнуть в один из котлов ломоть хлеба. Повар же ему на это сказал:

— На сегодня, братец, благодаря богачу Камачо голод получил отставку. Слезай с осла, поищи половник, вылови курочку-другую, да и кушай себе на здоровье.

— Я нигде не вижу половника,— объявил Санчо.

— Погоди,— сказал повар.— Горе мне с тобой, экий ты, знать, ломака и нескладеха!

С последним словом он схватил кастрюлю, окунул ее в бочку, выловил трех кур и двух гусей и сказал Санчо:

— Кушай, приятель, подзаправься пока до обеда этими печочками.

— Мне некуда их положить,— возразил Санчо.

— Так возьми с собой и кастрюльку,— сказал повар,— богатство и счастье Камачо покроют любые издержки.

Пока Санчо вел этот разговор, Дон Кихот наблюдал за тем, как под шатер въезжали двенадцать поселян, все, как один, в ярких праздничных нарядах, верхом на чудесных кобылицах, радовавших глаз роскошною своею сбруей со множеством бубенцов на нагрудниках. Стройный этот отряд несколько раз с веселым шумом и гамом прогарцевал по лужайке.

— Да здравствуют Камачо и Китерия! — восклицали поселяне.— Он столь же богат, сколь она прекрасна, а она прекраснее всех на свете!

Послушав их, Дон Кихот подумал:

«Можно сказать с уверенностью, что они никогда не видали моей Дульсиныи Тобосской, потому что если б они ее видели, то сбавили бы тон в похвалах этой самой Китерии».

Малое время спустя с разных сторон стали собираться под шатер участники различных танцев и, между прочим, двадцать четыре исполнителя танца мечей, все молодец к молодцу, в одежде из тонкого белоснежного полотна, в головных уборах из добротного разноцветного шелка. Один из всадников спросил предводителя танцоров, разбитного парня, не поранился ли кто-нибудь из них.

— Слава богу, до сих пор никто не поранился, все мы живы-здоровы.

И тут, увлекая за собою своих товарищей и выделявая все-

возможные колена, он стал до того ловко кружиться, что хотя Дон Кихоту не раз приходилось видеть подобные танцы, однако ж этот понравился ему всех более.

Понравился ему и танец отменно красивых девушек, таких юных на вид, что каждой из них можно было дать, самое меньшее, четырнадцать лет, а самое большее — восемнадцать; вырядились они в платья зеленого сукна; волосы в венках из жасмина, роз, амаранта и жимолости, столь золотистые, что могли соперничать с солнечными лучами, у одних были заплетены в косы, у других распущены. Предводителями их были маститый старец и почтенная матрона, не по годам, однако же, гибкие и подвижные. Танцевали они под волынку, как лучшие в мире танцовщицы, и ноги их были столь же быстры, сколь скромно было выражение их лиц.

— Кто как, а я за Каmachо,— сказал Санчо Панса.

— Одним словом,— заметил Дон Кихот,— сейчас видно, Санчо, что ты мужик, да еще из тех, которые заискивают перед сильными.

— Не знаю, перед кем это я заискиваю,— возразил Санчо,— знаю только, что с котлов Басильо никогда мне не снять таких прекрасных пенек, какие я снял с котлов Каmachо.

Тут он показал Дон Кихоту кастрюлю с гусями и курами, вытащил одну курицу и, с великим наслаждением и охотою начал уплетать ее, молвил:

— А ну его ко всем чертям, этого Басильо, и со всеми его способностями! Сколько имеешь, столько ты и стоишь, и столько стоишь, сколько имеешь. Моя покойная бабушка говаривала, что все люди делятся на имущих и неимущих, и она сама предпочитала имущих, а в наше время, государь мой Дон Кихот, богатеям куда привольнее живется, нежели грамотеям; осел, покрытый золотом, лучше оседланного коня. Вот почему я еще раз повторяю, что стою за Каmachо: с его котлов можно снять немало пенек, то есть гусей, кур, зайцев и кроликов, а в котлах Басильо дно видать, а на дне если что и есть, так разве одна жижа.

— Ты кончил свою речь, Санчо? — спросил Дон Кихот.

— Должен буду кончить,— отвечал Санчо,— потому вашей милости, как видно, она не по душе, а если б не это, я бы еще дня три соловьем разливался.

— Дай бог, Санчо, чтоб ты онемел, пока я еще жив,— сказал Дон Кихот.

— Дела наши таковы,— заметил Санчо,— что я еще при жизни вашей милости достанусь червям на корм и тогда, уж верно, совсем онемею и не пророню ни единого слова до самого конца света или, по малой мере, до Страшного суда.

— Если бы даже все это так и произошло,— возразил Дон Кихот,— все равно твое молчание, Санчо, не сравнялось бы с тем, что ты уже наговорил, говоришь теперь и еще наговоришь в своей жизни. Притом гораздо естественнее предположить, что я умру

раньше тебя, вот почему я не могу рассчитывать, что ты при мне онемеешь хотя бы на то время, когда ты пьешь или спишь, а о большем я уж и не мечтаю.

— По чистой совести скажу вам, сеньор,— объявил Санчо,— на курносую полагаться не приходится, то есть, разумею, на смерть; для нее что птенец желторотый, что старец седобородый — все едино, а от нашего священника я слышал, что она так же часто заглядывает в высокие башни королей, как и в убогие хижины бедняков. Эта госпожа больше любит выказывать свое могущество, нежели стеснительность. Она нимало не привередлива: все ест, ничем не брезгует и набивает суму людьми всех возрастов и званий. Она не из тех жниц, которые любят вздремнуть в полдень: она всякий час жнет, и притом любую траву — и зеленую, и сухую, и, поди, не разжевывает, а прямо так жрет и глотает что ни попало, потому она голодная, как собака, и никогда не наедается досыта, и хоть у нее брюха нет, а все-таки можно подумать, что у нее водянка, потому она с такой жадностью выцеживает жизнь из всех живущих на свете, словно это ковш холодной воды.

— Остановись, Санчо,— прервал его тут Дон Кихот.— Держись на этой высоте и не падай,— признаться, то, что ты так по-деревенски просто сказал о смерти, мог бы сказать лучший проповедник. Говорю тебе, Санчо: если б к добрым твоим наклонностям присовокупить остроту ума, то тебе оставалось бы только взять кафедру под мышку и пойти пленять свет проповедническим своим искусством.

— Живи по правде — вот самая лучшая проповедь, а другого богословия я не знаю,— объявил Санчо.

— Никакого другого богословия тебе и не нужно,— заметил Дон Кихот.

— А засим,— молвил Санчо,— позвольте мне, ваша милость, полакомиться этими самыми пеночками, а все остальное есть празднословие, за которое с нас на том свете спросят.

И, сказавши это, он с такою беззаветною отвагою ринулся на приступ кастрюли, что, глядя на него, загорелся отвагой и Дон Кихот и, без сомнения, оказал бы ему поддержку, но этому помешали некоторые обстоятельства, о коих придется рассказать дальше.

ГЛАВА XIX,

*в коей продолжается свадьба Камачо
и происходят другие занятные события*

В то время как Дон Кихот и Санчо вели между собой разговор, приведенный в главе предыдущей, слышались громкие голоса и великий шум; подняли же этот шум и крик поселяне, прибывшие сюда на кобылицах: теперь они во весь дух мчались

навстречу новобрачным, которые с толпою музыкантов и затейников приближались в сопровождении священника, родни и наиболее именитых жителей окружных селений, и на всех участниках этого шествия были праздничные наряды. Как скоро Санчо увидел невесту, то воскликнул:

— Истинный бог, одета она не по-деревенски, а как столичная модница! Верное слово, на ней не патены*, а, если только глаза мои меня не обманывают, дорогие кораллы, и не дешевенькое зеленое сукнишко, а самолучший бархат! А белая оторочка, думаете, из простого полотна? Ан нет — ей-ей, из атласа! А перстни, скажете, гагатовые? Черта с два, пропади я пропадом, коли это не золотые колечки, да еще какие золотые-то, с жемчужинами, белыми, ровно простокваша; каждая такая жемчужина дороже глаза. А волосы-то! Если только они не накладные, то я таких длинных и таких золотистых отродясь не видывал. А ну-ка попробуйте найдите изъян в стройном ее стане! Да ведь это же ни дать ни взять пальма, у которой ветви осыпаны финиками, а на финики смахивают все эти финтифлюшки, что в волосах у нее и на шее.

Дон Кихота насмешила эта деревенская манера хвалить, однако ж и он пришел к заключению, что, не считая его госпожи Дульсиней Тобосской, он никогда еще не видел подобной красавицы. Легкая бледность покрывала лицо прекрасной Китерии — должно полагать, оттого, что она, как все невесты, убиралась к венцу и плохо спала эту ночь. Шествие направилось к сооруженному неподалеку, на этой же самой лужайке, и украшенному ветками и крытому коврами помосту, где надлежало быть венчанию и откуда можно было смотреть на игры и танцы; и только все приблизились к помосту, как сзади послышался громкий голос, произнесший такие слова:

— Остановитесь, люди торопкие и опрометчивые!

При звуках этого голоса и при этих словах все повернули головы и увидели, что слова эти произнес мужчина в черном камзоле с шелковыми, по-видимому, нашивками в виде языков пламени. На голове у него (как это вскоре заметили) был траурный венок из ветвей кипариса, опирался он на длинный посох. Едва лишь он приблизился, все узнали в нем молодца Басильо и, почувяв, что его появление в такую минуту предвещает недоброе, замерли в ожидании, не постигая, к чему ведут эти выкрики и слова.

Наконец, выбившийся из сил и запыхавшийся, он остановился прямо против молодых, воткнул в землю посох с наконечником из стали, побледнел, обратил взор на Китерию и заговорил хриплым и прерывающимся голосом:

— Тебе хорошо известно, жестокосердная Китерия, что по законам святой веры, которую мы исповедуем, ты, покуда я жив, ни за кого выйти замуж не властна. Ты же, нарушив свой долг по отношению к честному моему намерению, желаешь отдать себя

в распоряжение другого, хотя должна принадлежать мне,— в распоряжение человека, который настолько богат, что даже счастье, а не только земные блага может себе купить. И вот, дабы счастье его было полным (хотя я и не думаю, чтобы он его заслуживал, но, видно, так уж угодно небу), я своими собственными руками устранил затруднения, мешающие его счастью, и уйду прочь с дороги. Много лет здравствовать богатому Камачо с бесчувственною Китерией, и да умрет бедняк Басильо, коего свела в могилу бедность, подрезавшая крылья его блаженству!

С этими словами Басильо схватился за воткнутый в землю посох, после чего нижняя его часть осталась в земле, и тут оказалось, что это ножны, а в ножнах спрятана короткая шпага; воткнув же в землю один конец шпаги, представлявший собою ее рукоять, Басильо с безумною стремительностью и непреклонною решимостью бросился на острие, мгновение спустя окровавленное стальное лезвие вошло в него до половины и пронзило насквозь, и несчастный, проколотый собственным своим оружием, обливаясь кровью, распростерся на земле.

Злая доля Басильо и происшедший с ним прискорбный случай тронули сердца его друзей, и они тотчас поспешили ему на помощь; Дон Кихот, оставив Росинанта, также бросился к нему, поднял его на руки и удостоверился, что он еле дышит. Хотели было извлечь шпагу, однако ж священник, при сем присутствовавший, сказал, чтобы до исповеди не извлекали, а то, мол, если извлечь, Басильо сейчас же испустит дух. Между тем Басильо стал подавать признаки жизни и произнес голосом жалобным и слабым:

— Если б ты пожелала, бессердечная Китерия, в смертный мой час отдать мне свою руку в знак согласия стать моею женою, я умер бы с мыслью о том, что безрассудство мое имеет оправдание, ибо благодаря ему я достиг блаженства быть твоим.

На это священник сказал Басильо, что ему должно помышлять о спасении души и горячо молить бога простить ему его грехи и отчаянный его шаг. Басильо объявил, что он ни за что не станет исповедоваться, покуда Китерия не отдаст ему своей руки, ибо только эта радость укрепит, дескать, волю его и подаст ему силы к исповеди.

Дон Кихот, услышав слова раненого, громко объявил, что просьба его вполне законна и разумна и к тому же легко исполнима и что если сеньор Камачо вступит в брак с сеньорой Китерией как со вдовою доблестного Басильо, то он будет пользоваться таким же уважением, как если бы принял ее из рук отца:

— Сейчас требуется лишь сказать «да», и выговорить это слово невесту ни к чему не обязывает, оттого что для жениха брачною постелью явится могила.

Камачо все это слышал, и все это приводило его в такое недоумение и смущение, что он не знал, как быть и что отвечать;

однако ж друзья Басильо столь упорно добивались его согласия на то, чтобы Китерия отдала умирающему руку, а иначе, мол, Басильо, безутешным отойдя в мир иной, погубит свою душу, что в конце концов уговорили, а вернее, принудили его объявить, что если Китерия согласна, то он противиться не станет, ибо исполнение его желаний будет отдалено лишь на мгновение.

Тут все подбежали к Китерии и — кто мольбами, кто слезами, кто вескими доводами — попытались убедить ее отдать руку бедному Басильо, она же казалась бесчувственнее самого мрамора и недвижимее статуи и, по-видимому, не знала, что говорить, да и не могла и не хотела держать ответ, и так бы и не ответила, когда бы священник ей не сказал, что надобно решаться, ибо у Басильо душа уже расстается с телом, и что неопределенности этой пора положить конец. Тогда прекрасная Китерия, ни слова не говоря, смятенная, по виду печальная и томимая раскаянием, направилась к Басильо, а тот, уже закатив глаза, дышал прерывисто и часто, шептал еле слышно имя Китерии и, по всем признакам, собирался умереть как язычник, а не как христианин. Китерия приблизилась к нему, опустила на колени и без слов, знаками, попросила его протянуть ей руку. Басильо открыл глаза и, глядя на нее в упор, молвил:

— О Китерия! Ты пришла доказать, сколь ты сострадательна, в тот миг, когда сострадание твое явится для меня ножом, пресекающим жизнь мою, ибо я не в силах наслаждаться блаженством, которое мне доставляет мысль, что я твой избранник, как не в силах я прекратить мои мучения, ибо зловещая тень смерти поспешно заволакивает мне очи. Об одном я молю тебя, о роковая звезда моя: если ты просишь у меня мою руку и желаешь отдать мне свою, то пусть это будет не из милости и не для того, чтобы снова ввести меня в обман, — нет, признай и объяви, что ты добровольно протягиваешь мне ее как законному своему супругу, ибо нехорошо в такую минуту меня обманывать и притворяться передо мной, меж тем как я всегда был с тобой правдив до конца.

Произнося эти слова, он неоднократно лишался чувств, и окружающие всякий раз опасались, что еще один такой обморок — и он отдаст богу душу. Китерия, вся — воплощенная скромность и стыдливость, вложила правую свою руку в руку Басильо и сказала:

— Никакая сила в мире не могла бы сломить мою волю. Итак, я вполне добровольно отдаю тебе руку в знак согласия стать законною твоею супругою и принимаю твою, если только ты мне ее отдаешь по собственному желанию и рассудок твой не приведен в смятение и расстройство тем бедствием, которое ты терпишь из-за поспешного своего решения.

— Я отдаю тебе свою руку, — отвечал Басильо, — не будучи ни смятенным, ни помешанным, но в том здравом уме, которым небу угодно было меня наделить, и вот таким я отдаюсь и вверяюсь тебе как твой супруг.

— А я — как твоя супруга, — подхватила Китерия, — все равно, проживешь ли ты много лет, или же тебя из моих объятий перенесут в могилу.

— Для тяжелораненного этот парень слишком много разговаривает, — заметил тут Санчо Панса, — скажите ему, чтоб он прекратил объяснения в любви, пусть лучше о душе подумает: мне сдается, что она у него не желает расставаться с телом, а все вертится на языке.

Итак, Басильо и Китерия взяли друг друга за руки, а священник, растроганный до слез, благословил их и стал молиться о упокоении души новобрачного, новобрачный же, как скоро получил благословение, с неожиданною легкостью вскочил и с необычайною быстротою извлек шпагу, ножнами для которой являлось его собственное тело. Все присутствовавшие подивились этому, а иные, отличавшиеся не столько сметливостью, сколько простодушием, стали громко кричать:

— Чудо! Чудо!

Однако ж Басильо объявил:

— Не «чудо, чудо», а хитрость, хитрость!

Священник, растерянный и сбитый с толку, бросился к нему и, пощупав обеими руками рану, обнаружил, что лезвие прошло не через мякоть и ребра, а через железную трубочку, в этом месте искусно прилаженную и наполненную кровью, которая, как потом выяснилось, не сворачивалась, оттого что была особым образом изготовлена. В конце концов священник, Камачо и почти все присутствовавшие догадались, что их одурачили и провели за нос. Невесту шутка эта, по-видимому, не огорчила — напротив, услышав разговоры, что брак ее совершился обманным путем и потому не может считаться действительным, она объявила, что не берет своего слова назад, из чего все вывели заключение, что Китерия и Басильо сами все это замыслили и были друг с дружкой в заговоре; Камачо же и его свидетели рассвирепели и, решившись применить оружие, дабы отомстить сопернику, обнажили множество шпаг и ринулись на Басильо, однако в то же мгновение в защиту Басильо было обнажено почти столько же шпаг, и сам Дон Кихот, верхом на коне, с копьём в руках и как можно лучше заградившись щитом, проложил себе дорогу и выехал вперед. Санчо, которого такие нехорошие дела никогда не радовали и не забавляли, укрылся под сенью котлов, с которых он только что снял смачные пенки, ибо он был уверен, что это место свято и должно внушать к себе благоговение. Дон Кихот между тем громким голосом заговорил:

— Остановитесь, сеньоры, остановитесь! Никто не вправе мстить за обиды, чинимые нам любовью. Примите в рассуждение, что любовь и война — это одно и то же, и подобно тому как на войне прибегать к хитростям и ловушкам, дабы одолеть врага, признается за вещь вполне дозволенную и обыкновенную, так и в схватках и состязаниях любовных допускается прибегать

к плутням и подвохам для достижения желанной цели, если только они не унижают и не позорят предмета страсти. Китерия была суждена Басильо, а Басильо — Китерии: таково было правое и благоприятное решение небес. Камачо богат, и то, что ему приглянется, он может купить где, когда и как ему вздумается. У Басильо же, как говорится, *одна-единственная овечка*, и никто не властен отнять ее у него, как бы могуществен он ни был, ибо *что бог сочел, того человек да не разлучает*, а кто попытается это сделать, тому прежде надлежит изведать острие моего копья.

И тут он с такой силой и ловкостью начал размахивать своим копьем, что навел страх на всех, кто его не знал; и так глубоко запало в душу Камачо пренебрежение, выказанное к нему Китерией, что он мгновенно выкинул ее из сердца, и потому увещания священника, человека рассудительного и добропорядочного, возымели успех и подействовали на Камачо и его сторонников таким образом, что они смирились и успокоились, в знак чего вложили шпаги в ножны, а богач Камачо, чтобы показать, что он не сердится на шутку и не придает ей значения, вознамерился продолжать веселье, как если б это в самом деле была его свадьба; однако ж Басильо, его невеста и все их приверженцы не пожелали присутствовать на этих празднествах и отправились в селение, где жил Басильо, ибо и у бедняков, если только они люди добродетельные и благоразумные, находятся друзья, которые их сопровождают, почитают и защищают, подобно тому как у богачей всегда находятся льстецы и прихвостни.

Дружина Басильо пригласила к себе и Дон Кихота, ибо нашла, что это человек достойный и отнюдь не робкого десятка. Один лишь Санчо пал духом, убедившись, что ему не бывать на роскошном праздничном пиру у Камачо, каковой пир, кстати сказать, зашел потом за ночь; удрученный и унылый, следовал он за своим господином и за всей компанией Басильо, покидая котлы, коих образ он, однако, уносил в душе, пенки же, увозимые им с собою в кастрюле, пенки, с которыми он почти справился и которые почти прикончил, олицетворяли для него все великолепие и изобилие утраченных благ; и так, задумчивый и хмурый, хотя и не голодный, верхом на сером двигался он вослед за Росинантом.

ГЛАВА XX,

в коей рассказывается о великом приключении в пещере Монтесиноса, в самом сердце Ламанчи, каковое приключение для доблестного Дон Кихота Ламанчского полным увенчалось успехом*

Великие и многочисленные почести оказывали Дон Кихоту обреченные в благодарность за то, что он принял их сторону,

и, в одинаковой мере восхищаясь как его храбростью, так и его мудростью, признавали его за второго Сидя в смысле доблести и за второго Цицерона* по части красноречия. Добрый Санчо трое суток барствовал за счет молодых, которые, между прочим, объявили, что о притворном ранении прекрасная Китерия пред-уведомлена не была, что эта затея пришла в голову одному Басилью, и он надеялся, что все выйдет именно так, как оно и случилось на самом деле; впрочем, он оговаривался, что кое-кому из друзей он все же замысел свой поведал, с тем чтобы в нужную минуту они поддержали его предприятие. Наконец Дон Кихот попросил бывшего своего спутника-лиценциата дать им проводника, который довел бы их до пещеры Монтесиноса, ибо он был снедаем желанием проникнуть туда и убедиться на деле, правду ли рассказывают во всем околоте о ее чудесах. Лиценциат сказал, что он пошлет с ними своего двоюродного брата, отличного студента и большого любителя рыцарских романов, и этот студент, мол, весьма охотно доведет их до самого спуска в пещеру. Вскоре и точно появился студент верхом на ослице, которой седло было покрыто не то пестрым ковром, не то пестро раскрашенной дерюгой. Санчо оседлал Росинанта, снарядил серого, набил свою суму, к которой теперь еще присоединилась сума студента, также изрядно набитая, и, помолившись богу и распрощавшись с хозяевами, путники двинулись по направлению к знаменитой пещере Монтесиноса.

На ночь они остановились в небольшой деревне, и тут студент сказал Дон Кихоту, что отсюда до пещеры Монтесиноса не более двух миль и что если он не изменил своему решению не нее проникнуть, то надобно запастись веревками, чтобы потом, обвязавшись ими, спуститься вниз. Дон Кихот объявил, что, хотя бы то была не пещера, но пропасть, он должен добраться до самого ее дна; и для того купили они около ста брасов* веревки и на другой день, в два часа пополудни, достигли пещеры, спуск в которую, широкий и просторный, скрывала и утаивала от взоров стена частого и непроходимого терновника, бурьяна, дикой смоквы и кустов ежевики. Приблизившись к пещере, студент, Санчо и Дон Кихот спешили, после чего первые двое крепко-накрепко обвязали Дон Кихота веревками; и в то время как его опоясывали и стягивали, Санчо обратился к нему с такими словами:

— Подумайте только, государь мой, что вы делаете, не хороните вы себя заживо и не уподобляйтесь бутылки, которую спускают в колодец, чтобы остудить. Право, ваша милость, не ваше это дело и не ваша забота — исследовать пещеру, которая, наверно, хуже всякого подземелья.

— Вяжи меня и помалкивай,— сказал Дон Кихот,— этот по-двиг, друг Санчо, уготован только мне.

После того как Дон Кихота обвязали (и не поверх доспехов, а поверх камзола), он сказал:

— Мы обнаружили неосмотрительность: не взяли с собой колокольчика,— привязать бы его к веревке, и я бы звонил и давал вам знать, что я еще жив и продолжаю спускаться, но коль скоро это невозможно, то я всецело полагаюсь на бога и предаю ему путь мой.

Тут он опустился на колени, вполголоса прочитал молитву, испросил у бога помощи, помолился о благополучном исходе этого, по-видимому опасного и необычайного, приключения, а затем заговорил громко:

— О владычица всех деяний моих и побуждений, светлейшая и несравненная Дульсинея Тобосская! Если это возможно, чтобы просьбы и мольбы счастливого твоего обожателя достигли слуха твоего, то невиданною твоею красотою заклинаю — выслушай меня: ведь я ни о чем другом не прошу, кроме как о помощи твоей и покровительстве, в коих я ныне, более чем когда-либо, нуждаюсь. Я намерен низринуться, низвергнуться и броситься в бездну, которая здесь предо мною разверзлась, броситься единственно для того, чтобы весь мир узнал, что если ты мне покровительствуешь, то нет такого превышающего человеческие возможности подвига, который я не взял бы на себя и не совершил.

С этими словами он направился к обрыву, но, удостоверившись, что проложить себе дорогу к спуску в пещеру можно лишь с помощью рук и клинка, выхватил меч и начал крушить и рубить заросли, преграждавшие доступ к пещере, по причине какого шума и треска из пещеры вылетело видимо-невидимо больших ворон и галок — летели они тучами, с невероятной быстротой и в конце концов сшибли Дон Кихота с ног, так что, будь он столь же суеверным человеком, сколь ревностным был он католиком, то почел бы это за дурной знак и отдумал забираться в такие места.

Наконец он встал и, видя, что из пещеры больше не вылетают ни вороны, ни летучие мыши, которые также вместе с воронами вылетали оттуда, велел студенту и Санчо ослабить веревку, а сам стал спускаться на дно страшной пещеры; перед тем же, как ему начать спускаться, Санчо благословил его, тысячу раз перекрестил и сказал:

— Храни тебя господь, о цвет, сливки и пенки странствующих рыцарей! Вперед, первый удалец в мире, стальное сердце, медная длань! Да хранит тебя бог, говорю я, и да выведет он тебя свободным, здоровым и невредимым на свет нашей жизни, который ныне ты покидаешь ради этого мрака, куда тебя так и тянет погрузиться.

Почти такие же молитвы и заклинания творил и студент. Дон Кихот все кричал, чтобы отпускали веревку, и Санчо со студентом мало-помалу ее отпускали; когда же крики, исходившие из глубины пещеры, перестали до них доноситься, они обнаружили, что все сто бросов веревки уже размотаны, и решились начать втаскивать Дон Кихота наверх, потому что веревка



у них уже кончилась. Однако с полчаса они еще помедлили, по прошествии же указанного срока принялись тянуть веревку, что оказалось для них так легко, словно на ней не было груза, и они пришли к заключению, что Дон Кихот остался в пещере. Санчо при одной этой мысли заплакал горькими слезами и, чтобы разувериться, с удвоенной силой принялся тянуть веревку; и вот, когда они, по их расчетам, выбрали уже около восьмидесяти брасов, то вдруг почувствовали тяжесть, и это их несказанно обрадовало. Наконец, когда оставалось всего только де-

сять брасов, они ясно увидели Дон Кихота, и Санчо крикнул ему:

— С благополучным возвращением, государь мой! Мы уж думали, что вас там оставили на развод.

Дон Кихот, однако, не отвечал ни слова; как же скоро они его окончательно извлекли, то увидели, что глаза у него закрыты, словно у спящего. Они положили его на землю, развязали, но он все не просыпался; тогда они начали переворачивать его с боку на бок, шевелить и трясти, и спустя довольно долгое время он все же пришел в себя и стал потягиваться, будто пробуждался от глубокого и крепкого сна, а затем, как бы в ужасе оглядевшись по сторонам, молвил:

— Да простит вас бог, друзья мои, что вы лишили меня самой упоительной жизни и самого пленительного зрелища, какую когда-либо жил и какое когда-либо созерцал кто-нибудь из смертных. В самом деле, ныне я совершенно удостоверился, что все радости мира сего проходят, как тень и как сон, и вянут, как цвет полей.

С великим вниманием слушали студент и Санчо слова Дон Кихота, которые, по-видимому, с лютейшею мукою вырывались из глубины его души. Наконец они обратились к нему с просьбой растолковать им смысл речей его и рассказать, что ему в этом аду довелось видеть.

— Вы называете эту пещеру адом? — спросил Дон Кихот. — Не называйте ее так, она подобного наименования не заслуживает, и вы в том уверитесь незамедлительно.

Дон Кихота мучил голод, и он попросил дать ему чего-нибудь поесть. Спутники его расстелили на зеленой травке дерюжку, которую захватил с собой студент, достали из сумки снедь, уселись втроем и в мире и согласии пообедали и поужинали одновременно. Когда дерюжка была убрана, Дон Кихот Ламанчский объявил:

— Не вставайте, дети мои, и слушайте меня со вниманием.

ГЛАВА XXI.

*Об удивительных вещах,
которые, по словам неукротимого Дон Кихота,
довелось ему видеть в глубокой пещере Монтесиноса*

Около четырех часов пополудни солнце спряталось за облака, свет его стал менее ярким, а лучи менее жгучими, и это позволило Дон Кихоту, не изнывая от жары, поведать достопочтенным слушателям, что он видел в пещере Монтесиноса; и начал он так:

— В этом подземелье, справа, на глубине то ли двенадцати, то ли четырнадцати саженьей, находится такая впадина, где могла бы поместиться большая повозка с мулами. Слабый свет про-

никает туда через щели или же трещины, которые уходят далеко, до самой земной поверхности. Углубление это и пространство я заметил как раз когда, подвешенный и висящий на веревке, я стал уже выбиваться из сил и меня начал раздражать спуск в это царство мрака, спуск наугад, без дороги, а потому я решил проникнуть в это углубление и немного отдохнуть. Я крикнул вам, чтоб вы перестали опускать веревку, пока я не скажу, но вы, верно, меня не слышали. Подобрал веревку, которую вы продолжали спускать, и сделав из нее круг, я на нем уселся и, крайне озабоченный, принялся обдумывать, как мне спуститься на дно, коль скоро никто меня теперь не держит; и вот, когда я пребывал в задумчивости и смятении, на меня внезапно и помимо моей воли напал глубочайший сон, а потом я нежданно-негаданно, сам не зная, как, что и почему, проснулся на таком прелестном, приветном и восхитительном лугу, краше которого не может создать природа, а самое живое воображение человеческое — вообразить. Я встряхнулся, протер глаза и убедился, что не сплю и что все это наяву со мной происходит. Все же я пощупал себе голову и грудь, дабы удостовериться, я ли это нахожусь на лугу или же оборотень, однако и осязание, и чувства, и связность мыслей, приходивших мне в голову, — все доказывало, что там и тогда я был совершенно такой же, каков я здесь перед вами. Затем глазам моим открылся то ли пышный королевский дворец, то ли замок, коего стены, казалось, были сделаны из чистого и прозрачного хрусталя. Распахнулись громадные ворота, и оттуда вышел и направился ко мне некий почтенный старец в длинном плаще из темно-лиловой байки, волочившемся по земле; сверху плечи и грудь ему прикрывала зеленого атласа лента, на голове он носил черную шапочку; белоснежная борода была ему по пояс; в руках он держал не какое-либо оружие, а всего-навсего четки, бусинки которых были больше, чем средней величины орехи, а каждая десятая бусинка — с небольшое страусово яйцо; осанка старца, его поступь, важность и необыкновенная величавость — все это вместе взятое удивило и поразило меня. Он приблизился ко мне и прежде всего заключил меня в свои объятия, а затем уже молвил:

«Много лет, доблестный рыцарь Дон Кихот Ламанчский, мы ожидаем тебя в заколдованном этом безлюдье, дабы ты поведал миру, что содержит и скрывает в себе глубокая пещера, именуемая пещерою Монтесиноса, куда ты проник, совершив таким образом уготованный тебе подвиг, на который только ты с неодолимой твоею отвагою и изумительною стойкостью и мог решиться. Следуй же за мною, досточтимый сеньор, я хочу показать тебе диковины, таящиеся в прозрачном этом замке, коего я — главный хранитель, ибо я и есть Монтесинос, по имени которого названа эта пещера».

Среди прочих бесчисленных достопримечательностей и диковин, которые мне показал Монтесинос, я увидел трех поселянок.

Они прыгали и резвились, как козочки, и едва я на них взглянул, как сей же час узнал в одной из них несравненную Дульсинею Тобосскую, а в двух других — тех самых поселянок, что ехали вместе с нею и коих мы встретили близ Тобосо. Я спросил Монтесиноса, знает ли он их, он ответил, что нет, но что, по его разумению, это какие-то заколдованные знатные сеньоры, которые совсем недавно на этом лугу появились, и что это, мол, не должно меня удивлять, ибо в этих краях пребывают многие другие сеньоры как времен протекших, так и времен нынешних, и сеньорам этим чародеи придали самые разнообразные и необыкновенные облики, среди каковых женщин он, Монтесинос, узнал королеву Джинеvру и придворную ее даму Кинтаньону, ту самую, чье вино пил Ланцелот,

Из Британии приехал.

Санчо слушал этот рассказ, и ему казалось, что он сейчас спатит или лопнет от смеха; кто-кто, а уж он-то знал истинную подоплеку мнимой заколдованности Дульсины, сам же он был и колдуном, и единственным свидетелем, а потому теперь у него не оставалось решительно никаких сомнений насчет того, что его господин окончательно свихнулся и лишился рассудка, и обратился к нему Санчо с такими словами:

— При неблагоприятных обстоятельствах и вовсе уже не в пору и в злосчастный день спустились вы, дорогой мой хозяин, в подземное царство, и не в добрый час повстречались вы с сеньором Монтесиносом, который так вас обморочил. Сидели бы вы, ваша милость, тут, наверху, не теряли разума, какой вам дарован от бога, всех поучали бы и ежеминутно давали советы, а теперь вот и порите чушь несусветную.

— Я тебя хорошо знаю, Санчо,— сказал Дон Кихот,— а потому не обращаю внимания на твои слова.

— А я — на слова вашей милости,— отрезал Санчо,— хотя бы вы меня изувечили, хотя бы вы меня прикончили за те слова, которые я вам уже сказал и которые намереваюсь сказать, если только из ваших слов не будет явствовать, что вы исправились и взялись за ум. Но пока еще мы с вами не поссорились, скажите, пожалуйста, ваша милость: как, по каким приметам узнали вы нашу хозяйку? Был ли у вас с ней разговор, и о чем вы ее спрашивали, и что она вам отвечала?

— Узнал я ее вот по какой примете,— отвечал Дон Кихот.— На ней было то же самое платье, как и в тот день, когда ты мне ее показал. Я было заговорил с нею, но она не ответила мне ни слова, повернулась спиной и так припустилась, что ее и стрела бы не догнала. Я хотел броситься за нею и, разумеется, бросился бы, но Монтесинос посоветовал мне не утруждать себя — это, мол, все равно бесполезно, да и потом мне пора уже было вылезать из пещеры. Еще Монтесинос сказал, что по прошествии некоторого времени он меня уведомит, что мне надобно предпринять,

дабы расколдовать всех здесь находящихся. Когда Монтесинос вел со мной этот разговор, ко мне неприметно приблизилась одна из двух спутниц злосчастной Дульсинеи и с полными слез глазами, тихим и прерывающимся от волнения голосом молвила:

«Госпожа моя Дульсинея Тобосская целует вашей милости руки и настоятельно просит ей сообщить, всё ли вы в добром здоровье; а так как она крайнюю нужду терпит, то обращается к вашей милости еще с одною покорнейшею просьбою: не соблаговолите ли вы ссудить ей под залог этой еще совсем новенькой юбки, что у меня в руках, шесть или же сколько можно реалов,— она дает честное слово, что весьма скоро вам их возвратит».

Просьба эта удивила меня и озадачила, и, обратившись к сеньору Монтесиносу, я у него спросил:

«Сеньор Монтесинос! Разве заколдованные знатные особы терпят нужду?»

Он же мне на это ответил:

«Поверьте, ваша милость, сеньор Дон Кихот Ламанчский: то, что мы зовем нуждою, встречается всюду, на все решительно распространяется, всех затрагивает и не щадит даже заколдованных, и если сеньора Дульсинея Тобосская просит у вас взаймы шесть реалов и предлагает, сколько я понимаю, недурной залог, то у вас нет оснований ей отказать; без сомнения, она находится в крайне стесненных обстоятельствах».

«Залога я не возьму,— сказал я,— но и требуемой суммы дать не могу, оттого, что у меня у самого всего только четыре реала».

Я протянул эти деньги подруге Дульсинеи (те самые деньги, которые ты, Санчо, на днях мне выдал для раздачи нищим, если таковые встретятся нам по дороге) и сказал:

«Передайте, моя милая, госпоже вашей, что ее затруднения терзают мне душу и что я хотел бы стать Фуггером*, дабы из таковых затруднений ее вывести. Уведомьте ее также, что из-за того, что я лишен возможности любоваться очаровательной ее наружностью и наслаждаться остроумными ее речами, я не могу и не должен быть в добром здоровье и что я покорнейше прошу ее милость, не соблаговолит ли она повидаться и побеседовать с преданным своим слугою и удрученным рыцарем. И еще скажите ей, что в один прекрасный день до нее дойдет весть, что я дал обет и клятву по примеру маркиза Мантуанского, который, найдя в горах племянника своего Балдуина при последнем издыхании, поклялся отомстить за него, а пока-де не отомстит, обходиться во время трапезы без скатерти, и еще много разных мелочей он к этому присовокупил. Так же точно и я поклянусь никогда не отдыхать и объезжать весь свет до тех пор, пока я сеньору Дульсинею Тобосскую не расколдую».

«Вы еще и не то обязаны сделать для моей госпожи»,— сказала мне на это девица.

Тут она схватила четыре реала и вместо поклона подпрыгнула на два локтя от земли.

— Боже милосердный! — громогласно возопил тут Санчо.— Статочное ли это дело, чтобы чародеи и волшебные чары вошли на белом свете в такую силу? И как это им удалось превратить ясный ум моего господина в ни с чем не сообразное помешательство? Ах, сеньор, сеньор! Ради создателя, придите вы, ваша милость, в себя, поберегите свою честь и не давайте веры всем этим пустякам, от которых у вас помутился и повредился разум!

— Ты так рассуждаешь, Санчо, оттого, что желаешь мне добра,— сказал Дон Кихот,— но так как ты в житейских делах еще не искушен, то все, что тебе мало-мальски трудно постигнуть, ты считаешь невероятным. Повторяю, однако ж, что со временем я расскажу тебе еще кое о чем из того, что мне довелось увидеть под землею, и тогда ты поверишь нынешнему моему рассказу, коего правдивость бесспорна и несомненна.

Продолжая такой разговор, они увидели, что навстречу им кто-то быстро шагает и гонит мула, навьюченного копьями и алебардами. Поравнявшись с ними, путник поклонился и пошел дальше. Дон Кихот же окликнул его:

— Остановитесь, добрый человек! Вы идете, должно полагать, быстрее, чем этого хотелось бы вашему мулу.

— Я не могу останавливаться, сеньор,— возразил незнакомец,— оружие, которое, как видите, я везу, понадобится завтра же, и я не имею права останавливаться, а засим прощайте. Если же вам угодно знать, зачем я его везу, то, было бы вам известно, я собираюсь ночевать на ближайшем постоялом дворе, так что если вы едете туда же, то мы встретимся, и я вам расскажу чудеса. А пока еще раз будьте здоровы.

И незнакомец так погнал мула, что Дон Кихот не успел даже спросить, что за чудеса собирается он рассказать.

Уже стемнело, когда наши путешественники добрались до постоялого двора, и, к радости Санчо, Дон Кихот принял его не как обыкновенно — за некий замок, а за самый настоящий постоялый двор. Едва лишь они переступили порог, Дон Кихот спросил хозяина, здесь ли тот человек, который вез алебарды и пики; хозяин ответил, что он в конюшне расседлывает мула. Студент и Санчо поставили туда же своих ослов, а Росинанту были отведены лучшая кормушка и лучшее место в стойле.

ГЛАВА XXII,

в коей завязываются приключение с ослиным ревом и забавное приключение с неким раешником, а также приводятся достопамятные прорицания обезьяны-прорицательницы*

Дон Кихот, как говорится, спал и видел, нельзя ли поскорей послушать и разузнать про чудеса, о которых ему обещал рассказать человек, везший оружие. Он пошел в направлении, указанном ему хозяином, и в самом деле там его отыскал и попросил

не откладывать, а непременно сию же минуту поведать то, о чем он его спрашивал дорогою. Человек же ему на это сказал:

— Рассказывать о таких чудесах должно сидя и на досуге. Дайте мне, ваша милость, господин хороший, задать корм моей животине, а потом я вам расскажу такие вещи, что вы диву дадитесь.

— Коли дело только за этим, то я вам сейчас помогу,— молвил Дон Кихот.

И он тут же начал просеивать овес и чистить кормушку, человек же, тронутый подобным смирением, изъявил полную готовность рассказать то, о чем его просили, и, усевшись на скамье у ворот, рядом с Дон Кихотом, и обращаясь к почтенному собранию в лице студента, Санчо Пансы и хозяина постоянного двора, начал свой рассказ так:

— Было бы вам известно, ваши милости, что в четырех с половиной милях отсюда в одном селении случилось так, что у рехидора* пропал осел, а всему виной — плутни хитрой девчонки, его служанки, но об этом долго рассказывать, и сколько ни старался рехидор найти осла, все было напрасно. Прошло около двух недель с тех пор, как пропал осел,— так, по крайности, говорят и рассказывают в селении,— и вот однажды стоит потерпевший рехидор на площади, вдруг подходит к нему другой рехидор, его односельчанин, и говорит: «Готовь мне, любезный друг, подарок за радостную весть: твой осел отыскался». — «Подарок за мной, любезный друг, и при этом хороший,— молвил тот,— только прежде скажи, где же он отыскался». — «Я его видел нынче утром в лесу, без седла и безо всякой упряжи,— сказал другой рехидор,— и до того он отошал, что жалость берет на него глядеть. Хотел было я пригнать его к тебе, да он так одичал и такой стал пугливый, что только я к нему подошел, а уж он наутек и прямо в самую чашу. Ежели хочешь, пойдем поищем вдвоем, только сперва дай мне отвести домой мою ослицу — я сей же час возвращусь». — «Ты меня этим весьма одолжишь,— сказал хозяин осла,— я постараюсь отплатить тебе тою же монетою». Так же точно и с такими же подробностями рассказывают про этот случай все, кому он известен доподлинно. Коротко говоря, два рехидора рука с рукой отправились пешком в лес, однако ж в той части леса и на том месте, где они рассчитывали найти осла, его не оказалось, и хотя они все кругом обыскали, но он так и не объявился. Наконец, обнаружив, что осла нигде нет, рехидор, который видел его утром, сказал потерпевшему: «Послушай, любезный друг: я придумал одну вещь, и теперь мы, вне всякого сомнения, найдем эту тварь, хотя бы она запряталась в глубь земли, а не то что в глубь леса. Ведь я чудесно умею реветь ослом, и если только и ты немножко умеешь, то наше дело в шляпе». — «Ты говоришь «немножко», любезный друг? — воскликнул первый рехидор. — Да меня по части рева, истинный бог, никто не перещеголяет, даже сами ослы». — «Сейчас мы это увидим,—

молвил второй рехидор.— Я вот как надумал: ты пойдешь по лесу в одну сторону, а я — в другую, и так мы его обойдем кругом и время от времени будем реветь, то ты, то я, а твой осел, если только он в лесу, уж верно, услышит нас и отзовется». На это хозяин осла ему сказал: «Признаюсь, любезный друг, прекрасная эта мысль делает честь твоему великому уму». Тут они по уговору разошлись в разные стороны, и нужно же было случиться так, что заревели они почти одновременно; полагая же, что осел сыскался, ибо каждый из них был обманут ревом другого, они бросились друг другу навстречу, и, увидев второго рехидора, рехидор, потерявший осла, воскликнул: «Неужто, любезный друг, это не осел ревел?» — «Нет, это я ревел», — отвечал тот. «В таком случае, любезный друг, — продолжал хозяин осла, — между тобою и ослом по части рева нет решительно никакой разницы — я, по крайней мере, никогда не слыхал, чтобы так искусно подражали». — «Эти похвалы и превозношения более подобают и приличествуют тебе, любезный друг, нежели мне, — отозвался тот, кто все это затеял. — Клянусь создателем, ты дашь два очка вперед наилучшему и самому опытному реву на свете: звук у тебя высокий, ты выдержишь темп и не сбиваешься с такта, реवेश на разные лады и часто их меняешь. Одним словом, я признаю себя побежденным и за то, что ты высоко держал знамя изумительного своего искусства, отдаю тебе пальму первенства». — «Ну так я тебе на это скажу, — молвил хозяин осла, — что отныне я буду себя больше ценить и уважать, буду думать, что и я на что-нибудь гожусь, коли у меня такой дар. Правда, я и сам знал, что реву недурно, однако ж до сих пор мне ни от кого не приходилось слышать, что мой рев — это верх совершенства». — «А я тебе на это вот что скажу, — подхватил второй рехидор, — много редких способностей гибнет на свете и не находит должного себе применения, оттого что люди не умеют пользоваться ими». — «Но ведь наши способности, — возразил потерпевший, — могут сослужить нам службу разве вот в таких случаях, как сегодня, да и то дай бог, чтоб они нам помогли». Тут они опять разошлись в разные стороны и принялись реветь; при этом они то и дело ошибались и бежали друг другу навстречу и наконец порешили в качестве условного знака, чтобы не было сомнений, что это они режут, а не осел, реветь два раза подряд. Так, поминутно издавая двукратный рев, облазили они весь лес, а пропавший осел все не откликался. Да и как ему, бедному и горемычному, было откликнуться, коли в конце концов рехидоры нашли его в самой чашобе съеденного волками? И, увидев его, хозяин сказал: «А я-то удивлялся, что он не отзывается, — живой, он бы отозвался, чуть только нас слышал: на то он и осел. Все же я полагаю, любезный друг, что труды мои по розыску осла, хотя я его и не застал в живых, не пропали даром, ибо зато я слышал преискусный твой рев». — «Коли так, то слава богу, — молвил второй рехидор.

— Впрочем, мы с тобой один другого стоим». Так, не солоно хлебавши и только охрипнув, возвратились они к себе в селение и рассказали друзьям своим, соседям и знакомым обо всем, что с ними случилось, когда они искали осла, причем каждый расхваливал искусный рев другого, так что слух о том прошел и распространился по всем окрестным селениям, а дьявол, который никогда не дремлет, потому он любитель всюду сеять и разжигать раздоры и смуту, распускать сплетни и делать из мухи слона, распорядился и устроил так, что чуть только кто из другого села завидит наших, сейчас давай реветь ослом: это они над рехидорами нашими насмеваются. И мальчишки туда же — словом сказать, попали мы в лапы и в пасть ко всем чертям ада: ослиный рев перекачивается из села в село, и жителей нашего, ревучего, села все распознают так же легко, как распознают негров и отличают их от белых. И так далеко зашла злополучная эта шутка, что осмеянные уже не раз в полном боевом порядке и с оружием в руках ополчались на насмешников, и тогда им все бывает нипочем. Мне думается, мои односельчане, из ревучего то есть села, завтра-послезавтра выступят в поход против другого села, которое в двух милях от нас и которое особенно над нами издевается, и, чтобы нам было с чем выступить, я закупил алебарды и пики. Вот про эти-то чудеса я и обещал вам рассказать, а коли это, по-вашему, не чудеса, то не взыщите: других я не знаю.

На этом добрый крестьянин кончил свой рассказ, и тут во двор вошел человек, на котором все: и чулки, и шаровары, и куртка — было из верблюжьей шерсти, и громко спросил:

— Сеньор хозяин! Можно у вас остановиться? Со мной обезьянка-прорицательница и раек, представляющий освобождение Мелисендры.

— Фу черт, да ведь это сеньор маэсе Педро! — воскликнул хозяин. — Стало быть, мы нынче вечером повеселимся.

Мы забыли сказать, что у вышеназванного маэсе Педро левый глаз и почти половина щеки были заклеены пластырем из зеленой тафты, и это наводило на мысль, что вся левая сторона его лица была поражена какой-то болезнью. А хозяин между тем продолжал:

— Милости просим, сеньор маэсе Педро! Где же ваша обезьянка и раек? Что-то я их не вижу.

— Они тут, близко, — отвечала верблюжья шерсть, — я пошел вперед узнать, можно ли остановиться.

— Да я бы самому герцогу Альбе* отказал, а уж сеньора маэсе Педро пустил, — молвил хозяин. — Везите скорее и обезьянку и раек, нынче у меня такие постояльцы, которые посмотрят и раек и фокусы обезьянки и с удовольствием вам заплатят.

— Вот и отлично, а цену я сбавлю, — подхватил пластырь, — пусть только оплатят расходы, я и тем буду доволен. Сейчас пойду схожу за тележкой с куклами и за обезьянкой.

С этими словами он вышел за ворота.



Дон Кихот немедленно обратился к хозяину с вопросом, кто таков маэсе Педро и что это за раек и обезьянка. Хозяин же ему ответил так:

— Это знаменитый раешник, который уже давно разъезжает по Ламанче и дает представление, как славный дон Гайферос освободил Мелисендру*, — должно заметить, что наши края не запомнят столь любопытной и столь ловко разыгранной историйки. Вozит он с собой и обезьянку, да такую искусницу, каких редко можно встретить не только среди обезьян, но даже среди людей: когда ее о чем-нибудь спрашивают, она со вниманием слушает,

затем вскакивает на плечо к своему хозяину и, нагнувшись к самому его уху, шепчет ответ, а маэсе Педро сейчас же оглашает его. Кстати сказать, прошлое она знает лучше, нежели будущее, и хоть она и не всегда угадывает, а все-таки промахи у нее редки, так что мы все уверены, что в ней сидит черт. Если обезьянка вам ответит, то есть, я хочу сказать, если хозяин ответит за нее после того, как она пошепчет ему на ухо, то за свой вопрос вы должны уплатить два реала,— оттого-то считается, что у маэсе Педро денег куры не клюют. Живет он в свое удовольствие, говорит за шестерых, пьет за двенадцать — и все за счет своего языка, обезьянки и балаганчика.

Тем временем возвратился маэсе Педро и прикатил тележку, в которой помещались раек и большая бесхвостая обезьяна с задом точно из войлока, впрочем довольно миловидная; и, едва увидев ее, Дон Кихот обратился к ней с вопросом:

— Ну-с, госпожа прорицательница, так как же? Что с нами случится? Сейчас вы получите два реала.

Засим он велел Санчо выдать два реала маэсе Педро, а маэсе Педро ответил за нее так:

— Сеньор! Это животное не дает ответов и ничего не сообщает касательно будущего. Вот о прошлом ей кое-что известно и немного — о настоящем.

— Ей-же-ей,— воскликнул Санчо,— я ломаного гроша не дам за то, чтоб мне угадали мое прошлое! Потому кто же знает его лучше, чем я? И платить за то, чтобы мне сказали, что я и сам знаю, это глупее глупого. Но если уж тут знают и настоящее, то вот, пожалуйста, мои два реала, а теперь скажите, ваше высокообезьянство: что поделявает сейчас моя жена Тереса Панса и чем она занимается?

Маэсе Педро не пожелал взять денег и сказал:

— Я не желаю получать вознаграждение вперед, прежде должно его заработать.

Тут он дважды хлопнул себя правой рукой по левому плечу, вслед за тем обезьянка одним прыжком взобралась к нему, нагнулась к его уху и начала быстро-быстро щелкать зубами, а немного погодя другим таким же прыжком очутилась на земле, и тогда маэсе Педро с чрезвычайною поспешностью опустился перед Дон Кихотом на колени и, обнимая его ноги, заговорил:

— Я обнимаю ноги ваши так же точно, как обнял бы Геркулесовы столпы*, о бесподобный воскреситель преданного забвению странствующего рыцарства! О рыцарь Дон Кихот Ламанчский, чьи заслуги выше всяких похвал, ободрение слабых, опора падающих, рука помощи павшим, оплот и утешение всех несчастных!

Дон Кихот остолбенел, Санчо пришел в изумление, студент был растерян, крестьянин из ревушего села опешил, хозяин недоумевал — словом, речи раешника ошеломили всех, а тот между тем продолжал:

— А ты, о добрый Санчо Панса, лучший оруженосец лучшего рыцаря в мире, возрадуйся, ибо добрая жена твоя Тереса в добром здравии, и в настоящее время она чешет лен, а чтобы у тебя не оставалось сомнений, я еще прибавлю, что слева от нее стоит кувшин с отбитым горлышком и, чтоб веселей было работать, вина в нем отнюдь не на донышке.

— Этому я охотно верю,— сказал Санчо.— Тереса у меня молодчина и на все руки. И потом еще моя Тереса из тех, у которых нынче густо, а завтра пусто.

— Вот теперь я могу сказать: кто много читает и много странствует, тот много видит и много знает,— вмешался тут Дон Кихот.— Говорю я это вот к чему: какие уверения были бы достаточны для того, чтобы меня уверить, что есть на свете обезьяны, которые прорицают так, как я только что слышал своими собственными ушами? Ведь я тот самый Дон Кихот Ламанчский, о котором говорила эта славная тварь, только она меня несколько перехватила, однако ж, каков бы я ни был, я благодарю небо за то, что оно создало меня с душою мягкой и сострадательною, склонною всем делать добро и никому не делать зла.

— Ну, а теперь,— сказал маэсе Педро, уже успевший встать с колен,— из уважения к сеньору Дон Кихоту и чтоб доставить ему удовольствие, я пойду приготовлю раек и безвозмездно позабавлю всех на постоялом дворе находящихся.

При этих словах хозяин обрадовался чрезвычайно и указал, где лучше всего расставить раек, чтоб в ту же секунду и было сделано.

Дон Кихот был не весьма доволен прорицаниями обезьянки, ибо держался того мнения, что обезьяне не подобает угадывать ни будущее, ни прошедшее, а потому в то время, как маэсе Педро расставлял раек, он отвел Санчо в угол конюшни, чтобы никто не мог слышать его, и сказал:

— Послушай, Санчо: я со вниманием изучал необычайное искусство обезьяны и пришел к убеждению, что у маэсе Педро, ее хозяина, конечно, имеется секретный союз с дьяволом, благодаря чему обезьяна получает эту способность, хозяин же зарабатывает себе на жизнь, а затем, когда он разбогатеет, ему придется отдать черту душу, ибо врагу рода человеческого только этого и надобно.

— Со всем тем,— молвил Санчо,— мне бы хотелось, чтоб ваша милость велела маэсе Педро спросить обезьяну, правда ли то, что с вашей милостью происходило в пещере Монтесиноса,— ведь я стою на том, не в обиду вашей милости будь сказано, что все это было наваждение и обман, в лучшем случае — сновидение.

— Весьма возможно,— сказал Дон Кихот,— и я последую твоему совету, хотя и не без некоторых угрызений совести.

В это время за Дон Кихотом зашел маэсе Педро и сказал, что

раек в надлежащем порядке и что он просит его милость пойти посмотреть — раек, мол, стоит того. Дон Кихот поведал ему свое желание и попросил сей же час обратиться к обезьянке с вопросом: во сне случались с ним разные происшествия в пещере Монтесиноса или наяву, ему же, дескать, кажется, что тут было всякое. Маэсе Педро, ни слова не говоря, сходил за обезьяной, посадил ее перед Дон Кихотом и Санчо и сказал:

— Послушайте, госпожа обезьяна: этот рыцарь желает знать, правда или нет то, что с ним происходило в так называемой пещере Монтесиноса.

Тут он подал свой обычный знак, обезьяна вскочила к нему на левое плечо и как будто бы что-то пошептала ему на ухо, а затем маэсе Педро объявил:

— Обезьяна говорит, что часть того, чему ваша милость явилась свидетелем и что с вами в указанной пещере произошло, недостоверна, часть же правдоподобна, и к вышесказанному она ничего больше прибавить не может. Буде же ваша милость желает знать подробнее, то в ближайшую пятницу она вам ответит на все вопросы, а сейчас ее способность угадывать кончилась и раньше пятницы, как она сказала, к ней не вернется.

— А что я вам говорил? — воскликнул Санчо.— У меня в голове не укладывалось, чтобы все или хотя бы половина того, что вы, государь мой, нарасказали о событиях в пещере, оказалась правдой.

— Будущее покажет, Санчо,— возразил Дон Кихот,— все разоблачающее время ничего не оставляет под спудом — все вытаскивает на солнышко даже из недр земли. А теперь довольно об этом, пойдем посмотрим раек доброго маэсе Педро: мне сдается, что он готовит какую-нибудь новинку.

— Какую-нибудь? — воскликнул маэсе Педро.— В моем райке шестьдесят тысяч новинок. Смею вас уверить, сеньор Дон Кихот, что мой раек — одна из самых любопытных вещей на свете. Итак, мы начинаем, час поздний, а нам немало предстоит еще сделать, рассказать и показать.

Дон Кихот и Санчо повиновались и пошли смотреть раек, а раек уже был установлен, открыт, и вокруг него горели восковые свечи, от коих он весь сверкал ярким блеском. Маэсе Педро спрятался за сценой, ибо ему надлежало передвигать куклы, а впереди расположился мальчуган, помощник маэсе Педро, в обязанности коего входило истолковывать и разъяснять тайны этого зрелища и показывать палочкой на куклы.

И вот когда иные обитатели постоянного двора уселись, иные остались стоять прямо против райка, а Дон Кихот, Санчо и студент заняли лучшие места, помощник начал объяснять, а что именно — это услышит или узнает тот, кто послушает мальчугана или же прочтет следующую главу.

ГЛАВА XXIII,

*в коей продолжается забавное приключение с раешником
и повествуется о других поистине превосходных вещах*

Зрители, все до одного, так и смотрели в рот истолкователю балаганных чудес, и вдруг за сценой послышались звуки множества труб и литавр, загрохотали пушки, однако ж вскоре шум прекратился, и тогда мальчик возвысил голос и начал так:

— Правдивая эта история, которую мы предлагаем вниманию ваших милостей, целиком взята из французских хроник и тех испанских романсов, которые передаются у нас из уст в уста, так что даже малые ребята знают их на память. В ней рассказывается о том, как сеньор дон Гайферос освободил супругу свою Мелисендру, которая находилась в плену у мавров в Испании, в городе Сансуэнье,— так в те времена называлась Сарагоса. Посмотрите, ваши милости: вот и сам дон Гайферос играет в шашки, как о том поется в романсе:

Игрою в шашки тешится Гайферос,
О Мелисендре и не вспоминает.

Но тут появляется другое действующее лицо, с короной на голове и скипетром в руке: это император Карл Великий, мнимый отец Мелисендры; осердившись на зятя за бездействие и беспечность, он начинает его отчитывать. Обратите внимание, как он горячится и возмущается: можно подумать, что вот сейчас он стукнет его скипетром по голове, а иные сочинители утверждают, что он и правда ему всыпал, и очень даже лихо. Он долго ему внушал, что если тот не сделает попытки освободить свою супругу, то опозорит себя, а затем будто бы примолвил:

Я сказал, а вам решать.

Теперь вы видите, ваши милости, что император поворачивается к дону Гайферосу спиной и уходит, а теперь смотрите, как дон Гайферос в запальчивости и с досады швыряет и доску, и шашки, велит немедленно подать ему оружие и обращается к своему двоюродному брату Роланду с просьбой дать ему на время меч Дюрандаль*, но Роланд не соглашается, а вместо этого изъявляет желание разделить с доном Гайферосом тяжесть этого предприятия, однако ж смельчак с негодованием отказывается от его услуг: он, мол, один сумеет вызволить свою супругу, даже если б она находилась глубоко под землею, и тут он вооружается и сей же час пускается в путь. Теперь, ваши милости, обратите свои взоры вон на ту башню; предполагается, что это одна из башен сарагосского замка, ныне известного под названием Альхаферии, а дама в мавританском одеянии, которая стоит на балконе,— это и есть несравненная Мелисендра; она часто смотрит отсюда на дорогу, ведущую во Францию, вспоминает Париж, своего супруга и тем утешается в своем заточении. А



теперь перед вами новое дело, пожалуй что и неслыханное. Вы видите этого мавра? Вот он крадучись, втихомолку, приложив палец к губам, приближается сзади к Мелисендре. Ну, а теперь смотрите, как он целует ее прямо в губы и как она сейчас же начинает отплевываться, вытирает губы рукавом белой своей сорочки, сетует и с горя рвет на себе прекрасные свои волосы, как будто это они повинны в злодеянии. Теперь поглядите вон на того важного мавра, что стоит на галерее: это король Сансуэньи Марсилий; он был свидетелем дерзости мавра, и хотя мавр — его родственник и приближенный, он сей же час велит

его схватить, дать ему двести палок и провести по многолюдным улицам города

С приставами вперед
И со стражниками сзади.

Смотрите: вот уже все идут приводить приговор в исполнение. Вон тот всадник в гасконском плаще — это и есть дон Гайферос, а вон его супруга: отомщенная за дерзость влюбленного в нее мавра, она с прояснившимся и более спокойным выражением лица выходит на балкон, переговаривается оттуда со своим супругом, полагая, что это некий странник, и обращается к нему с теми самыми словами и речами, которые приводятся в известном романсе, например:

Будете в стране французской,
Про Гайфероса узнайте,

и которые я не собираюсь приводить полностью, ибо многословие обыкновенно вызывает скуку. Достаточно видеть, как Гайферос распахивает плащ, и по тому, какие радостные движения делает Мелисендра, мы сейчас догадываемся, что она его узнала, еще мгновение — и она спускается с балкона, чтобы сесть на коня и умчаться с милым своим супругом. Но — о ужас! — подол ее юбки зацепился за железный выступ балкона, и Мелисендра повисла в воздухе. Но смотрите, как милосердное небо выручает нас в самых опасных положениях: дон Гайферос бросается к ней и, не обращая внимания на то, что ее роскошная юбка может порваться, схватывает ее, одним махом опускает на землю, затем, не медля ни секунды, сажает верхом, по-мужски, на коня и велит ей держаться крепче и, чтобы не упасть, обеими руками обхватить его стан, а то ведь сеньора Мелисендра к такому роду верховой езды не привыкла. Но чу! Это конь заржал от радости, что у него такая благородная и прекрасная ноша: его господин и его госпожа. Вот они поворачивают, выезжают из города и, счастливые и ликующие, направляют путь в Париж. В добрый час, о истинно любящая чета — не чета всем влюбленным на свете! Возвращайтесь благополучно в желанную вашу отчизну, и да не преградит Фортуна счастливого вашего пути!

Тут подал голос маэсе Педро:

— Проще, малыш, не пари так высоко, напыщенность всегда неприятна.

Толкователь ничего ему не ответил и продолжал:

— От взора любопытных, которые обыкновенно все замечают, не укрылось, как Мелисендра спускалась с балкона и садилась на коня, о чем они и донесли королю Марсилию, и король велел сей же час бить тревогу. Глядите, как все это у них быстро: вот уже на всех мечетях ударили в колокола, и город дрожит от звона.

— Ну, уж это положим! — вмешался тут Дон Кихот. — На-

счет колоколов маэсе Педро оплошал: у мавров не бывает колоколов, а есть литавры и нечто вроде наших гобоев, а чтобы в Сансуэнье звонили колокола — это явный и невообразимый вздор.

После таких слов маэсе Педро перестал звонить и сказал:

— Не придирайтесь, сеньор Дон Кихот, к мелочам и не требуйте совершенства, все равно вы его нигде не найдете. Разве у нас сплошь да рядом не играют комедий, где все — сплошная нелепость и бессмыслица? И, однако ж, успехом они пользуются чрезвычайным, и зрители в совершенном восторге им рукоплещут. Продолжай, мальчик, и никого не слушай, пусть в этом моем представлении окажется столько же несообразностей, сколько песчинок на дне морском, — у меня одна забота: набить кошелек.

— Ваша правда, — согласился Дон Кихот.

А мальчуган продолжал:

— Смотрите, сколько блестящей конницы выступает из города и устремляется в погоню за христианскою четою. А трубы трубят, а литавры гремят, а барабаны бьют. Я боюсь, что мавры настигнут беглецов, привяжут к хвосту коня и приведут обратно — ужасное зрелище!

А Дон Кихот, увидев перед собой всю эту мавританщину и услышав этот грохот, рассудил за благо помочь беглецам; и, вскочив с места, он заговорил громким голосом:

— Пока я жив, я не допущу, чтобы в моем присутствии столь коварно обходились с таким славным и неустрашимым рыцарем, каков дон Гайферос. Стойте, низкие твари! Не смейте за ним гнаться, не то я вызову вас на бой!

И, перейдя от слов к делу, он обнажил меч, одним прыжком очутился возле балагана и с невиданною быстротою и яростью стал осыпать ударами кукольных мавров: одних сбрасывал на землю, другим отсекал головы, этих калечил, тех рубил на куски и в самый разгар сражения так хватил наотмашь, что когда бы маэсе Педро не пригнулся, не съежился и не притаился, Дон Кихот снес бы ему голову с такою же легкостью, как если б она у него была из марципана. Маэсе Педро кричал:

— Остановитесь, сеньор Дон Кихот! Примите в рассуждение, что вы опрокидываете, рубите и убиваете не настоящих мавров, а картонные фигурки! Вот грех тяжкий! Ведь из-за него все мое имущество погибнет и пойдет прахом.

А Дон Кихот по-прежнему щедро расточал удары и наносил их то обеими руками, то плашмя, то наискось. Коротко говоря, он в два счета опрокинул раек и искромсал и искрошил всех кукол и все приспособления; король Марсилиий был тяжело ранен, а у императора Карла Великого и корона и голова рассечены надвое. Почтеннейшая публика всполошилась, обезьянка удрала на крышу, студент перепугался, даже Санчо Пансу объял превеликий страх, ибо — как он сам уверял, когда буря уже утихла, — он еще ни разу не видел, чтобы его господин так буйство-

вал. Разбив весь раек наголову, Дон Кихот несколько успокоился и сказал:

— Хотел бы я сейчас посмотреть на тех, которые не верят и не желают верить, что странствующие рыцари приносят людям громадную пользу,— подумайте, что было бы с добрым доном Гайферосом и прекрасной Мелисендрой, если б меня здесь не оказалось: можно ручаться, что эти собаки теперь уже настигли бы их и причинили им зло. Итак, да здравствует странствующее рыцарство, и да вознесется оно превыше всего ныне здравствующего на земле!

— Пусть себе здравствует,— дрожащим голосом отозвался тут маэсе Педро,— а мне пора умирать,— я так несчастен, что мог бы сказать вместе с королем Родриго*:

Я вчера был властелином
Всей Испании, а ныне
Не владею даже башней.

Еще полчаса, еще полминуты назад я почитал себя владыкою королей и императоров, в моих конюшнях, сундуках и мешках было видимо-невидимо коней и нарядов, а теперь я разорен и унижен, нищ и убог, а главное, у меня больше нет обезьянки, и пока я ее поймаю, у меня, честное слово, глаза на лоб вылезут. И все это из-за безрассудной ярости сеньора рыцаря, а ведь про него говорят, что он ограждает сирот, выпрямляет кривду и творит всякие другие добрые дела,— только на меня одного не распространилось его великодушие, да будет благословен и препрославлен господь бог, сидящий на престоле славы своей! Знать уж, Рыцарю Печального Образа на роду было написано обезобразить моих кукол и опечалить меня самого.

Слова маэсе Педро тронули Санчо Пансу, и он сказал:

— Не плачь, маэсе Педро, и не сокрушайся, а то у меня сердце надрывается. Было бы тебе известно, что мой господин Дон Кихот — христианин ревностный и добросовестный, и если только он поймет, что нанес тебе урон, то непременно пожелает и сумеет уплатить тебе и возместить убытки с лихвою.

— Если б сеньор Дон Кихот уплатил за часть перебитых им кукол, то и я остался бы доволен, и совесть его милости была бы чиста, ибо не спасти свою душу тому, кто забрал себе чужое достояние против желания владельца и не вознаградил его.

— То правда,— согласился Дон Кихот,— но мне все же неясно, маэсе Педро, что из вашего достояния я забрал себе.

— Как же не забрали? — воскликнул маэсе Педро.— А эти останки, валяющиеся на этой голой и бесплодной земле,— кто их разбросал и сокрушил, как не грозная сила могучей вашей длани? Чьи же это тела, как не мои? Чем же я еще кормился, как не ими?

— Теперь я совершенно удостоверился в том, в чем мне уже не раз приходилось удостоверяться,— заговорил Дон Кихот,—

а именно, что преследующие меня чародеи первоначально показывают мне чей-нибудь облик, как он есть на самом деле, а затем подменяют его и превращают во что им заблагорассудится. Послушайте, сеньоры: говорю вам по чистой совести, мне показалось, будто всё, что здесь происходит, происходит воистину, что Мелисендра — это Мелисендра, Гайферос — Гайферос, Марсилий — Марсилий, Карл Великий — Карл Великий, вот почему во мне пробудился гнев, и, дабы исполнить долг странствующего рыцаря, я решился выручить и защитить беглецов и, движимый этим благим намерением, совершил все то, чему вы явились свидетелями. Если же вышло не так, как я хотел, то виноват не я, а преследующие меня злодеи, и хотя я допустил оплошность эту неумышленно, однако ж я сам себя присуждаю к возмещению убытков. Скажите, маэсе Педро, сколько вы хотите за сломанные куклы? Я готов сей же час уплатить вам добрую и имеющею хождение кастильскою монетою.

Маэсе Педро поклонился и сказал:

— Меньшего я и не ожидал от неслыханной христианской доброты доблестного Дон Кихота Ламанчского, истинного заступника и помощника всех неимущих и обездоленных людей, а сеньор хозяин и достоименный Санчо примут на себя обязанности оценщиков и посредников между вашей милостью и мною и установят, сколько стоят или, вернее, сколько могли стоять поломанные куклы.

Хозяин и Санчо согласились, и маэсе Педро тотчас поднял с земли обезглавленного короля Марсилия Сарагосского и сказал:

— Всякий подтвердит, что короля уже не воскресить, а посему, с вашего дозволения, я хотел бы получить за его смерть и кончину четыре с половиною реала.

— Дальше,— сказал Дон Кихот.

— Вот за эдакую разрубку сверху донизу,— продолжал маэсе Педро, взявши в руки рассеченного императора Карла Великого,— не много взять пять с четвертью реалов.

— И не мало,— ввернул Санчо.

— Нет, не много,— возразил хозяин.— Я, как посредник, предлагаю: для ровного счета — пять.

— Дайте ему все пять с четвертью,— сказал Дон Кихот,— на четверть реала больше или меньше — итог нынешнего достопамятного бедствия от этого не изменится. Только кончайте скорее, маэсе Педро, пора ужинать, мне уже хочется есть.

— За эту безносую и одноглазую куклу, которая прежде была прекрасною Мелисендрою, я прошу по совести два реала двенадцать мараведи,— объявил маэсе Педро.

— Черт меня возьми,— сказал Дон Кихот,— если Мелисендра со своим супругом теперь уже, во всяком случае, не миновала границу Франции: их конь, казалось, не бежал, а летел по воздуху. Так что нечего мне всучивать кота за зайца и показывать какую-

то безносую Мелисендру, меж тем как настоящая, если все благополучно, напропалую веселится теперь со своим супругом во Франции. Господь каждому воздаст от щедрот своих, сеньор маэсе Педро, нам же надлежит ходить дорогой прямою и не кривить душою. А теперь продолжайте.

Маэсе Педро, видя, что на Дон Кихота опять накатило и он взялся за прежнее, и боясь, как бы он не ускользнул от него, повел такую речь:

— Уж верно, это не Мелисендра, а одна из ее служанок. Дайте мне за нее шестьдесят мараведи, и я почту себя удовлетворенным и щедро вознагражденным.

Так он назначал цену и всем прочим поломанным куклам, каковая цена была потом снижена третейскими судьями, и истец и ответчик помирились в конце концов на сорока реалах и трех четвертях; Санчо тут же их выложил, однако маэсе Педро запросил сверх того еще два реала на прожитие, пока он не разыщет обезьяну.

— Дай ему, Санчо,— сказал Дон Кихот,— если не на прожитие, так на пропитие, а еще двести реалов я дал бы в награду тому, кто мог бы сказать наверное, что сеньора донья Мелисендра и сеньор дон Гайферос уже во Франции, в родной семье.

— Никто не мог бы дать вам более точных сведений, чем моя обезьяна,— сказал маэсе Педро,— но теперь ее сам черт не поймает. Впрочем, мне думается, что привязанность к хозяину и голод возьмут свое и ночью она станет меня искать, а утром мы с нею, бог даст, увидимся.

Словом, бой с куклами кончился, и все в мире и согласии поужинали за счет Дон Кихота, коего щедрость была беспредельна.

Еще до рассвета уехал крестьянин с пиками и алебардами, а когда уже совсем рассвело, к Дон Кихоту пришел проститься студент: он возвращался восвояси. Маэсе Педро воздержался от дальнейших препирательств с Дон Кихотом — для этого он слишком хорошо его знал; он поднялся ни свет ни заря и, подобрав останки своего райка и подхватив обезьянку, также отправился искать приключений. Хозяин прежде не был знаком с Дон Кихотом и оттого не мог надивиться как его дурачествам, так и его щедрости. Санчо по распоряжению своего господина очень хорошо ему заплатил, и часов в восемь утра, простившись наконец с хозяином, рыцарь и его оруженосец покинули постоянный двор и тронулись в путь, и до времени мы их оставим, ибо тут уместно будет дать читателю некоторые сведения, необходимые для правильного понимания знаменитой этой истории.

ГЛАВА XXIV,

в коей поясняется, кто такие были маэсе Педро и его обезьяна, и рассказывается о неудачном для Дон Кихота исходе приключения с ослиным ревом, которое окончилось не так, как он хотел и рассчитывал

Все, кто читал первую часть этой истории, должны хорошо помнить Хинеса де Пасамонте, которого Дон Кихот в числе других каторжников освободил в Сьерре Морене, за каковое доброе дело эти зловредные и злонравные люди так дурно его отблагодарили и еще хуже ему отплатили. Этот самый Хинес де Пасамонте, которого Дон Кихот назвал Хинесильо де Награбилью, и похитил у Санчо Пансы осла, однако ж впоследствии Санчо отобрал своего серого. Так вот, этот самый Хинес, боясь очутиться в руках властей, которые разыскивали его, чтобы наказать за бесконечные мошенничества и преступления, коих числилось за ним столько и коих состав был таков, что он сам написал о них большой том, — этот самый Хинес положил перебраться в королевство Арагонское, заклеить себе левый глаз и заняться ремеслом раешника, а по этой части, равно как и насчет ловкости рук, был он великий искусник.

У неких христиан, возвращавшихся из берберийского плена*, купил он по случаю обезьяну и научил ее по определенному знаку вскакивать к нему на плечо и делать вид, что шепчет ему о чем-то на ухо. И теперь, прежде чем расположиться с обезьяною и балаганчиком в каком-нибудь селе, он в соседнем селе или же вообще у людей осведомленных выпрашивал, что там особенного произошло и с кем именно; все это хорошенько запомнив, он обыкновенно начинал с представления: иной раз покажет одну историю, в другой раз — другую, но все они были у него потешные, занимательные и пользовавшиеся известностью. После представления он показывал искусство своей обезьяны, предвещая, однако же, зрителей, что она угадывает прошедшее и настоящее, а что насчет будущего она, мол, не мастак. За каждый ответ он взимал два реала, а с некоторых еще дешевле, в зависимости от того, кто задавал вопрос; когда же он заходил к людям, о которых знал всю подноготную, то хотя бы они, не желая платить, ни о чем его не спрашивали, он все равно делал обезьянке знак, а затем объявлял, что она ему сказала то-то и то-то, и попадал как раз в точку. Этим он стяжал себе славу необыкновенную, и все за ним ходили толпой. В иных случаях, будучи человеком находчивым, он придумывал ответы из головы, и ответы весьма подходящие, а так как никто к нему не приставал и не придирался, что это, мол, за такая чудесная обезьяна — без промаха и изъяна, то он всем втирал очки и знай себе набивал кошель. Прибыв же на постоянный двор, он тотчас признал Дон Кихота и Санчо Пансу, и благодаря прежнему знакомству

с ними для него не составило труда привести в изумление и Дон Кихота, и Санчо Пансу, и всех прочих обитателей постоянного двора; но это обошлось бы ему недешево, когда бы Дон Кихот, отсекая голову королю Марсилию и уничтожая конницу, как о том было сказано в главе предыдущей, взмахнул мечом чуть ниже.

Вот и все, что требовалось сообщить о маэсе Педро и его обезьяне. Обращаясь же к Дон Кихоту Ламанчскому, должно заметить, что, выехав с постоянного двора, он задумал посетить берега реки Эбро и ее окрестности. С этой целью он тронулся в путь, и в продолжение двух дней пути с ним не произошло ничего достойного быть занесенным в летописи, на третий же день, поднимаясь на холм, он услышал трубный звук, барабанный бой и аркебузные выстрелы. Прежде всего он подумал, что это идут солдаты, и, чтобы посмотреть на них, прищепил Росинанта и поднялся на верх холма; очутившись же на вершине, он увидел, что у подошвы холма теснится, как ему показалось, более двухсот человек, вооруженных чем попало, как-то: копьями, самострелами, секирами, пиками и алебардами, кое у кого были аркебузы, у многих круглые щиты. Дон Кихот спустился с холма и подъехал к дружине так близко, что ему хорошо видны были стяги, и он различил их цвета и разобрал украшавшие их эмблемы, из коих одна, обратившая на себя особое его внимание, нарисованная на штандарте, или, вернее, на лоскуте белого атласа, весьма натурально изображала маленького ослика с поднятою головою, раскрытою пастью и высунутым языком — словом, принявшего такое положение и имевшего такой вид, как будто бы он ревет, а вокруг большими буквами было написано следующее двестише:

Ревели, знать, не без причины
Алькальды на манер ослиный.

; Сей отличительный признак навел Дон Кихота на мысль, что собравшийся здесь народ — из села ревущего, и он сказал об этом Санчо и объяснил ему, что написано на знамени. Дон Кихот еще прибавил, что тот, кто рассказывал ему об этом происшествии, по-видимому, ошибся, утверждая, что ревели ослими два рехидора, — стихи на знамени гласят, что то были алькальды. Санчо Панса же ему на это сказал:

— Сеньор! Этому не следует придавать особое значение. Очень может быть, что рехидоры, которые тогда ревели по-ослиному, со временем стали алькальдами, а значит, их можно называть и так и этак, тем более что достоверность этой истории не зависит от того, кто именно ревел: алькальды или же рехидоры, — важно, что кто-то из них в самом деле ревел, а заревет ослом что алькальду, что рехидору всегда есть от чего.

Словом, им стало ясно и понятно, что село осмеянное вышло на бой с другим селом, высмеивавшим его, не зная меры и не по-добрсоседски.

Дон Кихот двинулся прямо к сельчанам, что для Санчо было весьма огорчительно, ибо не любитель он был такого рода походов. Отряд, полагая, что это его сторонник, расступился перед Дон Кихотом. Дон Кихот поднял забрало и с видом решительным и независимым вплотную подъехал к знамени с изображением осла, и тут его окружили военачальники, у коих он вызвал такое же точно удивление, какое вызывал у всех, кто видел его впервые, и удивленно на него уставились. Заметив, что они со вниманием его рассматривают, не заговаривая с ним и ни о чем его не спрашивая, Дон Кихот решился воспользоваться этим молчанием и, нарушив свое собственное, громким голосом заговорил:

— Милостивые государи! Убедительнейше вас прошу не прерывать ту речь, с какою я намерен к вам обратиться, доколе она вам не приестся и не наскучит. Если же наскучит, то мне довольно будет самомалейшего с вашей стороны знака, чтобы наложить печать на уста и придержать язык.

Все объявили, что он волен держать речь и что они охотно его выслушают. Получив дозволение, Дон Кихот продолжал:

— Я, государи мои, странствующий рыцарь, мое поприще есть поприще ратное, мой долг — заступаться за тех, кто в заступлении нуждается, и выручать утесненных. Несколько дней тому назад я узнал о вашем злоключении и о том, что заставляет вас ежеминутно браться за оружие, дабы отомстить врагам вашим. И вот, вникнув как должно в суть вашего дела, я пришел к заключению, что, согласно правилам о поединке, у вас нет оснований почитать себя оскорбленными, ибо частное лицо не может оскорбить целое общество, если только всему этому обществу не брошено обвинение в измене, когда в точности неизвестно, кто именно в измене повинен. Коль скоро же одно лицо не может оскорбить целое королевство, провинцию, город, государство, а тем паче село, то ясно, что незачем мстить за оскорбление, будто бы вам нанесенное, ибо оскорбления-то никакого и нет. Хорошее было бы дело, если бы жители села Ла Релоха¹ поминутно дрались с теми, кто их дразнит часовщиками, а равно и «кастрюльниками», «баклажанниками», «китоловы», «мыловары» и прочие поселяне, клички и прозвища которых на устах у каждого мальчишки и у всякой мелюзги! Нечего сказать, хорошее было бы дело, если б все эти почтенные граждане обижались на прозвища и мстили, а их шпаги из-за всякого пустяка так и ходили взад-вперед в ножнах, словно выдвижное колено в трюмбоне! Нет, нет, сохрани, господи, и помилуй! Мужья благоразумные и государства благоустроенные берутся за оружие, обнажают шпаги и рискуют собою, своею жизнью и достоянием своим только в четырех случаях: во-первых, для защиты нашей католической веры, во-вторых, для защиты собственной жизни, ибо

¹ Название «Ла Релоха» происходит от испанского слова *el reloj* — часы.

так велит закон божеский и таково наше естественное право, в-третьих, для защиты чести своей, семьи и имущества, в-четвертых, служа королю на бранном поле, когда он ведет войну справедливую, и, если угодно, назовем еще и пятый случай — его, впрочем, можно считать вторым, — а именно: защита родины своей. К этим пяти основным поводам мы вправе присоединить несколько других, столь же справедливых и разумных поводов, чтобы взяться за оружие, но о тех, кто прибегает к нему из-за какой-то чепухи, которая скорей может служить поводом для смеха и веселого времяпрепровождения, нежели для обиды, можно подумать, что они совершенно лишены здравого смысла. К тому же месть несправедливая (а справедливой мести вообще не существует) противоречит нашей религии, религия же велит нам делать добро врагам и любить ненавидящих нас, каковая заповедь представляется трудноисполнимою лишь тем, кто помышляет более о мирском, нежели о божественном, и для кого плоть важнее духа, ибо Иисус Христос, истинный богочеловек, который никогда не лгал и не мог и не может лгать, сказал, давая нам свой закон, что иго его — благо и бремя его легко, а значит, он не мог заповедать нам ничего непосильного. Итак, государи мои, по всем законам божеским и человеческим выходит, что вы должны утихомириться.

«Пусть меня черти унесут, — сказал тут про себя Санчо, — если мой господин не богослов, во всяком случае он похож на богослова как две капли воды».

Дон Кихот немного передохнул и, видя, что толпа хранит молчание и намерена слушать его и дальше, хотел было продолжать свою речь, каковую он бы, уж верно, продолжил, когда бы со свойственною ему живостью ума не вмешался Санчо и, видя, что его господин переводит дух, не взял слова вместо него.

— Мой господин Дон Кихот Ламанчский, который одно время называл себя Рыцарем Печального Образа, а ныне именует себя Рыцарем Львов, — весьма образованный идальго, — сказал Санчо, — по части латыни и испанского он любому бакалавру не уступит, во всем, что он говорит и советует, сейчас видно славного воина, и все, как называется, правила-законы поединка он знает назубок, так что вам остается только послушаться его, — ручаюсь, что не прогадаете. Тем более, вы сами слышали: из-за одного только ослиного рева обижаться глупо. Помнится, когда я был мальчонкой, я ревел по-ослиному когда и сколько мне хотелось, и притом по собственному почину, да так искусно и так похоже, что на мой рев отзывались все ослы, какие только были в деревне, и все-таки меня почитали не за выродка, а за достойного сына своих родителей, людей почтеннейших. Правда, искусству моему завидовали многие деревенские франты, ну да я на них чихал. А коли вам угодно удостовериться, что я не вру, то подождите и послушайте. Ведь это искусство — все равно что плаванье: раз научишься — век не забудешь.

С этими словами он приставил руку к носу и взревел так, что во всех окрестных долинах отозвалось эхо. Но тут один из стоявших подле него поселян, вообразив, что он над ними насмехается, взмахнул дубиной и так его огрел, что не устоял Санчо Панса на ногах и грянулся оземь. Дон Кихот, видя, что с Санчо так дурно обходятся, взял копье наперевес и ринулся на драчуна, но столькие в тот же миг заградили его, что отомстить не представлялось возможным; более того: видя, что градом сыплются камни и что ему грозит великое множество нацеленных на него самострелов и столько же аркебузов, Дон Кихот поворотил Росинанта и во весь его мах помчался прочь от толпы, из глубины души вызывая к богу, чтобы он избавил его от опасности, ибо Дон Кихот каждую секунду ждал, что его ранят навывлет, и то и дело затаивал дыхание, прислушиваясь, пролетела ли пуля мимо. Воители, однако ж, удовольствовались зрелищем его бегства и так и не открыли стрельбы. Бедного же Санчо, едва он опамятовался, они положили поперек осла и позволили ему следовать за своим господином, но Санчо был не в состоянии править, и серый сам затрусил вослед за Росинантом, без которого он не мог прожить ни одного мгновения. Дон Кихот между тем отъехал на довольно значительное расстояние, а потом обернулся и, увидев, что Санчо едет за ним, и удостоверившись, что погони нет, решился подождать его.

Воители побыли там до ночи, а так как супостаты их на битву не вышли, то они, радостные и ликующие, возвратились восвояси.

ГЛАВА XXV

О событиях, которые станут известны тому, кто о них прочтет, если только он будет читать со вниманием

Когда храбрец бежит, значит, он разгадал военную хитрость противника, а мужам благоразумным должно беречь себя для более важных случаев. Справедливость этого положения подтвердилась на примере Дон Кихота. Давши сельчанам полную волю гневаться, а рассвирепевшему их отряду — осуществлять недобрые свои намерения, он бросился наутек и, не думая о Санчо и о грозившей ему опасности, скакал до тех пор, пока не почувствовал, что бояться нечего. Санчо, как было сказано, ехал за ним поперек осла. Нагнал он его, будучи уже в полном сознании, и, весь избитый, поколоченный и унылый, свалился с серого к ногам Росинанта. Дон Кихот спешил, чтобы осмотреть его раны, но, оглядев его с ног до головы и удостоверившись, что тот цел и невредим, довольно сердито заговорил:

— Выбрали же вы время, Санчо, реветь ослом! Откуда вы взяли, что в доме повешенного следует говорить о веревке? И разве дубины — не самый подходящий аккомпанемент для ваших ослиных трелей?

— Я не в состоянии отвечать,— сказал Санчо,— потому у меня такое чувство, будто говорит не язык, а спина. Сядемте верхами, поедемте своей дорогой, и реветь ослом я уж больше не стану, но зато не стану и молчать о том, что странствующие рыцари бегут и оставляют добрых своих оруженосцев на расправу врагам, а те молотят их, словно зерно.

— Отступление не есть бегство,— заметил Дон Кихот.— Надобно тебе знать, Санчо, что смелость, которая не зиждется на осмотрительности, именуется безрассудством, подвиги же безрассудного скорее должны быть приписаны простой удаче, нежели его храбрости. Итак, я признаю, что отступил, но я не бежал, образцом же мне служили многие смельчаки, которые берегли себя для лучших времен, и романы полны подобных примеров, но пересказывать их я не стану, ибо и тебе это пользы не принесет, и мне удовольствия не доставит.

Между тем Санчо с помощью Дон Кихота уселся верхом, Дон Кихот сел на Росинанта, и они не спеша двинулись к роще, видневшейся на расстоянии четверти мили. Санчо по временам глубоко вздыхал и тяжело стонал; когда же Дон Кихот осведомился о причине столь мрачного расположения духа, он ответил, что у него отчаянно болит спина от самого кончика позвоночника до затылка — прямо до дурноты.

— Боль эта вызвана, без сомнения, тем,— сказал Дон Кихот,— что дубина, которою тебя ударили, была длинная и прямая, и она охватила все эти участки спины, которые у тебя болят, а если б она пошире взяла, тебе было бы еще больней.

— Клянусь богом, ваша милость разрешила глубокое мое сомнение, да еще в каких прекрасных выражениях все растолковала! — воскликнул Санчо.— Ах ты, будь я неладен, да неужто это такая загадка, отчего у меня болит спина, и требуется еще объяснять, что у меня болят все как есть места, до которых достала дубина? Если б у меня заболела лодыжка, я бы еще, может, призадумался, отчего это она у меня болит, а что у меня болит там, где меня огрели, тут думать да гадать не приходится. Поистине, досточтимый сеньор мой, чужую беду руками разведу, и с каждым днем мне все яснее и яснее становится, что от вашего общества прок невелик: сегодня вы дали меня избить, а потом, опять двадцать пять, начнется подбрасывание на одеяле и прочие детские забавы. Нынче я спиной расплатился, а завтра как бы не пришлось расплачиваться глазами. Куда лучше было бы мне,— вот только я сущий варвар, и ничего хорошего от меня не жди,— куда лучше было бы мне, говорю я, вернуться домой, к жене и к деткам, растить их и чем бог пошлет питать, а не плутать следом за вашей милостью по непутевым путям и бездорожным дорогам, мало пивши и совсем ничего не евши. А уж насчет сна и говорить нечего! Отмерьте себе, любезный оруженосец, семь пядей земли, а коли хотите, так еще столько же, тут вы сами себе господин, и располагайтесь со всеми

удобствами. Чтоб ему сгореть на костре и чтоб его пепел развеялся по ветру,— я разумею первого человека, который начал городить огород странствующего рыцарства, или уж, по крайности, первого, который пожелал поступить в оруженосцы к таким олухам, какими, наверно, были прежние странствующие рыцари. О теперешних я ничего не говорю: коли ваша милость из их числа, стало быть, я должен относиться к ним с уважением, ибо по части ума и красноречия ваша милость самому черту нос утрет.

— Я охотно побился бы с вами об заклад, Санчо,— сказал Дон Кихот,— что вот сейчас, когда вы болтаете не переставая, у вас нигде ничего не болит. Говорите, сударь, все, что вам придет в голову и что вертится у вас на языке,— лишь бы у вас ничего не болело, я же безропотно снесу ваши дерзости. Вам не терпится возвратиться домой к жене и детям — сохрани бог, чтобы я этому препятствовал, деньги мои у вас, высчитайте, сколько дней прошло с того времени, как мы в третий раз выехали из села, прикиньте, сколько вы можете и должны заработать в месяц, и выдайте себе сами.

— Когда я служил у Томе Карраско, отца бакалавра Самсона Карраско, которого ваша милость хорошо знает,— сказал Санчо,— я зарабатывал два дуката в месяц, не считая харчей, а сколько мне взять с вашей милости, это уж я не знаю, знаю только, что у оруженосца странствующего рыцаря больше дел, чем у деревенского батрака; ведь и правда: когда мы в батраках, то как бы мы днем ни работали, как бы нам ни приходилось подчас туго, а все-таки вечером мы едим похлебку и ложимся спать в постель, а с тех пор как я поступил на службу к вашей милости, я про постель и думать забыл. Если не считать того пиршества, которое я себе устроил из пенек с котлов Камачо, и всего, сколько я наел, напил и наспал в доме Басильо, все остальное время я спал на голой земле, под открытым небом, подвергался всевозможным, как их называют, стихийным бедствиям, питался крохами сыра и корками хлеба и пил воду из ручьев и источников, которые нам попадались в дебрях.

— Признаю, Санчо, что вы говорите истинную правду,— молвил Дон Кихот.— Насколько же, по-вашему, больше, чем Томе Карраско, я должен вам заплатить?

— Я так полагаю,— отвечал Санчо,— что коли ваша милость надбавит по два реала в месяц, то это будет по-божески. Но это — только мое жалованье, а за то, что вы дали слово и обещали ввести меня во владение островом, нужно бы накинуть еще по шести реалов, так что всего-навсего тридцать реалов.

— Отлично,— сказал Дон Кихот,— выехали мы из дому двадцать пять дней тому назад, так вот, Санчо, исходя из той суммы, которую вы себе положили, извольте подвести общий итог, подсчитайте, сколько я вам должен, и, как я уже сказал, уплатите себе собственноручно.

— Э, нет, ишь вы какой! — воскликнул Санчо. — Ваша милость очень даже ошибается в своих расчетах, потому за обещанный остров должно считать с того дня, как ваша милость мне его обещала, и по сегодняшний день включительно

— Сколько же прошло, Санчо, с того времени, как я вам его обещал? — спросил Дон Кихот.

— Если память мне не изменяет, — отвечал Санчо, — уж верно, лет двадцать с хвостиком.

Дон Кихот хлопнул себя по лбу, весело рассмеялся и сказал:

— Да ведь я пробыл в Сьерре Морене и вообще провел в походах около двух месяцев, а ты говоришь, Санчо, что я обещал тебе остров двадцать лет тому назад! Ну так вот что я на это скажу: ты желаешь, чтобы все деньги, которые я сдал тебе на хранение, пошли в счет твоего жалованья. — что ж, если ты этого так хочешь, я тебе их отдам сей же час, бери на здоровье, я предпочитаю остаться нищим, без единого гроша, лишь бы избавиться от такого скверного оруженосца. Но скажи мне, нарушитель установлений, касающихся оруженосцев странствующего рыцарства: где ты видел или же читал, чтобы какой-нибудь оруженосец странствующего рыцаря приставал к своему господину: «Сколько вы мне будете платить в месяц?» Погрузись, погрузись, разбойник, негодяй, чудовище, ибо ты именно таков, погрузись, говорю я, в безбрежное море рыцарских романов, и если тебе попадется, что кто-нибудь из оруженосцев сказал или даже подумал то, что сейчас сказал ты, так можешь вырезать мне эти слова на лбу и вдобавок вклеить штук пять хороших щелчков. Итак, подбери поводья и поезжай домой — со мною вместе ты не сделаешь более ни шагу. Вот она, благодарность за мой хлеб! Вот кого я собирался наградить! Вот в ком более скотского, нежели человеческого! Как? В то самое время, когда я намеревался так тебя вознести, чтоб все наперекор твоей жене величали тебя *ваше сиятельство*, ты со мной расстаешься? Как? Ты уезжаешь в то самое время, когда я возымел твердое и бесповоротное решение назначить тебя губернатором лучшего острова в мире? Словом, ты сам когда-то сказал, что некоторых животных медом не кормят. Осел ты есть, ослом ты и будешь, и быть тебе ослом до последнего твоего издыхания, ибо я уверен, что нить твоей жизни прервется прежде, нежели ты догадаешься и поймешь, что ты скот.

Пока Дон Кихот распакал Санчо, тот не сводил с него глаз и наконец почувствовал такие угрызения совести, что его прошибла слеза, и он упавшим и жалобным голосом заговорил:

— Государь мой! Я сознаю, что мне недостает только хвоста, иначе был бы я полным ослом. Коли вашей милости угодно мне его привесить, то я буду считать, что он висит на месте, и в качестве осла буду служить вам до конца моих дней. Простите меня, ваша милость, и сжальтесь надо мной, — ведь я сущий младенец и худо во всем разбираюсь, и болтаю я много неумышленно: такая уж у меня слабость, а кто грешит да кается, тому грехи отпускаются.

— Я бы удивился, Санчо, если б ты не вставил в свою речь какого-нибудь такого присловья. Что ж, коли ты раскаиваешься, то я тебя прощаю, с условием, однако, чтобы впредь ты заботился не только о собственной выгоде, — будь отзывчивее и с бодрою и смелою душою ожидай исполнения моих обещаний, каковое, правда, запаздывает, но коего возможность отнюдь не исключена.

Санчо ответил, что так оно и будет и что он непременно возьмет себя в руки.

Тут они въехали в рощу, и Дон Кихот расположился у подножия вяза, а Санчо — у подножия бука. Санчо провел мучительную ночь, ибо от ночной росы у него еще сильнее разболелись места, по которым прошлась дубина, а Дон Кихот по обыкновению предался своим мечтаниям, однако в конце концов сон смежил вежды обоим, а на заре они двинулись к берегам славного Эбро, и там с ними случилось то, о чем будет рассказано в следующей главе.

ГЛАВА XXVI

О славном приключении с заколдованною ладьею

Выехав из рощи, Дон Кихот и Санчо спустя два дня мерным и умеренным шагом добрались до реки Эбро, коей созерцание доставило Дон Кихоту великое удовольствие. Он любовался приветными ее берегами, светлыми ее струями, мирным течением полных ее и зеркальных вод, и это увеселяющее взоры зрелище наваяло Дон Кихоту множество отрадных воспоминаний. Особенно живо вспомнилось ему все то, что он видел в пещере Монтесиноса, и хотя обезьяна маэсе Педро сказала ему, что только часть всех этих происшествий правда, а остальное, мол, обман, он все же склонен был признать их не за обман, а за истину, в противоположность Санчо, который полагал, что все это пустое мечтание. Ехали они, ехали и вдруг заметили лодочку без весел и каких-либо снастей, привязанную к стволу прибрежного дерева. Дон Кихот огляделся по сторонам, но не обнаружил ни одной души; тогда он, не долго думая, соскочил с Росинанта и велел Санчо прыгнуть с осла и покрепче привязать обоих животных к стволу то ли прибрежного тополя, то ли прибрежной ивы. Санчо осведомился о причине столь скоропалительного спешивания и привязывания. Дон Кихот же ему ответил так:

— Да будет тебе известно, Санчо, что вот эта ладья явно и бесспорно призывает меня и понуждает войти в нее и отправиться на помощь какому-нибудь рыцарю или же другой страждущей знатной особе, которую постигло великое несчастье, ибо это совершенно в духе рыцарских романов и в духе тех волшебников, что в этих романах и рассуждают и действуют: когда

кто-нибудь из рыцарей в беде и выручить его может только какой-нибудь другой рыцарь, но их разделяет расстояние в двести тысячи миль, а то и больше, волшебники сажают этого второго рыцаря на облако или же предоставляют в его распоряжение ладью и мгновенно переправляют по воздуху или же морем туда, где требуется его помощь. Так вот, Санчо, эта ладья причалена здесь с тою же самой целью, и все это такая же правда, как то, что сейчас день, и пока еще не свечерело, привяжи серого и Росинанта — и с богом.

— Коли так,— заговорил Санчо,— и коли ваша милость намерена на каждом шагу делать, можно сказать, глупости, то мне остается только повиноваться и склонить голову по пословице: «Не пойдешь своему господину наперекор — будет тебе от него на прокорм». Однако для очистки совести осмелюсь доложить, что, по моему разумению, хозяева этой лодки не какие-нибудь там заколдованные, а просто местные рыбаки: ведь в этой реке водится наилучшая бешенка*.

Санчо рассуждал, а сам в это время привязывал четвероногих, к великому своему душевному прискорбию оставляя их под защитой и покровительством волшебников.

— Ну ладно, привязал,— объявил он.— А теперь что мы будем делать?

— Что будем делать? — сказал Дон Кихот.— Перекрестимся и отдадим якорь, то есть сядем в лодку и перережем причал, коим она прикреплена к берегу.

С этими словами он прыгнул в лодку, Санчо следом за ним, затем была перерезана бечевка, и лодка начала медленно удаляться; и вот когда Санчо увидел, что он уже на расстоянии примерно двух локтей от берега, то в предчувствии неотвратимой гибели задрожал всем телом, но особенно он закручинился, услышав рев осла и увидев, что Росинант из сил выбивается, чтобы сорваться с привязи, и тут он сказал своему господину:

— Осел заревел с тоски по нас, а Росинант старается вырваться на свободу, чтобы потом броситься за нами вдогонку. Будьте спокойны, милые друзья! Я чаю, мы скоро пойдем, что покидать вас было чистое сумасбродство, образумимся и вернемся к вам!

И при этом он так горько заплакал, что Дон Кихот в запальчивости и раздражении ему сказал:

— Чего ты боишься, трусливое создание? О чем ты плачешь, сердце из коровьего масла? Разве тебя кто-нибудь преследует, кто-нибудь за тобою гонится, крысиная ты душа? Чего тебе недостает, тебе, покоящемуся на лоне изобилия? Может статься, ты шагаешь пешком и босый по Рифейским горам*, а не сидишь на скамеечке, будто эрцгерцог, и тебя не уносит спокойное течение прелестной этой реки, откуда мы в скором времени выйдем в открытое море? Э, да мы, кажется, уже вышли в море и проплыли по крайней мере семьсот, а то и все восемьсот миль,—

будь со мной астроябия, я бы измерил высоту полюса и сказал бы тебе точно, сколько мы с тобой проехали миль. Впрочем, может статься, я в этом ровно ничего не смыслю, но мне кажется, что мы уже проехали или вот-вот проедем линию равноденствия, которая на равном расстоянии от противоположных полюсов пересекает и надвое делит землю.

— А когда мы достигнем этой, как вы ее называете, линии равнодушия, то сколько же мы тогда проедем? — спросил Санчо.

— Много, — отвечал Дон Кихот. — Согласно вычислениям Птолемея, величайшего из всех известных нам космографов, поверхность воды и суши на нашей планете равна тремстам шестидесяти градусам, мы же с тобою, достигнув этой линии, проедем как раз половину.

— Вот уж, ей-богу, ваша милость, — молвил Санчо, — нашли кого приводить во свидетели и с кем дружбу водить: с каким-то не то Ни-бе-ни-меем, не то Пустомелей, — сами же вы честите его косоглазым, да еще, если я вас правильно понял, жулябией.

Посмеялся Дон Кихот подобному толкованию имени и рода занятий космографа Птолемея, а также прибора астроябии.

Между тем лодка медленно скользила по реке, и влекла ее вовсе не какая-нибудь таинственная сила или незримый волшебник, а просто-напросто тихое в ту пору и спокойное течение.

В это самое время глазам путников явились большие мельницы, стоявшие посреди реки, и, едва увидев их, Дон Кихот громким голосом сказал Санчо:

— Смотри, смотри! Вон там, друг мой, виднеется то ли город, то ли замок, то ли крепость, в которой, уж верно, находится заключенный рыцарь, а может статься, некая униженная королева, инфанта или принцесса, и вот ради того, чтобы оказать им помощь, я сюда и доставлен.

— О каком, черт побери, городе, о какой крепости и о каком замке вы, государь мой, толкуете? — возопил Санчо. — Разве вы не видите, что это водяные мельницы, на которых мелют зерно?

— Молчи, Санчо, — сказал Дон Кихот, — они только кажутся мельницами, но это не мельницы. Я уж тебе говорил, что волшебные чары обладают свойством подменять и искажать подлинную сущность любого предмета. Я не хочу сказать, что один предмет превращается в другой на самом деле, — нет, подмена происходит только в нашем воображении, как это показал случай с превращением моей Дульсины.

Тем временем лодка попала в самую стремнину и начала двигаться вперед быстрее, чем прежде. Мукомолы, работавшие на мельницах, заметив, что по реке движется лодка и что ее несет прямо в водоворот, образуемый мельничными колесами, схватили длинные шесты и выбежали на плотину, чтобы остановить лодку, а так как лица их и одежда были в муке, то вид у них был довольно страшный. Они громко кричали:



— Черты вы эдакие! Куда вы прете? Вам что, жизнь не мила? Вы что хотите? Утонуть или попасть под колеса, чтоб вас размололо в пыль?

— Не говорил ли я тебе, Санчо, — молвил тут Дон Кихот, — что мы достигли тех мест, где мне придется показать, чего может достигнуть доблестная моя длань? Смотри, сколько лиходеев и наглецов выбежало мне навстречу, смотри, сколько страшилищ стало мне поперек дороги, смотри, какие рожи корчат нам эти уроды. Ну погодите ж вы мне, мерзавцы!

Тут он поднялся во весь рост и, возвысив голос, начал грозить куколкам:

— Злочестивый и зловредный сброд! Отпустите на волю и предоставьте полную свободу той особе, которая заточена в этой вашей то ли крепости, то ли темнице,— все равно, какого она рода и звания и высока или же низка ее доля. Я — Дон Кихот Ламанчский, иначе Рыцарь Львов, и мне самим всемогущим небом назначено в удел довести это приключение до победного конца.

И, сказавши это, он выхватил меч и принялся размахивать им перед носом у мукомолов, те же хоть и слышали его неразумные речи, но так и не поняли их и всё пытались остановить своими шестами лодку, которую так и тянуло в водоворот под колесами мельниц.

Санчо опустилсЯ на колени и начал горячо молиться богу, чтобы он избавил его от столь явной опасности, и так оно и случилось благодаря ловкости и расторопности мукомолов, которые уперлись шестами в лодку и в конце концов остановили ее, но лодка все же перевернулась, и Дон Кихот вместе с Санчо упали в воду; у Дон Кихота было то преимущество, что он плавал, как утка, но из-за тяжелых доспехов он все же дважды погружался на дно, так что если бы мукомолы не бросились в воду и не вынесли их обоих почти на руках, то это место было бы для них Троей. Когда же их вытащили, до такой степени насыщенных влагою, что никакое питье не пришлось бы им теперь по вкусу, Санчо стал на колени и, сложив руки и возведя очи к небу, обратился к богу с длинной и жаркой молитвой, чтобы на будущее время он избавил его от дерзновенных замыслов и начинаний его господина.

В это время появились рыбаки, владельцы лодки, которую, кстати сказать, мельничные колеса разнесли в щепки, и, увидев, что лодка разбита, напали на Санчо и принялись раздевать его, а с Дон Кихота потребовали возмещения убытков. Дон Кихот же, как ни в чем не бывало, с великим спокойствием объявил мукомолам и рыбакам, что он весьма охотно уплатит за лодку, но при условии, что они без всяких уверток освободят ту особу или же особ, которые у них в замке заключены.

— О каких таких особах и замках ты толкуешь, дурья голова? — воскликнул один из мукомолов. — Ты что, хочешь увезти с собой тех людей, которые приехали сюда молоть зерно?

«Довольно! — сказал себе Дон Кихот. — Стараться просьбами склонить эту чернь на доброе дело — это все равно что вопиять в пустыне. По-видимому, в этом приключении столкнулись два могущественных волшебника, и один из них разрушает замыслы другого: один послал за мною ладью, а другой опрокинул меня в воду. Тут только бог может помочь, ибо весь подлунный мир — клубок козней и противоречивых замыслов. Я же ничего не могу в сем случае поделать».

Затем он возвысил голос и, повернувшись лицом к мельникам, молвил:

— Кто бы вы ни были, друзья мои, ввергнутые в эту темницу, простите меня: к несчастью для меня и для вас, я не могу выручить вас из беды. Видно, подвиг сей какому-либо другому рыцарю предуготован и предназначен.

Произнеся эту речь, он столкнулся с рыбаками и уплатил им за лодку пятьдесят реалов, каковые Санчо выдал весьма неохотно, заметив при этом:

— Еще одно такое катание в лодочке — и все наши деньги пойдут ко дну.

А рыбаки и мукомолы диву давались, глядя на эти две фигуры, столь не похожие на обыкновенных людей, и всё не могли взять в толк, к чему сводились речи и просьбы Дон Кихота; наконец, решив, что это сумасшедшие, они оставили их в покое и разошлись по своим мельницам и рыбачьим лачугам. Неразумные же Дон Кихот и Санчо возвратились к неразумным своим тварям, и на этом приключение с заколдованною ладьею окончилось.

ГЛАВА XXVII

О том, что произошло между Дон Кихотом и прекрасной охотницей

В глубоком унынии и в дурном расположении духа приблизились рыцарь и оруженосец к своим четвероногим, особенно Санчо, которого брало за сердце всякий раз, когда приходилось брать из хозяйских денег; у него было при этом такое чувство, как будто он не с деньгами расстался, а остался без глаз. В конце концов молча сели они верхами и покинули берега славной реки, и тут Дон Кихот погрузился в любовные свои думы, а Санчо — в думы о своем возвышении, которое теперь представлялось ему более далеким, чем когда-либо, потому что хоть и был он простоват, а все же прекрасно понимал, что поступки его господина, все или почти все, неразумны, и он только искал случая, не беря расчета и даже не прощаясь со своим господином, в один прекрасный день улепетнуть и возвратиться восвояси, однако ж судьба распорядилась совсем иначе, и опасения его оказались неосновательными.

Случилось так, что на другой день на закате солнца Дон Кихот, выехав из лесу, окинул взглядом зеленый луг и в самом конце его обнаружил скопление народа; приблизившись к этим людям, он понял, что это соколиная охота. Тогда он подъехал еще ближе и увидел статную даму на белоснежном иноходце; сбруя на нем была зеленая, седло же — серебряное. Дама также была во всем зеленом, и одяние ее было столь богато и столь изящно, что казалось, будто это само изящество. На левой руке у нее сидел сокол, и по этому признаку Дон Кихот догадался, что перед ним некая знатная особа, прочие же охотники — ее

свита, и так оно и было на самом деле; и по сему обстоятельству он сказал Санчо:

— Беги, дружочек Санчо, и скажи этой сеньоре на белом коне и с соколом на руке, что я, Рыцарь Львов, падаю ниц пред ее великолепием и что если ее величие позволит, то я приближусь к ней, дабы облобызать ей руки и исполнить все, что только в моих силах и что бы ее светлость мне ни приказала. Но только смотри, Санчо: не наговори лишнего и не вздумай уснащать посольскую свою речь любимыми твоими поговорками.

— Нашли какого уснастителя! — возразил Санчо. — Не извольте беспокоиться! Слава богу, мне не впервой выезжать с посольством к высокопоставленным и важным сеньорам!

— За исключением того случая, когда я посылал тебя к сеньоре Дульсине, — заметил Дон Кихот, — я не помню, чтобы ты когда-нибудь исполнял посольские обязанности, по крайней мере находясь на службе у меня.

— Ваша правда, — молвил Санчо, — а все-таки исправному плательщику залог не страшен, и где богато живут, там мигом на стол подают. Я хочу сказать, что ничего мне не нужно втолковывать и ни о чем не нужно меня упреждать: у меня у самого хватит смекалки, я сам кое-что в этих делах смыслю.

— Я в этом уверен, Санчо, — сказал Дон Кихот, — ну, час добрый, господь с тобой!

Санчо погнал серого во весь дух и, подъехав к прекрасной охотнице, спешился, пал на колени и сказал:

— Прелестная сеньора! Вон тот рыцарь, которого зовут Рыцарем Львов, это мой господин, а я — его оруженосец, и дома меня зовут Санчо Пансой. Так вот, этот самый Рыцарь Львов, который еще недавно прозывался Рыцарем Печального Образа, послал меня попросить ваше величие, чтобы вы соблаговолили позволить ему явиться с вашего соизволения, разрешения и согласия сюда и исполнить его желание, а желает он, как он сам говорит, да и я тоже так думаю, только одного: служить вашему высоколетному соколичеству и великолепию. И вот, если таковое соизволение воспоследует, то ваше сиятельство от этого только выиграет, а он почтет сие за особую-преособую милость и удовольствие.

— Поистине, добрый оруженосец, — молвила в ответ сеньора, — ты ничего не упустил из того, что при исполнении подобных поручений требуется. Встань же, оруженосцу столь великого рыцаря, каков Рыцарь Печального Образа, о котором мы здесь уже много наслышаны, неприлично стоять на коленях. Встань же, друг мой, и передай своему господину, что он прибыл как раз вовремя и что я и мой муж герцог приглашаем его в наш летний дворец.

Санчо поднялся с колен; его столько же поразила красота доброй сеньоры, сколько любезность ее и приветливость, но больше всего он был поражен тем, что, оказывается, она уже

слышала о Рыцаре Печального Образа: правда, Рыцарем Львов она его не называла, но это, верно, потому, что Дон Кихот взял себе это название совсем недавно. Между тем герцогиня (как ее имя, узнать пока не удалось) обратилась к Санчо с вопросом:

— Скажи, любезный оруженосец: не о твоём ли господине написана книга под заглавием *Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский* и не является ли владычицей его души некая Дульсинея Тобосская?

— Это он и есть, сеньора,— отвечал Санчо,— а оруженосец, который выведен или, по крайности, должен быть выведен в этой книге и которого зовут Санчо Пансой, это я, если только меня не подменили в колыбели, то есть, я хочу сказать, в книгопечатне.

— Все это меня весьма радует,— объявила герцогиня.— Так поезжай же, друг мой Панса, и передай своему господину, что он будет дорогим и желанным гостем в моих владениях и что большего удовольствия, чем его посещение, мне ничто на свете не могло бы доставить.

Получив столь благоприятный ответ, Санчо с чувством глубокого удовлетворения направился к своему господину, передал ему все, что сказала эта знатная сеньора, и на свой деревенский лад превознес до небес необычайную ее красоту, великую приятность и обходительность. Дон Кихот приосанился, вытянулся на стременах, поправил забрало, дал шпоры Росинанту и с крайне независимым видом отправился лобызать герцогине руки; герцогиня же, пока Дон Кихот ехал, подозвала своего мужа герцога и рассказала о его посольстве. А так как супруги читали первую часть истории Дон Кихота и знали из нее о его причудах, то с великою радостью поджидали его и жаждали с ним познакомиться, заранее решив, что они будут потворствовать всем его прихотям, поддакивать ему и все то время, что он у них прогостит, обходиться с ним, как со странствующим рыцарем, соблюдая все церемонии, обыкновенно описываемые в читанных ими рыцарских романах, до которых они были большими охотниками.

Тем временем Дон Кихот с поднятым забралом приблизился к кавалькаде и подал Санчо знак, что намерен спешиться; Санчо ринулся было поддержать ему стремя, но, на беду, когда спрыгивал со своего серого, зацепился одной ногой за веревку от седла; выпутаться ему так и не удалось, и, припав лицом и грудью к земле, он повис на веревке. Дон Кихот привык к тому, чтобы, когда он слезает с коня, ему держали стремя, и теперь он, полагая, что Санчо уже здесь, перегнулся и потащил за собою седло Росинанта, седло же, по всей вероятности, было плохо подтянуто, ибо он, к немалому своему смущению, вместе с седлом грянулся оземь, мысленно осыпая проклятиями несчастного Санчо, коего нога все еще была в тисках. Герцог приказал своим егерям помочь рыцарю и оруженосцу, те под-

няли Дон Кихота, Дон Кихот же сильно ушибся при падении и прихрамывал, однако ж попытался было через силу стать на колени перед герцогом и герцогиней, но герцог решительно этому воспротивился — он соскочил с коня, обнял Дон Кихота и сказал:

— Мне очень досадно, сеньор Рыцарь Печального Образа, что вступление в мои земли ознаменовалось для вас такой неудачей. Впрочем, небрежение оруженосцев бывает иной раз причиною и более неприятных происшествий.

— Происшествие, с которым связана встреча с таким славным вельможей, как вы, нельзя признать неудачным,— возразил Дон Кихот.— Даже если б я низринул на самое дно пропасти, меня вызволила бы оттуда и вознесла честь свидания с вами. Мой оруженосец, накажи его господь, гораздо лучше умеет развязывать свой язык, чтобы отпускать всякие шуточки, нежели привязывать и подтягивать седло, чтобы оно крепче держалось. Но в любом положении, поверженный или же восставший, пеший или же конный, я всегда к услугам вашим и сеньоры герцогини, достойной вашей супруги, достойной именоваться первоизбранницею красоты и первоверховною законодательницею учтивости.

— Стойте, стойте, сеньор Дон Кихот Ламанчский! — молвил герцог.— Там, где царит сеньора донья Дульсинея Тобосская, не должно восхвалять чью бы то ни было красоту.

Между тем Санчо Панса уже высвободил ногу из петли и, приблизившись, поспешил ответить за своего господина:

— Нельзя отрицать, напротив — должно подтвердить, что сеньора Дульсинея Тобосская очень даже красива, но ведь заяц выбегает, когда охотник не ожидает, и потом я еще такое слыхал: то, что мы называем природой, это, говорят, вроде гончара, который делает сосуды из глины, и коли он слепил один красивый сосуд, стало быть, может слепить их и два, и три, и целую сотню. Говорю я это к тому, что сеньора герцогиня, право, не хуже моей хозяйки, сеньоры Дульсинеи Тобосской.

Дон Кихот обратился к герцогине и сказал:

— Примите в соображение, ваше величие, что ни у одного странствующего рыцаря не было такого говорливого и вечно балагурящего оруженосца, как у меня, и если вашему высокопревосходительству будет угодно, чтобы я послужил вам хотя несколько дней, то вы в этом убедитесь на деле.

Герцогиня же ему на это сказала:

— Если добрый Санчо — шутник, то мне это очень нравится; это доказывает, что он не глуп,— людям тупоумным, как вы сами отлично знаете, сеньор Дон Кихот, шутки и остроты не даются, а коль скоро добрый Санчо — шутник и остряк, то я сей же час готова признать его за умника.

— И за болтуна,— примолвил Дон Кихот.

— Тем лучше,— подхватил герцог,— великое остроумие с

немногословием не уживается. Ну, а сейчас без лишних слов милости прошу, великий Рыцарь Печального Образа...

— *Рыцарь Львов* должно говорить, ваша светлость,— вернулся Санчо,— кончились все эти образы да безобразы, теперь только лбы.

— Итак, прошу пожаловать вас, сеньор Рыцарь Львов, в мой замок,— продолжал герцог,— он отсюда недалеко, и там вы встретите прием, на который столь высокая особа, как вы, имеет полное право рассчитывать и который мы с герцогинею имеем обыкновение оказывать всем тем странствующим рыцарям, что бывают у нас в гостях.

За это время Санчо успел привести в надлежащий порядок и хорошенько подтянуть седло своего господина, тот снова сел на Росинанта, герцог — на своего прекрасного коня, герцогиня оказалась между ними, и все двинулись к замку. Герцогиня, однако же, велела Санчо ехать с нею рядом, ибо умные его речи доставляли ей несказанное удовольствие. Санчо не заставил себя долго упрашивать, втиснулся в эту троицу и на правах четвертого собеседника принял участие в общем разговоре, чем весьма обрадовал герцога и герцогиню, которые за великую удачу почли то обстоятельство, что могут принять у себя странствующего рыцаря и разглагольствующего оруженосца.

ГЛАВА XXVIII,

повествующая о многих великих событиях

Санчо был в совершенном восторге, ибо вообразил, что находится в милости у герцогини, и надеялся обрести в ее замке то же, что и в доме Басильо; он обожал довольство, и как скоро ему представлялся случай понаслаждаться жизнью, он неукоснительно хватал его за вихор.

До того как все приблизились к летнему дворцу, герцог поехал вперед и отдал распоряжение всем своим слугам, как должно обходиться с Дон Кихотом, так что когда Дон Кихот вместе с герцогиней подъехал к воротам замка, то навстречу вышли два не то лакея, не то конюха в длинных, до пят, так называемых утренних платьях из великолепного алого атласа, и не успел он оглянуться, как они уже подхватили его на руки и сказали:

— Соболаговолите, ваше величие, помочь сеньоре герцогине сойти с коня.

Дон Кихот хотел было ей помочь, но тут между ним и герцогиней произошел длительный обмен любезностями; герцогиня, однако ж, настояла на своем и изъявила твердое желание сойти и спуститься с коня только с помощью герцога, ибо она-де чувствует, что недостойна утруждать понапрасну столь великого рыцаря. В конце концов приблизился герцог и помог ей спешиться; когда же все вошли в обширный внутренний двор, две прелест-

ные девушки набросили Дон Кихоту на плечи великолепную алую мантию, и в тот же миг во всех галереях появились слуги и служанки и начали громко восклицать:

— Добро пожаловать, краса и гордость странствующего рыцарства!

И при этом все они, или почти все, опрыскивали из флаконов герцога, герцогиню и Дон Кихота душистою жидкостью, что привело Дон Кихота в крайнее изумление; и тут он впервые окончательно убедился и поверил, что он не мнимый, а самый настоящий странствующий рыцарь, ибо все обходились с ним так же точно, как обходились с подобными рыцарями во времена протекшие, о чем ему было известно из романов.

Дон Кихоту предложили подняться по лестнице и провели в залу, увешанную драгоценной парчою и златоткаными коврами; шесть девушек сняли с него доспехи и стали прислуживать ему, как пажи,— все они были научены и предуведомлены герцогом и герцогинею, что им нужно делать и как должно обходиться с Дон Кихотом, чтобы он вообразил и удостоверился, что его принимают за странствующего рыцаря. Когда с Дон Кихота сняли доспехи, он, тощий, высокий, долговязый, с такими впалыми щеками, что казалось, будто они целуют одна другую изнутри, остался в узких шароварах и в камзоле из верблюжьей шерсти, и вид у него был такой, что если бы девушки не делали над собой усилия, чтобы не прыснуть (а на сей предмет они получили от своих господ особый наказ), они бы, уж верно, покатались со смеху.

Дон Кихот проследовал вместе с Санчо в соседний покой, переоделся, препоясался мечом, накинул на плечи алую мантию, на голову надел зеленого атласа берет, который ему подали прислужницы, и в таком виде вышел в обширную залу, где его уже ожидали девушки, выстроившиеся в два ряда и державшие сосуды для омовения рук; весь этот обряд был совершен с множеством поклонов и разных церемоний. Затем явились двенадцать пажей и с ними дворецкий, чтобы отвести Дон Кихота в столовую, где его дожидались владельцы замка. Обступив Дон Кихота, пажи торжественно и весьма почтительно провели его в другую залу, где стоял роскошно убранный стол, накрытый всего лишь на четыре прибора. У порога встретили его герцог, герцогиня и некий важный священник из числа тех, которые у владетельных князей состоят в духовниках; из числа тех, которые, не будучи князьями по рождению, оказываются бессильны научить природных князей, как должно вести себя в этом звании; из числа тех, которые стремятся к тому, чтобы величие высокопоставленных лиц мерялось их собственным духовным убожеством; из числа тех, которые, желая научить духовных чад своих умеренности, делают из них скупцов,— вот что, по всей вероятности, представлял собою этот важный священник, который вместе с герцогскою четою вышел навстречу Дон Кихоту. Герцог пред-

ложил Дон Кихоту занять почетное место, тот сначала было отнекивался, но в конце концов сдался на уговоры. Духовник сел напротив Дон Кихота, герцог же и герцогиня — справа и слева от него.

При сем присутствовавший Санчо был ошеломлен и огорошен теми почестями, какие столь знатными особами воздавались его господину; и когда он увидел, какие церемонии пришлось разводить герцогу, чтобы уговорить Дон Кихота сесть на почетное место, то сказал:

— Если ваши милости мне позволяют, я расскажу, что случилось однажды в нашем селе, когда зашел спор о местах за столом.

При этих словах Дон Кихот вздрогнул — по-видимому, он испугался, что Санчо сболтнет какую-нибудь глупость.

— Так вот, — продолжал Санчо, — я хочу вам рассказать истинную правду, да и потом, мой господин Дон Кихот все равно не даст мне соврать.

— По мне, — отозвался Дон Кихот, — ври сколько хочешь, Санчо, я не буду тебя останавливать, но только сначала подумай, что ты намерен рассказать.

— Я уж думал и передумал, семь раз примерял и только на восьмой отрезал, и сейчас вы в этом убедитесь на деле.

— Хорошо, если б ваши светлости прогнали этого болвана, — сказал Дон Кихот, — а то он бог знает чего наговорит.

— Клянусь жизнью моего мужа, — сказала герцогиня, — что Санчо не отойдет от меня ни на шаг. Я его очень люблю и знаю, что он очень умен.

— Дай бог вашему святейшеству век свой прожить с умом за доброе обо мне мнение, хотя я его и не заслужил, — объявил Санчо. — А рассказать я хочу вот что. Пригласил к себе один идальго из нашего села, очень богатый и знатный, потому он из рода Аламос де Медина дель Кампо и женатый на донье Менсии де Киньонес, дочке дона Алонсо де Мараньон, который дон Алонсо утонул в Эррадуре и из-за которого несколько лет тому назад в нашем селе началась свара, в которой, сколько мне известно, участвовал и мой господин Дон Кихот, и тогда же еще поколотили Томасильо Лоботряса, сына кузнеца Бальбастро... Ну что, досточтимый мой хозяин, разве это не правда? Ради всего святого, скажите, что правда, иначе сеньоры могут подумать, что я враль и болтун.

— До сей поры ты мне казался скорее болтуном, нежели лжецом, — вмешался духовник. — Впрочем, не знаю, кем ты окажешься впоследствии.

— Ты называешь столько имен, Санчо, и указываешь столько примет, что я поневоле вынужден признать, что, по-видимому, ты говоришь правду. Однако продолжай и сократи свой рассказ, ибо, судя по началу, ты так не кончишь и через два дня.

— Нет, пусть не сокращает, если хочет доставить мне удовольствие, — возразила герцогиня, — напротив, пусть рассказыва-

ет как умеет, хотя бы не кончил за шесть дней; если же ему и в самом деле столько понадобится, то это будут самые приятные дни в моей жизни.

— Итак, государи мои,— продолжал Санчо,— этого самого идадьго я знаю как свои пять пальцев, потому от меня до его дома рукой подать, и вот, стало быть, пригласил он к себе одного честного, но бедного крестьянина...

— Поскорей, братец,— прервал его тут священник,— если ты так будешь рассказывать, то и до второго пришествия не кончишь.

— Бог даст, задолго до этого срока успею рассказать,— отрезал Санчо.— Так вот, стало быть, приходит крестьянин в гости к этому самому идадьго, царство ему небесное,— ведь он уж помер, и говорят, будто умирал, как святой; правда, сам-то я не видел, я тогда косил в Темблеке...

— Ради создателя, сын мой, возвращайся ты как можно скорее из Темблека и обойдись без погребения идадьго, а то, пока ты кончишь, как бы кого-нибудь из нас не похоронили.

— Ну так вот,— продолжал Санчо,— собираются они оба садиться за стол, я их как сейчас вижу...

Великое удовольствие доставляло герцогской чете то явное неудовольствие, какое вызывали у духовной особы отступления и заминки в рассказе Санчо, а в душе у Дон Кихота кипели негодование и ярость.

— Так вот,— продолжал Санчо,— пора, стало быть, садиться за стол, тут крестьянин и заладил: пусть, дескать, на почетное место садится идадьго, а идадьго заладил: пусть туда садится крестьянин, у него, мол, в доме все должно быть как он прикажет; однако ж крестьянину хотелось блеснуть своей вежливостью и благовоспитанностью, и он — ни за что. Наконец идадьго рассердился, схватил крестьянина за плечи, насильно усадил его и сказал: «Да садись же ты, дубина! Куда бы я ни сел, мое место все будет почетнее твоего». Вот и весь мой рассказ, и, по чести, я уверен, что пришелся он как раз кстати.

У Дон Кихота все лицо пошло красными пятнами, проступившими сквозь смуглоту его кожи; между тем хозяева, боясь, как бы Дон Кихот, который, уж верно, понял намек Санчо, не обиделся и на них, приняли степенный вид. И чтобы переменить разговор и чтобы Санчо перестал пороть дичь, герцогиня спросила Дон Кихота, имеет ли он вести от сеньоры Дульсины и сколько великанов и лиходеев отослал он ей в подарок за последнее время, ибо, по всей вероятности, он над многими-де из них успел одержать победу. Дон Кихот же ей на это ответил так:

— Сеньора! Мои несчастья имели начало, однако ж конца им не предвидится. Я побеждал великанов, я отсылал к ней душегубов и лиходеев, но как могли они ее отыскать, коль скоро она заколдована и превращена в сельчанку, уродливее которой и представить себе невозможно?

— Не знаю,— вмешался Санчо Панса,— мне показалось, что краше ее нет никого на свете. Во всяком случае, могу ручаться, что по части легкости и прыжков она никакому канатному плясуну не даст спуска. Честное слово, сеньора герцогиня, она прямо с земли на ослицу вспрыгивает, как все равно кошка.

— А разве ты видел ее заколдованной, Санчо? — спросил герцог.

— Еще как видел! — отвечал Санчо.— А какой же черт, если не я, прежде всех попался на эту удочку с колдовством? Нет, нет, она и впрямь заколдована... так же, как мы с вами!

Духовник, слышавший весь этот разговор про великанов, душегубов и колдовство, догадался, что это и есть Дон Кихот Ламанчский, которого историю герцог читал постоянно, между тем духовник порицал его за это многократно и уверял, что глупо с его стороны читать подобные глупости. И вот теперь, совершенно удостоверившись в правильности своих предположений, он в превеликом гневе заговорил с герцогом:

— Ваша светлость! Вам, государь мой, придется давать ответ богу за выходки этого молодца. Я склонен думать, что этот самый Дон Кихот, Дон Остолоп или как его там, не столь уж слабоумен, каким его представляет себе ваша светлость, а потому и не след вам потворствовать его дурачествам и сумасбродствам.

Затем он обратился непосредственно к Дон Кихоту и сказал:

— Послушайте, вы, пустая голова: кто это вам втемяшил, что вы странствующий рыцарь и что вы побеждаете великанов и берете в плен лиходеев? Опомнитесь и попомните мое слово: возвращайтесь к себе домой, растите детей, если у вас есть таковые, занимайтесь хозяйством и перестаньте мыкаться по свету, ловить в небе журавля и смешить всех добрых людей, знакомых и незнакомых. Откуда вы взяли, что были на свете и сейчас еще существуют странствующие рыцари, не к ночи будь они помянуты? Где же это в Испании водятся великаны или в Ламанче — душегубы, и где эти заколдованные Дульсинеи и вся эта уйма чепухи, которая про вас написана?

Дон Кихот со вниманием выслушал почтенного сего мужа, а когда тот умолк, он, несмотря на свое уважение к герцогской чете, вскочил с места и, всем своим видом выражая гнев и возмущение, заговорил...

Впрочем, ответ его заслуживает особой главы.

ГЛАВА XXIX

О том, как Дон Кихот ответил своему хулителю, а равно и о других происшествиях, и важных и забавных

Итак, Дон Кихот вскочил с места, весь затрясся и, задыхаясь от волнения, заговорил:

— То место, где я нахожусь, присутствие высоких особ и ува-

жение, которое я всегда питал и питаю ныне к сану вашей милости, сковывают и удерживают в границах правый мой гнев. Так вот, в силу того, о чем я сейчас говорил, и памятуя о том, что известно всем, а именно, что люди ученые не владеют никаким другим оружием, кроме оружия женщин, то есть языка, я как раз к этому оружию и прибегну и на равных основаниях вступлю в бой с вашей милостью, от которой, кстати сказать, не грубой бра-ни, но благих советов должно было бы ожидать. Порицания душевспасительные и исходящие из добрых побуждений выражаются при совершенно иных обстоятельствах и в иное время,— во всяком случае, порицая меня во всеуслышание и притом столь сурово, вы тем самым вышли за пределы благого порицания, ибо оно зиждется не столько на суровости, сколько на мягкости, и нехорошо, обличая грехи, о которых вы понятия не имеете, ни с того ни с сего обзывать грешника слабоумным и остолопом. В самом деле, я прошу вашу милость ответить: какие такие вы нашли во мне дурачества, которые дают вам право бичевать меня, клеймить и посылать домой заниматься хозяйством и заботиться о жене и детях, хотя вы даже не знаете, есть ли они у меня? Неужели достаточно на правах духовника втереться в чужую семью, неужели достаточно получить воспитание в каком-нибудь дешевом пансионе, видеть свет не далее, чем на двадцать — тридцать миль в окружности, чтобы так, с налета, диктовать законы странствующему рыцарству и судить о странствующих рыцарях? Или, по-вашему, это бесплодное занятие и праздное времяпрепровождение — странствовать по миру, чуждаясь его веселий и взбираясь по крутизнам, по которым доблестные восходят к обители бессмертья? Когда б меня признали за слабоумного рыцари или же блестящие и великодушные вельможи, я почел бы это за несмыслимое для себя бесчестье, а коли меня обзывают глупцом разные буквоеды, которые никогда не вступали на путь странствующего рыцарства, то я не придаю этому ровно никакого значения: я — рыцарь и, коли будет на то воля всевышнего, рыцарем и умру. Одни шествуют по широкому полю надутого честолюбия, другие идут путем низкой и рабьей угодливости, третьи — дорогою лукавого лицемерия, четвертые — стезею истинной веры, я же, ведомый своею звездою, иду узкой тропой странствующего рыцарства, ради которого я презрел житейские блага, но не честь. Я вступался за униженных, выпрямлял кривду, карал дерзость, побеждал великанов и попираал чудовищ. Я влюблен единственно потому, что так странствующим рыцарям положено, но я не из числа влюбленных сластолюбцев, моя любовь — непорочна. Я неизменно устремляюсь к благим целям, а именно: всем делать добро и никому не делать зла. Судите же теперь, ваши светлости, высокородные герцог и герцогиня, можно ли обзывать глупцом того, кто так думает, так поступает и так говорит.

— Ей-богу, здорово сказано! — воскликнул Санчо.— И больше вы, сеньор и господин мой, ничего не говорите в свое оправда-

ние, все равно лучше не скажешь, не придумаешь и не убедишь. И потом, если этот сеньор уверяет, будто странствующих рыцарей прежде не было и сейчас нет, то разве он хоть что-нибудь в этих делах смыслит?

— А ты, любезный, уж не Санчо ли Панса, о котором пишут, будто Дон Кихот обещал пожаловать ему остров? — спросил духовник.

— Я самый, — отвечал Санчо, — и заслужил я этот остров не хуже всякого другого. Про таких, как я, говорят: «К добрым людям пристанешь — сам добрым станешь», а потом еще: «С кем поведешься, от того и наберешься», и еще «Доброго дерева сень сулит тебе добрую тень». Вот я к доброму сеньору и прилепился, уже несколько месяцев, как я при нем состою, и, господь даст, скоро сам стану вроде него, и ему хорошо, и мне хорошо: что там ни говори, быть ему императором, а мне — губернатором.

— Разумеется, друг Санчо, — прервал его тут герцог, — из уважения к сеньору Дон Кихоту я передам тебе во владение один свободный остров довольно хорошего качества.

— На колени, Санчо! — сказал Дон Кихот. — Припади к стопам его светлости за оказанную тебе милость.

Санчо повиновался; тут священник вскипел и, встав из-за стола, обратился к герцогу с такими словами:

— Мой сан повелевает мне сказать вам, ваша светлость, что вы так же точно помешаны, как и эти греховодники. Да как же им не быть безумными, когда люди здравомыслящие потакают их безумствам! Принимайте их у себя, ваша светлость, а я, пока они будут у вас, побуду у себя и перестану порицать то, что исправлению не поддается.

И, не прибавив более ни слова и так и не кончив обеда, духовник удалился, невзирая на уговоры герцога; впрочем герцог особенно не настаивал, оттого что нелепая эта вспышка сильно его сместила. Наконец, перестав смеяться, он повел с Дон Кихотом такую речь:

— Ваша милость, сеньор Рыцарь Львов, так великолепно за себя постояла, что теперь вам уже не стоит требовать удовлетворения.

— Ваша правда, — заметил Дон Кихот. — Единственно, о чем я жалею, это что сеньор священник не побыл с нами, — я бы ему доказал, как он ошибается, думая и утверждая, что странствующих рыцарей не было и нет. Если бы нечто подобное услышал Амадис или же кто-либо из бесчисленных его родичей, то, разумеется, его милости не поздоровилось бы.

— Это уж наверняка, — подхватил Санчо, — рассекли бы его одним махом сверху донизу, как все равно гранат или перезрелую дыню. Эти люди шутить не любили! Бьюсь об заклад, что если б Ринальд Монтальванский послушал рассуждения этого человека, — крест истинный, он так дал бы ему по зубам, что тот целых три года потом помалкивал бы. Попробовал бы он только с ними схватиться, сам был бы не рад.

Слушая Санчо, герцогиня умирала со смеху, и казалось ей, что он еще забавнее и еще сумасброднее, чем его господин, да и многие другие держались тогда этого мнения. В конце концов Дон Кихот успокоился, обед кончился, и когда убрали со стола, появились четыре девушки: одна с серебряным тазом, другая с кувшином, также серебряным, третья с двумя роскошными белоснежными полотенцами, перекинутыми через плечо, а четвертая, засучив по локоть рукава, держала в своих белых руках круглое неаполитанское мыло. Первая девушка изящным и ловким движением подставила таз под самую Донкихотову бороду, а Дон Кихот молча дивился этой церемонии, полагая, что таков, верно, местный обычай — мыть не руки, а бороду; он, сколько мог, вытянул шею, вслед за тем из кувшина полилась вода, девушка, державшая в руках мыло, начала изо всех сил, взмывая снежные хлопья (столь ослепительной белизны была мыльная пена), тереть покорному рыцарю не только подбородок, но все лицо и даже глаза, так что он невольно зажмурился. Герцог и герцогиня нимало не были в этом повинны, и теперь они в смущении ожидали, чем кончится это необыкновенное омовение. Между тем девушка-брадомойка, густо Дон Кихота намылив, сделала вид, что вода кончилась, и послала за ней девушку с кувшином, а сеньору Дон Кихоту придется, мол, подождать. Девушка с кувшином пошла за водой, Дон Кихот же остался ждать, и более странного и смешного вида, чем у него в эту минуту, невозможно было себе представить.

Присутствовавшие — а их было немало — все, как один, воззрились на него, он же сидел с закрытыми глазами и намыленною бородою, на пол-аршина вытянув свою в высшей степени смуглую шею, и это было великое чудо и великая с их стороны деликатность, что они не рассмеялись; проказницы-девушки не смели поднять глаза на своих господ, а в душе у господ гнев боролся со смехом, и они не знали, как поступить: наказать девчонок за дерзость или же отблагодарить их за доставленное удовольствие посмотреть на Дон Кихота в таком смешном положении. Наконец девушка принесла воды, и омовение Дон Кихота завершилось, и тогда девушка, державшая полотенца, с великой осторожностью сухо-насухо вытерла ему лицо, и тут все четыре девушки низко и почтительно ему поклонились и направились к выходу, однако же герцог, дабы Дон Кихот не догадался, что это шутка, подозвал к себе девушку, державшую таз, и сказал:

— А теперь иди-ка вымой меня, но только смотри, чтоб у тебя хватило воды.

Сообразительная и расторопная девушка подошла и подставила герцогу таз совершенно так же, как она подставляла его Дон Кихоту, другие проворно и старательно намылили и вымыли ему лицо, потом насухо вытерли и с поклонами удалились. Впоследствии герцог признался, что он дал себе слово, в случае если они не вымоют его так же точно, как Дон Кихота, наказать их за дер-

зость, но они искупили вину свою тем, что благоразумно согласились вымыть с мылом и герцога.

Санчо внимательно следил за церемонией омовения и говорил себе:

— Ишь ты, как здорово! А что, если здесь существует обычай мыть бороду не только рыцарям, но и оруженосцам? Клянусь богом и спасением души, это было бы для меня весьма существенно, и хорошо, если б они довершили благодеяние и прошлись еще бритвой.

— Что ты там бормочешь, Санчо? — спросила герцогиня.

— Я вот что говорю, сеньора, — отвечал он, — мне не раз приходилось слышать, будто при дворе у других вельмож после обеда полагается мыть руки, а не бороды. Выходит, стало быть, век живи — век учись. Впрочем, говорят еще: дольше проживешь на свете, больше горя ты хлебнешь, хотя вот этак помыться — это не горе, а одно удовольствие.

— Не огорчайся, друг Санчо, — молвила герцогиня, — я скажу моим служанкам, чтоб они не только вымыли тебя, а если понадобится, то и вытирали.

— Я бы и за одну только бороду спасибо сказал, — возразил Санчо, — пока что этого довольно, а там как господь даст.

— Дворецкий! Вы слышали, о чем просит добрый Санчо? — сказала герцогиня. — Вам надлежит в точности исполнить его желание.

Дворецкий, объявив, что он готов к услугам сеньора Санчо, пошел обедать и увел его с собою; между тем герцог, герцогиня и Дон Кихот, сидя за столом, продолжали беседовать о вещах многообразных, но имевших касательство к военному поприщу и к странствующему рыцарству.

Герцогиня, изъявив свое восхищение прекрасною памятью Дон Кихота, обратилась к нему с просьбой описать и обрисовать красоту и черты лица сеньоры Дульсинеи Тобосской — если, дескать, верить молве, трубящей о ее пригожестве, то должно думать, что это — прелестнейшее создание во всем подлунном мире и даже во всей Ламанче. Выслушав просьбу герцогини, Дон Кихот вздохнул и сказал:

— Когда б я мог вынуть мое сердце и выложить его на блюдо, вот на этом самом столе, прямо перед вашим величием, то язык мой был бы избавлен от труда говорить о том, о чем едва лишь можно помыслить, ибо тогда взорам вашей светлости явился бы цельный ее образ, запечатленный в моем сердце, но разве я в силах изобразить и описать во всех подробностях, до малейшей черты, красоту несравненной Дульсинеи?

— Однако ж, со всем тем, сеньор Дон Кихот, — заметил герцог, — вы доставили бы нам большое удовольствие, когда бы согласились описать Дульсинею Тобосскую: пусть это будет лишь беглый очерк, все равно, я уверен, черты ее в нем столь резко означатся, что ей позавидуют первые красавицы в мире.

— Я бы, разумеется, сделал такой набросок,— молвил Дон Кихот,— когда бы образ ее не был изглажен из моей памяти тем несчастьем, которое с нею недавно случилось, несчастье же это столь велико, что я скорей готов оплакивать ее, нежели описывать. Надобно вам знать, ваши светлости, что несколько дней тому назад я отправился облобызать ей руки и испросить у нее благословения, соизволения и согласия на третий свой поход, но она оказалась совсем не такою, какою я чаял встретить ее: оказалось, что ее заколдовали и из принцессы преобразили в сельчанку, из красавицы — в уродину, из ангела — в черта, из благоуханной — в зловонную, из сладкоречивой — в грубиянку, из степенной — в попрыгунью, из светозарной — в исчадие тьмы, одним словом, из Дульсины Тобосской — в поселянку откуда-нибудь из Сайяго*.

— Боже мой! — вскричал тут герцог.— Какой враг рода человеческого это сделал? Кто отнял у людей возможность любоваться ее красотой, ее веселым нравом и ее благопристойностью, которая возвышала их в собственных глазах?

— Кто? — переспросил Дон Кихот.— Кто же еще, как не коварный волшебник, один из многих преследующих меня завистников? Это окаянное отродье явилось к нам, дабы окутывать мраком и обращать в ничто подвиги праведников и освещать и возвеличивать деяния грешников. Волшебники меня преследовали, волшебники меня преследуют, и будут меня волшебники преследовать, пока не сбросят и меня, и смелые мои рыцарские подвиги в глубокую пучину забвения, и ранят они меня и наносят удары в самые чувствительные места, ибо отнять у странствующего рыцаря его даму — это все равно что лишить его зрения, отнять у него солнечный свет, лишить его пропитания. Я много раз уже это говорил и повторяю снова: странствующий рыцарь без дамы — это все равно что дерево без листьев, здание без фундамента или же тень без того тела, которое ее отбрасывает.

— Все это бесспорно,— заметила герцогиня,— но, со всем тем, если верить книге о сеньоре Дон Кихоте, которая не так давно вышла в свет и получила всеобщее одобрение, то, мне думается, нельзя не прийти к заключению, что ваша милость в глаза не видела сеньору Дульсинею и что такой сеньоры на свете нет, что она — существо вымышленное, детище и плод вашего воображения, которому вы придали все качества и совершенства, какие вам только хотелось.

— По этому поводу много можно было бы сказать,— возразил Дон Кихот.— Одному богу известно, существует Дульсинья на свете или же не существует, вымышлена она или же не вымышлена,— в исследованиях подобного рода нельзя заходить слишком далеко. Я не выдумывал мою госпожу и не создавал ее в своем воображении, однако все же представляю ее себе такою, какою подобает быть сеньоре, обладающей всеми совершенствами, которые способны удостоить ее всеобщего преклонения, а

именно: она — безупречная красавица, величая, но не надменная, приветливая в силу своей учтивости, учтивая в силу своей благовоспитанности.

— Ваша правда,— заметил герцог,— однако ж позвольте мне, сеньор Дон Кихот, высказать ту мысль, на которую меня навела история ваших подвигов: допустим, что Дульсинея действительно существует и живет в Тобосо или же где-нибудь в другом месте и что она так прекрасна, как вы ее изображаете, однако в смысле знатности она не выдерживает сравнения с Орианой, Аластрахареёй*, Мадáсимою и прочими им подобными дамами, о которых мы читаем на каждой странице хорошо известных вам романов.

— На это я вам скажу,— снова заговорил Дон Кихот,— что Дульсинею должно судить по ее делам, что кровь облагораживают добродетели и что большего уважения заслуживает художник праведник, нежели знатный грешник. Между тем Дульсинея обладает такими свойствами, благодаря которым она может стать полновластною королевою: достоинства прекрасной и добродетельной женщины способны творить чудеса необыкновенные и если не явно, то, по крайней мере, в скрытом состоянии заключают в себе наивысшее благополучие.

— Я вижу, сеньор Дон Кихот,— заметила герцогиня,— что каждое ваше слово есть плод размышлений долгих, вы, как говорится, смотрите в глубь вещей, и теперь я вполне верю и заставлю поверить всех домашних моих и даже, в случае надобности, самого герцога, моего повелителя, что ёсть в Тобосо такая Дульсинея, что она прекрасна и родовита и что она вполне достойна, чтобы такой рыцарь, каков сеньор Дон Кихот, ей служил, а в моих устах это наивысшая похвала. Одно только обстоятельство все же меня смущает и вызывает несколько недоброжелательное чувство по отношению к Санчо Пансе. Смущает же меня вот что: в упомянутой книге говорится, что Санчо Панса, явившись к сеньоре Дульсинее с письмом от вашей милости, застал ее за просеиванием зерна, и в довершение всего говорится, что зерно было низкого сорта, и это как раз и вызывает у меня сомнение в знатности ее рода.

На это ей Дон Кихот ответил так:

— Государыня моя! Да будет известно вашему величию, что со мной всегда или почти всегда творятся вещи, совершенно не похожие на то, что обыкновенно случается со странствующими рыцарями, кто бы эти события ни направлял: неисповедимая воля рока или же коварство завистливого волшебника. Ведь уже установлено, что все или почти все славные странствующие рыцари обладали какой-либо счастливой особенностью: одного невозможно было заколдовать, других в силу непроницаемости их кожи нельзя было ранить, как, например, славного Роланда, одного из Двенадцати Пэров Франции,— о нем существует предание, что его нельзя было никуда поразить, кроме пятки левой

ноги, и никаким другим оружием, кроме острия толстой булавки, так что когда Бернардо дель Карпьо одолел его в Ронсевале, то, удостоверившись, что булат над ним не властен, и вспомнив, как Геркулес умертвил Антея, свирепого великана и якобы сына Земли, он поднял Роланда на руки и задушил. Из этого я делаю вывод, что, может статься, я тоже обладаю какой-нибудь такой особенностью, но только, во всяком случае, не неуязвимостью — я многократно убеждался на опыте, что кожа у меня нежная и весьма уязвимая, — и не неподвластностью волшебным чарам, ибо однажды меня посадили в клетку, куда никакая сила, кроме силы волшебства, не могла бы меня заточить, но коль скоро я все же вышел на свободу, то хочется думать, что никакие новые чары мне уже не повредят, и по сему обстоятельству волшебники, видя, что их козни на меня не действуют, вымещают свою злобу на той, что мне дороже всего: они глумятся над Дульсинеей, ради которой я только и живу на свете, и таким образом пытаются свести меня в могилу, и это дает мне основание полагать, что когда мой оруженосец явился к ней от меня с поручением, то они превратили ее в крестьянку и принудили исполнять столь черную работу, как просеивание зерна. Впрочем, как я уже имел случай заметить, то были не зерна, но перлы Востока, и в доказательство того, что это истинная правда, я хочу вам сказать, ваши высочества, что недавно я был в Тобосо, но так и не нашел дворца Дульсинеи, а на другой день она явилась оруженосцу моему Санчо в подлинном своем облике, то есть в облике первой красавицы во всем подлунном мире, а предо мной она предстала в виде невоспитанной, безобразной и не весьма рассудительной сельчанки, хотя на самом деле она вмещает в себе всю мудрость мира. И коль скоро я сам не заколдован и, если вдуматься, не могу быть заколдован, то, следственно, заколдованною, оскорбленною, превращенною, искаженною и подмененною является она и на ней выместили злобу мои недруги, вот почему я буду всечасно ее оплакивать до той поры, пока она не явится предо мною в первоначальном своем состоянии. Все это я говорю для того, чтобы рассказ Санчо о Дульсинеи, просеивающей и провеивающей зерно, никого не смущал: ведь если она предстала подмененною предо мной, то неудивительно, что искаженною явилась она и пред ним. Дульсинея — знатного и благородного происхождения, удел же ее, разумеется, не уступит жребию многочисленных старинных и весьма почтенных дворянских родов Тобосо, ибо только благодаря несравненной Дульсинеи град сей и станет знаменит и прославится в веках, подобно тому как Троя прославила Елена, только слава Дульсинеи будет еще громче. Еще надобно вам сказать, ваши светлости, что Санчо Панса — самый уморительный из всех оруженосцев, когда-либо странствующим рыцарям служивших. Простоватость его бывает подчас весьма остроумною, и угадывать, простоват он или же себе на уме, доставляет немалое удовольствие. Некоторые его хитрости обличают в нем плута, иные оплошности заставляют

думать, что он глупец. Он во всем сомневается и всему верит. Иной раз думаешь, что глупее его никого на свете нет, и вдруг он что-нибудь так умно скажет, что просто ахнешь от восторга,— одним словом, я не променял бы его ни на какого другого оруженосца, хотя бы в придачу мне предлагали целый город. И все же я сомневаюсь, стоит ли посылать его управлять островом, который ваше величие ему пожаловало, хотя и вижу в нем известные способности к управлению. Ему бы только хорошенько прочистить мозги, и тогда он управится с любым губернаторством не хуже, чем король с податями. Тем более мы знаем по долгому опыту: для того, чтобы быть губернатором, не надобно ни великого умения, ни великой учености,— сколько таких губернаторов, которые и читают-то по складам, а насчет управления — сущие орлы! Важно, чтоб они были преисполнены благих намерений и чтоб они добросовестно относились к делу, советники же и наставники у них всегда найдутся: ведь неученые губернаторы из дворян вершат суд непременно с помощью заседателя. Я бы, со своей стороны, посоветовал Санчо взяток не брать, но и подачей не упускать, и еще кое-что я берегу про запас, и в свое время все это будет мною изложено — на пользу Санчо и на благо острова, коим он призван управлять.

Такую беседу вели между собой герцог, герцогиня и Дон Кихот, как вдруг за дверью послышались громкие крики и шум, и вслед за тем в залу ворвался перепуганный насмерть Санчо, у которого вместо салфетки подвязан был мешок со щелочью и который подвергался преследованию множества челядинцев, точнее сказать — поварят и прочих людишек, причем один из них ташил лохань с водой, в которой, судя по ее цвету и не весьма чистому виду, вероятно, мыли посуду; поваренок этот гнался за Санчо по пятам и изо всех сил старался подставить ему лохань под самый подбородок, а другой был одержим стремлением вымыть ему бороду.

— Что это значит, друзья мои? — спросила герцогиня. — Что это значит? Что вы пристали к этому доброму человеку? Вы забыли, что он назначен губернатором?

На это поваренок-брадомой ответил ей так:

— Этот сеньор не желает мыться, а ведь у нас таков обычай, — сам герцог и его же собственный господин только что мылись.

— Нет, желаю, — в сильном гневе вымолвил Санчо, — но только мне бы хотелось, чтоб полотенца были почище, вода попрозрачнее и чтоб руки у них были не такие грязные: ведь не столь велика разница между мной и моим господином, чтоб его омывали святой водицей, а меня окатывали чертовыми этими помоями. Обычаи разных стран и княжеских палат тогда только и хороши, когда они не причиняют неприятностей, ну, а этот обряд омовения, который здесь установлен, хуже всякого самобичевания. Борода у меня чистая, и в подобном освежении я не нуждаюсь, а кто посмеет меня мыть, тому я, извините за выражение, башку сворочу на сто-

рону, потому все эти антимонии, то бишь церемонии, с намыливанием больше смахивают на издевательство, чем на уход за гостями.

Видя гнев Санчо и слушая его речи, герцогиня умирала со смеху, однако ж Дон Кихот не пришел в восторг от того, что на Санчо вместо полотенца красовалась грязная тряпка и что кухонная челядь над ним насмеялась, а посему, отвесив их светлостям глубокий поклон в знак того, что желает держать речь, он голосом, исполненным решимости, заговорил, обращаясь ко всей этой шушере:

— Эй вы, милостивые государи! Оставьте парня в покое и ступайте, откуда пришли или же куда вам вздумается! Оруженосец мой не грязнее всякого другого, и эта лоханка — совершенно неподходящий и унижительный для него сосуд. Послушайтесь моего совета — оставьте его, ибо ни он, ни я подобных шуток не любим.

Санчо подхватил и развил его мысль:

— Так только с бездомными бродягами можно шутить. Не будь я Санчо Панса, коли я это стерплю! Принесите гребенку или что-нибудь вроде этого и поскребите мне бороду, и если найдете в ней что-либо оскорбляющее вашу чистоплотность, то пусть меня тогда «лесенкой» остригут.

Тут, все еще смеясь, заговорила герцогиня:

— Санчо Панса прав во всем; что бы он ни сказал, он всегда будет прав. Он — чистый и, по его словам, в мытье не нуждается, и коль скоро обычай наш ему не по душе, то вольному воля. Вы же, блюстители чистоты, поступили необдуманно и опрометчиво, чтобы не сказать — дерзко, предложив такой особе вместо таза и кувшина из чистого золота и полотенца немецкой работы какие-то лоханки, деревянные корыта и полотенца для вытирания посуды. Впрочем, вы людишки дрянные и дурно воспитанные и настолько подлы, что не можете скрыть своей ненависти к оруженосцам странствующих рыцарей.

Не только кухонных дел мастера, но и сам дворецкий подумал, что герцогиня не шутит, а потому они сняли с Санчо тряпку и, смущенные и отчасти даже пристыженные, оставили его в покое и удалились, Санчо же, видя, что эта довольно грозная, в его представлении, опасность миновала, опустился перед герцогиней на колени и сказал:

— От великих сеньор великие и милости, вы же, ваша светлость, изволили оказать мне такую, что я могу отплатить за нее не иначе, как изъявив готовность быть посвященным в странствующие рыцари, чтобы потом до конца дней моих служить столь высокой сеньоре. Я — крестьянин, зовут меня Санчо Пансою, я женат, у меня есть дети, служу я оруженосцем, и если я чем-нибудь из этого могу быть вашему величию полезен, то вам стоит только приказать — и я к услугам вашей светлости.

— Сейчас видно, Санчо, что ты учился быть вежливым в

школе самой учтивости,— заметила герцогиня,— сейчас видно, хочу я сказать, что тебя взлелеял на своей груди сеньор Дон Кихот, а он, разумеется, верх учтивости и образец церемоний или же, как ты выражаешься, антимоний. Честь и хвала такому сеньору и такому слуге, ибо один — путеводная звезда для всего странствующего рыцарства, а другой — светоч для всех верных оруженосцев. Встань, друг Санчо, за свою учтивость ты будешь вознагражден: я попрошу герцога, моего повелителя, чтобы он как можно скорее пожаловал тебе обещанное губернаторство.

На этом разговор кончился, и Дон Кихот пошел отдохнуть после обеда, а герцогиня обратилась к Санчо с просьбой, если только, мол, ему не очень хочется спать, побыть с нею и с ее горничными девушками в весьма прохладной зале. Санчо ответил, что хотя летом он, сказать по совести, привык спать после обеда часиков пять кряду, однако ж, дабы отблагодарить герцогиню за ее доброту, приложит все усилия, чтобы исполнить ее повеление и не спать сегодня вовсе, и с этими словами удалился. Герцог же снова наказал слугам своим обходиться с Дон Кихотом как со странствующим рыцарем и твердо придерживаться того чина, который будто бы соблюдали странствующие рыцари стародавних времен.

ГЛАВА XXX

О приятной беседе герцогини и ее горничных девушек с Санчо Пансою, достойной быть прочитанною и отмеченною

Итак, Санчо после обеда не отдыхал: он сдержал свое слово и, пообедав, явился к герцогине, герцогиня же, предвкушая удовольствие послушать его, предложила ему сесть подле нее на низенький табурет, однако же Санчо, как человек в полном смысле слова благовоспитанный, от этой чести отказался, но герцогиня объявила, что он волен сидеть как губернатор, а говорить — как оруженосец. Санчо пожал плечами и покорно сел, все же дуэньи и горничные девушки герцогини окружили его и, совершенное храп и молчание, со вниманием приготовились слушать, однако ж герцогиня заговорила первая и начала так:

— Сейчас мы одни, никто нас не слышит, и мне бы хотелось, чтобы сеньор губернатор разрешил некоторые сомнения, явившиеся у меня при чтении недавно вышедшей в свет истории великого Дон Кихота. Одно из этих сомнений заключается в следующем: коль скоро добрый Санчо ни разу Дульсинею не видел, то есть, виновата: сеньору Дульсинею Тобосскую, и письма от сеньора Дон Кихота ей не передавал, потому что оно осталось в записной книжке в Сьерре Морене, то как же он позволил себе сочинить за нее ответ и выдумать, будто он застал ее за просеиванием зерна? Ведь все это ложь и обман и только порочит добрую славу несравненной Дульсины, а также роняет достоинство доброго оруженосца и не вяжется с долгом верности.

При этих словах Санчо Панса молча поднялся с табурета, согнулся в три погибели, приставил палец к губам и, заглядывая за все занавески, тихими шагами обошел залу; после этого он снова уселся и объявил:

— Вот теперь, государыня моя, когда я уверился, что никто, кроме присутствующих, нас украдкой не слушает, я безо всякого страха и волнения отвечу на ваш вопрос, а равно и на все, о чем бы вы меня ни спросили. Прежде всего я вам скажу: на мой взгляд, господин мой Дон Кихот — неизлечимо помешанный, хотя иной раз случается ему говорить такие правильные вещи и так вразумительно, что, по моему мнению, да и по мнению всех, кто бы его ни слушал, сам сатана лучше не скажет. Однако ж, если говорить по чистой совести и положив руку на сердце, то я совершенно уверен, что у него не все дома. А уж раз я это забрал себе в голову, то и осмеливаюсь внушать ему такое, что, право, на ногах не стоит, вроде ответа на письмо. А потом это самое, что было неделю назад, — оттого это и в книгу не попало, — насчет заколдованности сеньоры доньи Дульсины: ведь я уверил моего господина, что она заколдована, а это же чушь неусветная, сапоги всмятку.

Герцогиня попросила рассказать ей об этой проделке с колдовством, и Санчо рассказал все, как было, чем немало потешил слушателей, герцогиня же, продолжая начатый разговор, молвила:

— После того как я выслушала рассказ доброго Санчо, на душу мне пало новое сомнение, и некий голос мне шепчет: «Коль скоро Дон Кихот Ламанчский — сумасшедший, невменяемый и слабоумный, а его оруженосец Санчо Панса про то знает и, однако, продолжает состоять у него на службе, всюду сопровождает его и все еще верит его неисполнимым обещаниям, то, вне всякого сомнения, он еще безумнее и глупее своего господина. А когда так, то смотри, сеньора герцогиня, как бы ты не просчиталась, доверивши Санчо Пансе управление островом: ведь если он сам с собой не может управиться, то как же он будет управлять другими?»

— Ей-богу, сеньора, — отвечал Санчо, — сомнение это явилось у вас не зря, только скажите вашему голосу, чтоб он говорил погромче, а впрочем, как ему заблагорассудится, — я-то знаю, что говорит он дело: будь я с головой, давно бы я бросил моего господина. Но такая уж, видно, моя судьба и горькая доля, иначе не могу, должен я его сопровождать, и все тут: мы с ним из одного села, он меня кормил, я его люблю, он это ценит, даже ослят мне подарил, а главное, я человек верный, так что, кроме могилы, никто нас с ним разлучить не может. А ежели ваше высочество не соизволит пожаловать мне обещанный остров, стало быть, уж это господь бог сотворил меня таким незадачливым, а может, для души моей оно еще выйдет на пользу: я хоть и простоват, а все-таки смекаю, что значит пословица: «На беду у

муравья крылья выросли», и пожалуй, что Санчо-оруженосец скорее попадет в рай, нежели Санчо-губернатор. Свет не клином сошелся на губернаторстве, да и потом: ночью все кошки серы, и разнесчастный тот человек, у кого до двух часов пополудни маковой росинки во рту не бывает, и так на свете не водится, чтоб у одного брюхо было на целую пядь шире, чем у другого, а набить-то его можно чем хочешь, как говорится: хоть соломою, хоть житом, а вот птичек небесных сам господь кормит и питает, и четыре аршина толстого куэнкского сукна лучше греют, чем четыре аршина тоненького сеговийского*, а когда мы приказываем долго жить и нас закапывают в землю, то принц и черно-рабочий бредут по одинаково узкой тропе, и тело римского папы занимает столько же места в могиле, сколько и пономаря, хотя тот гораздо выше этого: когда нас опускают в яму, все мы скорчиваемся и скрючиваемся, или, вернее, нас, хочешь не хочешь, скорчивают, скрючивают,— и спокойной ночи! И я еще раз говорю: если ваша светлость не захочет пожаловать мне остров, потому как я глуп, то я и не охну — и сойду за умника.

— Добрый Санчо, уж верно, знает,— возразила герцогиня,— что если дворянин что-либо пообещал, то постарается это исполнить даже ценою собственной жизни. Герцог, мой муж и повелитель, хотя и не из странствующих, а все же рыцарь, и потому сдержит свое слово касательно обещанного острова наперекор зависти и злобе всего мира. Итак, Санчо, воспрянь духом: в один прекрасный день ты будешь возведен на престол своего острова и государства, примешь бразды правления, и дай бог тебе жить, поживать да добра наживать. Единственно, что я вменяю тебе в обязанность, это как можно лучше управлять своими вассалами: предуведомляю тебя, что все они — люди честные и благородные.

— Насчет того, чтобы управлять по-хорошему, меня просить не нужно,— объявил Санчо,— душа у меня добрая, и бедняков я жалею, а кто сами месят да пекут, у тех краюхи не крадут, и, бог свидетель, при мне никто карты не передернет, я — старый воробей: меня на мякине не проведешь, я знаю, когда нужно ухо остро держать, и в грязь лицом не ударю, потому я знаю, где собака зарыта, и говорю я все это к тому, что для добрых людей я в лепешку расшибусь, а для дурных — вот бог, а вот порог. И сдается мне, что в управлении страной лиха беда — начало, и, может статься, недельки через две я так наловчусь губернаторствовать, что буду понимать в нем толк побольше, нежели в хлебопашестве, хоть я и хлебопашец от молодых ногтей.

— Твоя правда, Санчо,— заметила герцогиня,— ученым никто не родится, даже епископы делаются из людей, а не из камней. Но возвратимся к тому, о чем мы только что говорили, а именно к заколдованности сеньоры Дульсины. Мне представляется несомненным и более чем достоверным, что вся эта затея

Санчо, вознамерившегося подшутить над своим господином и внушить ему, будто сельчанка — Дульсинея, а если, мол, он ее не узнаёт, так это потому, что она заколдована,— все это про-иски кого-нибудь из волшебников, преследующих сеньора Дон Кихота. Ведь мне из верных источников доподлинно и точно известно, что сельчанка, вспрыгнувшая на ослицу, была и есть Дульсинея Тобосская и что добрый Санчо, рассчитывая обмануть другого, сам дался в обман. И, к сведению сеньора Санчо Пансы, у нас тут тоже есть свои волшебники, которые нас любят и которые откровенно и правдиво, без уверток и обвиняков, докладывают нам, что творится на белом свете. И пусть он мне поверит, что сельчанка-попрыгунья была и есть Дульсинея Тобосская и что она так же заколдована, как мы с вами, и в один прекрасный день она предстанет пред нами в подлинном своем обличье, и тогда Санчо поймет, как он заблуждался.

— Очень может быть,— снова заговорил Санчо,— и теперь уж я готов поверить всему, что мой господин рассказывал про то, что видел в пещере Монтесиноса: будто бы он там видел сеньору Дульсинею Тобосскую в том самом одеянии и наряде, в котором будто бы видел Дульсинею я, когда на меня вдруг нашла блажь ее заколдовать, нашла-то нашла, а обернулось все по-другому,— уж верно, так, как вы, государыня моя, говорите, потому от моего темного умишка нельзя и не должно ожидать, чтоб он в один миг измыслил такую ловкую штуку, да и не настолько, думается, мой господин невменяем, чтобы мои шаткие и слабые доводы могли уверить его в том, что просто из ряду вон. Но все-таки, сеньора, пусть ваше добродушие не думает, что я человек зловредный: ведь такой чурбан, как я, не обязан видеть насквозь тайные мысли и каверзы распроклятых волшебников,— я все это придумал, чтоб избежать попреков сеньора Дон Кихота, а не затем, чтоб ему повредить, а коли вышло наоборот, то ведь бог там, на небе, *знает сердца наши*.

— И то правда,— заметила герцогиня.— А теперь скажи мне, Санчо, что это ты толковал про пещеру Монтесиноса? Мне весьма любопытно это знать.

Тут Санчо Панса во всех подробностях рассказал о приключении, описанном выше. Герцогиня же, выслушав его, сказала:

— Из этого происшествия можно сделать вот какой вывод: если досточтимый Дон Кихот утверждает, что видел там ту самую сельчанку, которую Санчо видел близ Тобосо, то, разумеется, это и есть Дульсинея, и, следовательно, волшебники — народ в высшей степени шустрый и прыткий.

— Вот и я тоже говорю,— подхватил Санчо Панса,— коли сеньора Дульсинея Тобосская заколдована, то тем хуже для нее, а я не намерен связываться с недругами моего господина: их, поди, гибель, и все, как на подбор, злющие. Говоря по чистой совести, я видел крестьянку, и за крестьянку ее принял, и за крестьянку ее почитаю, а если это была Дульсинея, то я тут ни

сном ни духом, и мне до этого никакого дела нет, иначе я рассержусь. Что это, в самом деле, так и ходят за мной по пятам, и всё: «Шу-шу-шу, шу-шу-шу, Санчо сказал то-то, Санчо сделал то-то, Санчо пошел, Санчо пришел», как будто Санчо — это невесть кто, а не тот самый Санчо, про которого весь свет узнал из книжек, — так, по крайности, мне говорил Самсон Карраско, а ведь он в Саламанке всем бакалаврам бакалавр, а такие обыкновенно не врут, разве только им страх как захочется или уж очень понадобится. Так что пусть от меня отстанут, а коли слава обо мне добрая — притом же я слышал от моего господина, что доброе имя дороже всякого богатства, — то приспособьте мне губернаторство, и вы увидите, каких я чудес натворю, и то сказать: хороший оруженосец не может быть плохим губернатором.

— Я думаю! — молвила герцогиня. — Ну, а теперь, Санчо, ступай отдохни, потом мы еще более подробно обо всем поговорим и примем меры, чтобы тебе поскорее приспособили, как ты выражаешься, губернаторство.

Санчо опять поцеловал герцогине руки и попросил в виде особого одолжения позаботиться о его сером, ибо это, мол, свет его очей.

— О каком таком сером? — осведомилась герцогиня.

— О моем осле, — отвечал Санчо. — Чтобы не называть его этим именем, я обыкновенно говорю: «серый».

— Уж если для Санчо это такая драгоценность, я буду беречь его как зеницу ока, — объявила герцогиня.

— Довольно, если вы будете беречь его просто как осла, — возразил Санчо, — мы с моим ослом — люди простые, и мы лучше согласимся, чтоб нас кинжалом пырнули, нежели быть вам в тягость. Правда, мой господин говорит, что в изъявлении учтивости лучше пересолить, чем недосолить, а все-таки когда речь идет об их ослейшествах, то здесь должно соблюдать меру и держаться середины.

— Возьми-ка осла с собой, Санчо, когда отправишься управлять, — сказала герцогиня, — там он у тебя будет в холе, и работать ему не придется.

— А что вы думаете, сеньора герцогиня? — сказал Санчо. — Я сам не раз видел, как посылали ослов управлять, так что если я возьму с собой своего, то никого этим не удивлю.

Слова Санчо снова рассмешили и позабавили герцогиню, и, послав его отдохнуть, она пошла к герцогу, чтобы передать ему весь разговор; и между ними двумя было решено и условлено, что они сыграют с Дон Кихотом отличную шутку; и притом совершенно в духе рыцарства; и они, правда, сыграли с ним не одну, а много подобных шуток, весьма уместных и острых, представляющих собою лучшие из приключений, какие только великая эта история в себе содержит.

ГЛАВА XXXI,

в коей рассказывается о том, как был изобретен способ расколдовать несравненную Дульсинею Тобосскую, что составляет одно из наиславнейших приключений во всей этой книге

Великое удовольствие доставляли герцогу и герцогине беседы с Дон Кихотом и Санчо Пансою; и, утвердившись в намерении сыграть с ними шутку, которая отзывала бы и пахла приключением, порешили они, дабы устроить им приключение воистину славное, ухватиться за нить Донкихотова повествования о пещере Монтесиноса (впрочем, герцогиню всего более восхищало простодушие Санчо, которое доходило до того, что он признал за непреложную истину, будто Дульсинея Тобосская заколдована, хотя сам же он выступал в качестве колдуна и сам же все это подстроил); и вот, через шесть дней по прибытии Дон Кихота в замок, герцог и герцогиня, отдавши слугам надлежащие распоряжения, повезли его на псовую охоту, в коей принимало участие столько загонщиков и выжлятников*, сколько может быть только на королевской охоте. Дон Кихоту предложили охотничий наряд, а равно и Санчо — зеленый, превосходного сукна, однако ж Дон Кихот от наряда отказался, объявив, что скоро ему предстоит возвратиться к суровой походной жизни и что он не имеет возможности возить с собой гардероб и всякие прочие пожитки. Санчо же взял платье в расчете продать его при первом случае.

Итак, в назначенный день Дон Кихот облачился в свои доспехи, а Санчо переоделся и верхом на сером, с которым он не пожелал расстаться, несмотря на то что ему предлагали знатного коня, присоединился к загонщикам; затем вышла разряженная герцогиня, и Дон Кихот, как учтивый и любезный кавалер, не позволил герцогу ей помочь и тотчас же взял ее иноходца под уздцы. Наконец приблизились они к лесу, росшему между двух весьма высоких гор, и, после того как все лазы, стоянки и охотничьи домики были распределены и люди разошлись по разным местам, началась охота и поднялись невообразимый шум, гам и улюлюканье, так что из-за лая собак и звука рогов люди не слышали друг друга.

Герцогиня сошла с коня и, держа в руках острый дротик, стала там, где, сколько ей было известно, имели обыкновение пробегать кабаны. Герцог и Дон Кихот также спешились и стали по правую и по левую ее руку; Санчо же выбрал себе место сзади нее, — он так и не слез с осла, коего не решался оставить из боязни, как бы с ним не вышло чего-нибудь худого. И едва лишь герцог, герцогиня и Дон Кихот со многочисленную прислугою спешились и выстроились в ряд, как вдруг прямо на них, весь в пене, шелкая зубами и клыками, вымахнул огромный кабан, коего травили собаки и гнали выжлятники.

При виде его Дон Кихот заградился щитом, выхватил меч и двинулся ему навстречу, герцог с дротиком в руках — за ним, герцогиня же, не удержав ее вовремя герцог, непременно опередила бы их обоих. Один лишь Санчо при виде большущего зверя соскочил с серого, сломя голову пустился бежать и попытался вскарабкаться на высокий дуб, но это ему не удалось; добравшись до середины дерева, он ухватился было за ветку, дабы затем достигнуть вершины, однако ж ему не посчастливилось и не повезло, ибо ветка обломилась, и он полетел вниз, но, зацепившись за сук и не будучи в состоянии достать ногами до земли, повис в воздухе. Очутившись в таком положении, видя, что его зеленое полукафтанье трещит по всем швам, и вообразив, что если страшный зверь побежит в эту сторону, то непременно его достанет, он начал так громко кричать и так настойчиво звать на помощь, что все те, кто слышал его, но не видел, были уверены, что он в пасти у дикого зверя. Наконец клыкастый кабан, пронзенный множеством дротиков, рухнул; тогда Дон Кихот, узнав Санчо по голосу, повернулся в ту сторону, откуда доносились крики, и увидел, что Санчо вверх ногами висит на дубе, а подле него стоит серый, не захотевший покинуть его в беде.

Дон Кихот подъехал и снял Санчо с дерева, и как скоро Санчо почувствовал, что он свободен и что под ним твердая почва, то взглянул на свое порванное охотничье полукафтанье, и сердце у него сжалось, ибо он полагал, что такой наряд стоит целого состояния. Тем временем громадную кабанью тушу взвалили на мула, прикрыли ветками розмарина и мирта и, как победный трофей, доставили в обширную палатку, разбитую на лесной поляне; там уже были расставлены столы и приготовлена такая обильная и роскошная трапеза, что по ней одной можно было судить о щедрости и великолепии хозяев. Санчо показал герцогине дыры на своем порванном платье и сказал:

— Если б мы охотились на зайцев или же на пташек, то я ручаюсь, что мое полукафтанье не имело бы такого вида. Не понимаю, что за удовольствие ожидать зверя, который коли пырнет клыком, так из вас душа вон. Не люблю я, когда вельможи и короли подвергают себя таким опасностям будто бы ради удовольствия, да и удовольствия-то я никакого не нахожу в убийстве ни в чем не повинного животного.

— Нет, Санчо, ты ошибаешься, — возразил герцог, — нет занятия более подходящего и более необходимого для королей и вельмож, нежели псовая охота. Охота — это прообраз войны: на охоте также есть свои военные хитрости, засады и ловушки, дабы можно было без риска для себя одолеть противника. На охоте мы терпим и дикий холод и палящий зной, презираем и сон и негу, укрепляем свои силы, упражняем наше тело, чтобы оно сделалось более гибким, — одним словом, это занятие вреда никому не причиняет, а удовольствие доставляет многим. Итак, Санчо, измени свое мнение, и когда будешь губернаторствовать, то

выезжай на охоту, и ты сам увидишь, что это пойдет тебе на пользу.

— Ну уж нет,— возразил Санчо,— губернатор честный — сиди дома, и ни с места. Хорош бы он был: к нему просители по самонужнейшему делу, а он себе развлекается в лесу! Да этак у него все государство развалится! По правде вам скажу, сеньор: охота и всякие иные потехи — это скорей по части бездельников, нежели губернаторов. Я же для препровождения времени по большим праздникам буду играть в «свои козыри», а по воскресеньям и в небольшие праздники — в кегли, а все эти охоты да чертохоты — не в моем духе, да и совесть мне этого не позволит.

— Дай бог, Санчо, чтобы так оно и было. На словах-то мы все, как на гусях.

— Что вы там ни говорите,— возразил Санчо,— а исправному плательщику залог не страшен, и не у того дело спорится, кто до свету встать не ленится, а кому от бога подмога, и ведь не ноги над брюхом начальники, а брюхо над ногами. Я хочу сказать, что если господь мне поможет и я честно буду исполнять свой долг, то, без сомнения, из меня выйдет орел, а не губернатор, мне палец в рот не клади!

— А, чтоб ты пропал, нечистая сила! — воскликнул Дон Кихот.— Когда же ты, Санчо, заговоришь без пословиц, плавно и связно, как я тебя столько раз учил? А вы, государи мои, лучше не трогайте этого болвана, он вам душу вымотает своими пословицами: у него их не две и не три, а невесть сколько, и приводит он их, дай бог ему здоровья, а заодно и мне, если только я соглашусь его слушать, всегда так вовремя и так кстати, что просто сил никаких нет.

Беседуя о таких и им подобных занятных вещах, оставили они палатку и отправились в лес, и в осмотре охотничьих домиков и стоянок прошел у них весь день, и неприметно спустилась ночь, однако ж не та ясная и тихая ночь, какие обыкновенно стоят в эту пору, то есть в середине лета; между тем окутавшая предметы полумгла весьма благоприятствовала затее герцога и герцогини, и вот, когда сумерки сгустились, внезапно как бы со всех концов запылал лес, и вслед за тем справа и слева, там и сям слышались звуки множества рожков и других военных инструментов, словно по лесу двигалась неисчислимая конная рать. Сверканье огней и звуки военной музыки ослепили и оглушили всех присутствовавших, даже самих участников заговора. Затем со всех сторон стало доноситься: «Алла ил алла!»*, как обыкновенно кричат мавры, когда бросаются в бой, зазвучали трубы и кларнеты, забили барабаны, запели флейты, все почти в одно время, неумолчно и громко, так что только бесчувственный человек мог бы не впасть в бесчувствие при нестройных звуках стольких инструментов. Герцог оцепенел, герцогиня была поражена, Дон Кихот пришел в изумление, Санчо Панса затрясся, даже участники заговора — и те испугались. От

страха никто не мог вымолвить слова, и тут перед ними предстал гонец: одет он был чертом, а вместо корнета у него был невероятных размеров, с огромным отверстием рог, издававший хриплые и зловещие звуки.

— Гей, любезный гонец! — окликнул его герцог. — Кто ты таков, куда путь держишь и что это за войско словно бы движется по лесу?

На это гонец громовым и ужасным голосом ответил так:

— Я — дьявол, я ищу Дон Кихота Ламанчского, а по лесу едут шесть отрядов волшебников и везут на триумфальной колеснице несравненную Дульсинею Тобосскую. Она едет сюда заколдованная, вместе с храбрым французом Монтесином, дабы уведомить Дон Кихота, каким образом можно ее расколдовать.

— Когда бы ты был дьявол, как ты уверяешь и как это можно заключить по твоей образине, ты бы уж давно догадался, что Дон Кихот Ламанчский — вот он, перед тобой.

— Клянусь богом и своею совестью, я его не заметил, — молвил дьявол, — у меня так забита голова, что главное-то я и упустил из виду.

— Стало быть, этот черт — человек почтенный и добрый христианин, — заметил Санчо, — иначе он не стал бы клясться богом и своею совестью. Я начинаю думать, что и в аду можно встретить добрых людей.

Тут дьявол, не сходя с коня, повернулся лицом к Дон Кихоту и сказал:

— К тебе, Рыцарь Львов (чтоб ты попал к ним в когти!), послал меня злосчастный, но отважный рыцарь Монтесинос и велел передать, чтобы ты дожидался его на том самом месте, где я с тобою встречу: он везет с собой так называемую Дульсинею Тобосскую и должен тебе поведать, что должно предпринять, дабы расколдовать ее. А так как не о чем мне больше с тобой разговаривать, то и незачем мне тут оставаться. Итак, значит, черти — с тобой, такие же точно, как я, а с вами, сеньоры, — добрые ангелы.

Произнеся эти слова, он затрубил в свой чудовищный рог и, не дождавшись ответа, поворотил коня и исчез.

Все снова пришли в изумление, особенно Санчо и Дон Кихот: Санчо — оттого, что все наперекор истине в один голос твердили, что Дульсинея заколдована, Дон Кихот же — оттого, что он сам не был уверен, точно ли происходили с ним разные события в пещере Монтесиноса. И он все еще занят был этими мыслями, когда герцог спросил его:

— Вы намерены дожидаться, сеньор Дон Кихот?

— А как же иначе? — отвечал Дон Кихот. — Если даже на меня весь ад ополчится, я все равно буду ждать — бесстрашно и непоколебимо.

— Ну, а если мне доведется увидеть еще одного черта и

услышать другой такой рог,— объявил Санчо,— то я уж буду дожидаться где-нибудь во Фландрии.

Тем временем стало совсем темно, и в лесу замелькали огоньки, подобно тому как в небе мелькают сухие испарения земли, которые нашему взору представляются падающими звездами. Вслед за тем послышался страшный шум, как если бы заскрипели колеса телег, запряженных волами; говорят, будто бы это немолчное и пронзительное скрипение пугает даже волков и медведей. К этому бедствию присоединилось новое, горше прежнего, а именно: присутствовавшим показалось, будто на всех четырех концах леса одновременно происходят стычки и сражения, ибо вон в той стороне раздавался тяжкий и устрашающий грохот орудий, там шла частая стрельба из мушкетов, где-то совсем близко слышались клики бойцов, издали долетали непрекращавшиеся вопли мавров: «Алла ил алла*!» Одним словом, корнеты, охотничьи рога, рожки, кларнеты, трубы, барабаны, пушки, аркебузы, а главное, ужасный скрип телег — все сливалось в такой нестройный и такой ужасающий гул, что Дон Кихоту, дабы не дрогнуть, пришлось собрать все свое мужество, меж тем как Санчо оплошал и без чувств повалился на землю. Герцогиня велела брызнуть ему в лицо водой. Его сбрызнули, и очнувшись он как раз в ту минуту, когда показалась одна из повозок на скрипучих колесах.

Повозку тащила четверка ленивых волов, покрытых черными попонами; к рогам каждого из них был привязан большой горящий факел из воска, а на самой колеснице было устроено высокое сиденье, на котором расположился маститый старец с длиною, ниже пояса, бородою блее снега, одетый в широкую хламиду из черного холста; колесница была ярко освещена, а потому различить и заметить все, что на ней было, не составляло труда. Обязанности возницы исполняли два безобразных демона, облаченные в такие же холщовые балахоны, и рожи у них были до того мерзкие, что Санчо, едва взглянув, тотчас зажмурился, чтобы больше их не видеть. Когда же колесница поравнялась со стоянкой, маститый старец поднялся со своего высокого сиденья и, вытянувшись во весь рост, громогласно возопил:

— Я — мудрец Лиргандей!*

Больше он ничего не сказал, и колесница покатила дальше. Затем показалась другая такая же колесница со старцем на троне; старец подал знак, колесница остановилась, и тогда он не менее торжественно, чем первый, возгласил:

— Я — мудрец Алкиф, искренний приятель Урганды Неуловимой!

И поехал дальше.

Вслед за тем таким же образом подъехала третья колесница, однако же на сей раз на троне восседал не старец, а ражий детина с разбойничьей физиономией; подъехав, он поднялся с места, как и те двое, и еще более хриплым и злобным голосом произнес:

— Я — волшебник Аркалай*, заклятый враг Амадиса Галльского и всех сродников его!

И поехал дальше.

Отъехав немного в сторону, все три колесницы остановились, докучный скрип колес прекратился, в лесу воцарилась совершенная тишина, и тогда послышались звуки музыки, нежные и согласные, отчего Санчо возликовал, ибо почел это за доброе предзнаменование; и по сему обстоятельству он обратился к герцогине, от которой все это время не отходил ни на один шаг и ни на одно мгновение, с такими словами:

— Сеньора! Где играет музыка, там не может быть ничего худого.

— Так же точно и там, где вспыхивают огоньки и где светло,— отозвалась герцогиня.

Санчо же ей возразил:

— Вспышки — это от пальбы, а свет бывает от костров, вот как сейчас вокруг нас, и они еще отлично могут нас поджарить, а уж где музыка — там, наверно, празднуют и веселятся.

— Это еще неизвестно,— сказал Дон Кихот, слышавший весь этот разговор.

И он оказался прав, как то будет видно из следующей главы.

ГЛАВА XXXII,

*в коей продолжается рассказ о том,
как Дон Кихот узнал о способе расколдовать Дульсинею,
а равно и о других удивительных происшествиях*

Тут все увидели, что под звуки этой приятной музыки к ним приближается нечто вроде триумфальной колесницы, запряженной шестеркою гнедых мулов, покрытых белыми попонами, и на каждом из мулов сидел кающийся в белой одежде, с большим зажженным восковым факелом в руке. Была сия колесница раза в два, а то и в три больше прежних, на самой колеснице и по краям ее помещалось еще двенадцать кающихся в белоснежных одеяниях и с зажженными факелами, каковое зрелище приводило в восхищение и вместе в ужас, а на высоком троне восседала нимфа под множеством покрывал из серебристой ткани, сплошь усыпанных золотыми блестками, что придавало не весьма богатому ее наряду особую яркость. Лицо ее было прикрыто прозрачным и легким газом, сквозь его складки проглядывали очаровательные девичьи черты, а множество факелов, ее освещавших, позволяли судить о красоте ее и возрасте, каковой, по-видимому, не достигал двадцати лет и был не ниже семнадцати. Рядом с нею сидела фигура под черным покрывалом, в платье, доходившем до пят, с длинным шлейфом. Колесница остановилась прямо перед герцогом, герцогиней и Дон Кихотом, и в то же мгновение на

ней смолкли звуки гобоев, арф и лютней, фигура же встала с места, распахнула свою длинную одежду, откинула покрывало, и тут все ясно увидели, что это сама Смерть, костлявая и безобразная, при взгляде на которую Дон Кихот содрогнулся, Санчо струхнул, и даже герцогу с герцогиней стало не по себе.

Поднявшись и вытянувшись во весь рост, эта живая Смерть несколько сонным голосом и слегка заплетающимся языком заговорила так:

Я — тот Мерлин*, которому отцом
Был дьявол, как преданья утверждают.
Узнай, о муж, прославленный навеки
Геройскими деяньями, узнай,
Испании звезда, Ламанчи солнце,
Разумный и учтивый Дон Кихот,
Что обрести первоначальный облик
Сладчайшей Дульсинеи из Тобосо
Удастся, к сожалению, не раньше,
Чем Санчо, твой оруженосец верный,
По доброй воле под открытым небом
Три тысячи и триста раз огреет
Себя по голым ягодицам плетью
Так, чтоб зудел, горел и саднил зад.
Решенье это, с коим согласились
Все, кто в ее несчастье виновен,
Я и пришел, сеньоры, объявить.

— Да ну тебя! — вскричал тут Санчо. — Какое там три тысячи — для меня и три удара плеткой все равно что три удара кинжалом. Пошел ты к черту с таким способом расколдовывать! Не понимаю, какое отношение имеют мои ягодицы к волшебным чарам! Ей-богу, если только сеньор Мерлин не найдет другого способа расколдовать сеньору Дульсинею Тобосскую, то пусть она и в гроб сойдет заколдованная!

— А вот я сейчас схвачу вас, дрянь паршивая, — заговорил Дон Кихот, — в чем мать родила привяжу к дереву и не то что три тысячи триста плетей, а и все шесть тысяч шестьсот влеплю, да так, что, дергайтесь вы хоть три тысячи триста раз, они все равно не отлепятся. И не смейте возражать, иначе я из вас душу вытрясу.

Но тут вмешался Мерлин:

— Нет, так не годится, на эту порку добрый Санчо должен пойти добровольно, а не по принуждению, и притом — когда он сам пожелает, ибо никакого определенного срока не установлено. Кроме того, бичевание будет сокращено вдвое, если только он согласится, чтобы другую половину ударов нанесла ему чужая рука, хотя бы и увесистая.

— Ни чужая, ни собственная, ни увесистая, ни развесистая, — объявил Санчо, — никакая рука не должна меня трогать. Я, что

ли, родил сеньору Дульсинею Тобосскую? Так почему же мне своими ягодицами приходится расплачиваться за ее грешные очи? Вот мой господин уж подлинно составляет часть ее самой, потому он беспрестанно называет ее своей *жизнью, душою, опорой и поддержкой*, и он может и должен отстегать себя ради нее и сделать все, лишь бы только она была расколдована, но чтобы я себя стал хлестать?.. Нипочем!

Только успел Санчо это вымолвить, как серебристая нимфа, сидевшая рядом с духом Мерлина, вскочила, откинула тонкое покрывало, под которым оказалось необыкновенной красоты лицо, и, обращаясь непосредственно к Санчо Пансе, с чисто мужской развязностью и не весьма нежным голосом заговорила:

— О незадачливый оруженосец, баранья твоя голова, дубовое сердце, булыжные и кремневые внутренности! Если б тебе приказали, наглая рожа, броситься с высокой башни на землю, если б тебя попросили, враг человеческого рода, сожрать дюжину жаб, две дюжины ящериц и три дюжины змей; если б тебя уговаривали зверски зарезать жену и детей кривою и острою саблей, то твое ломанье и отлынивание никого бы не удивили, но придавать значение трем тысячам тремстам плетям, в то время как любой скверный мальчишка ежемесячно получает столько же,— вот что изумляет, поражает, ужасает все добрые души, которые внимают здесь твоим словам, и ужаснет еще всех тех, которые со временем об этом узнают. Уставь, гнусное, бесчувственное животное, уставь, говорят тебе, свои буркалы, как у испуганного филина, на мои очи, подобные сияющим звездам, и ты увидишь, как поток за потоком и ручей за ручьем струятся из них слезы, образуя промоины, канавки и дорожки на прекрасных равнинах моих ланит. Сжался, прощелыга и зловерное чудовище, над цветущими моими летами, до сих пор еще не перевалившими за второй десяток: ведь мне всего только девятнадцать, а двадцати еще нет, и вот я чахну и увядаю под грубой мужицкой оболочкой, и если я сейчас не кажусь мужичкою, то это благодаря здесь присутствующему сеньору Мерлину, который сделал мне особое одолжение единственно для того, чтобы моя красота тебя тронула, ибо слезы скорбящей красавицы обращают утесы в хлопок, а тигров в овец. Хлещи же, хлещи себя по мясам, скот немыслимый, пробуди свою удаль, которая направлена у тебя на обжорство и только на обжорство, и возврати мне нежность кожи, кротость нрава и красоту лица. Если же ради меня ты не пожелаешь смягчиться и прийти к разумному решению, то решишь хотя бы ради несчастного этого рыцаря, что стоит подле тебя, то есть ради твоего господина, которого душа мне сейчас видна: она застряла у него в горле на расстоянии десяти пальцев от губ и намерена, смотря по тому, каков будет твой ответ — суров ли, благоприятен ли,— вылететь из его уст или же возвратиться к нему в утробу.

При этих словах Дон Кихот пощупал себе горло и, обратясь к герцогу, молвил:

— Клянусь богом, сеньор, Дульсинея говорит правду: душа и впрямь застряла у меня в горле, будто арбалетное ядрышко.

— Хотел бы я знать, — заговорил Санчо, — где это моя госпожа сеньора донья Дульсинея Тобосская слышала, чтобы так просили: сама же добывается от меня, чтобы я согласился себе шкуру спустить, и обзывает меня при этом бараньей головой, скотом немыслимым и ругает на чем свет стоит, так что сам черт вышел бы из терпения. Да что, в самом деле, тело-то у меня каменное, или же меня хоть сколько-нибудь касается, заколдована она или нет? Другая, чтоб задобрить, корзину белья с собой привезла бы, сорочек, платков и полусапожек, хоть я их и не ношу, а эта то и знай бранится — видно, забыла, как у нас говорят: навьючъ осла золотом — он тебе и в гору бегом побежит, а подарки скалу прошибают, а у бога просить не стыдись, но и потрудиться для него не ленись, и синица в руках лучше, чем журавль в небе. А тут еще мой господин, вместо того чтобы меня умаслить и по шерстке погладить, — он, мол, тогда станет мягкий, как воск, лепи из него что хочешь, — объявляет, что схватит меня, привяжет голым к дереву и всыплет двойную порцию розог. И пусть все эти прискорбные сеньоры возьмут в толк, что они добиваются порки не какого-нибудь там оруженосца, а губернатора — поднимай, как говорится, выше. Нет, прах их побери, пусть сначала научатся просить, научатся уговаривать и станут повежливее, а то день на день не похож, и не всегда человек в духе бывает. Я сейчас готов лопнуть с досады, что мое зеленое полукафтанье в клочьях, а тут еще меня просят, чтоб я дал себя высечь по собственному хотению, а мне этого так же хочется, как все равно превратиться в касика*.

— Скажу тебе по чести, друг Санчо, — молвил герцог, — что если ты не сделаешься мягче спелой фиги, то не получишь острова. Разве у меня хватит совести послать к моим островитянам жестокосердного губернатора, чье каменное сердце не тронут ни слезы страждущих девиц, ни мольбы благоразумных, могущественных и древних волшебников и мудрецов? Одним словом, Санчо, или ты сам себя высечешь, или тебя высекут, или не бывать тебе губернатором.

— Сеньор! — сказал Санчо. — Нельзя ли дать мне два дня сроку, чтобы я подумал, как лучше поступить?

— Ни в коем случае, — возразил Мерлин. — Это дело должно быть решено тут же и сию минуту: либо Дульсинея возвратится в пещеру Монтесиноса и снова примет облик крестьянки, либо в том виде, какой она имеет сейчас, ее вознесут в Елисейские поля, и там она будет ждать, доколе положенное число розог не будет отсчитано полностью.

— Ну же, добрый Санчо, — сказала герцогиня, — наберись храбрости и отплати добром за хлеб, который ты ел у своего

господина Дон Кихота. Все мы обязаны оказывать ему услуги и ублажать его за добрый нрав и высокие рыцарские деяния. Дай же, дружок, свое согласие на порку и не празднуй труса: ведь ты сам хорошо знаешь, что храброе сердце злую судьбу ломает.

Вместо ответа Санчо повел с Мерлином такую глупую речь:

— Сделайте милость, сеньор Мерлин, растолкуйте мне: сюда под видом гонца являлся черт и от имени сеньора Монтесиноса сказал моему господину, чтобы тот ждал его здесь, потому он сам, дескать, сюда прибудет и научит, как расколдовать сеньору донью Дульсинею Тобосскую, но до сих пор мы никакого Монтесиноса в глаза не видали.

Мерлин же ему на это ответил так:

— Друг Санчо! Этот черт — невежда и презренный мерзавец: я посылал его к твоему господину с поручением вовсе не от Монтесиноса, а от себя самого, Монтесинос же сидит в своей пещере и, можно сказать, ждет не дождется, чтобы его расколдовали, так что он и рад бы в рай, да грехи не пускают. Если же он у тебя в долгу, либо если у тебя есть к нему дело, то я живо тебе его доставлю и отведу, куда скажешь. А пока что соглашайся скорей на порку — уверяю тебя, что это будет тебе очень полезно как для души, так и для тела: для души — потому что ты тем самым оказываешь благодеяние, а для тела — потому что, сколько мне известно, ты человек полнокровный и легкое кровопускание не может тебе повредить.

— Больно много лекарей развелось на свете: волшебники — и те лекарями заделались! — заметил Санчо. — Ну, коли все меня уговаривают, хотя сам-то я смотрю на это дело по-другому, так и быть, я согласен нанести себе три тысячи триста ударов плетью с условием, однако ж, что я буду себя пороть, когда мне это заблагорассудится, и что никто мне не будет указывать день и час, я же, со своей стороны, постараюсь разделаться с этим возможно скорее, чтобы все могли полюбоваться красотой сеньоры доньи Дульсинеи Тобосской, а ведь она, сверх ожидания, видно, и впрямь красавица. Еще я ставлю условием, что я не обязан сечь себя до крови и что если иные удары только мух спугнут, все-таки они будут мне зачтены. Равным образом, ежели я собою счю, то пусть сеньор Мерлин, который все умеет, потрудится подсчитать и уведомить меня, сколько недостает или же сколько лишку.

— О лишке уведомлять не придется, — возразил Мерлин, — чуть только положенное число ударов будет отпущено, сеньора Дульсинея внезапно расколдуется и из чувства признательности явится поблагодарить доброго Санчо и даже наградить его за доброе дело. Так что ни о лишке, ни о недостатке ты не беспокойся, да и небо не позволит мне хотя на волос тебя обмануть.

— Ну так господи благослови! — воскликнул Санчо. — Я покляжусь горькой моей судьбине.

Только Санчо успел это вымолвить, как снова затрубили тру-

бы, снова затрещали бесчисленные аркебузные выстрелы, а Дон Кихот бросился Санчо на шею и стал целовать его в лоб и в щеки. Герцогиня, герцог и все прочие выразили свой восторг, и колесница тронулась с места; и при отъезде Дульсинея отвесила поклон герцогу с герцогиней и особенно глубокий — Санчо.

А между тем на небе все ярче разгоралась заря, радостная и смеющаяся, полевые цветы поднимали головки, а хрустальные воды ручейков, журча меж белых и желтых камешков, понесли свою дань ожидавшим их рекам. Ликующая земля, ясное небо, прозрачный воздух, яркий свет — все это, и вместе и порознь, возвещало, что день, стремившийся вослед Авроре, обещает быть тихим и ясным. Герцог же и герцогиня, довольные охотою, а равно и тем, сколь остроумно и счастливо достигли они своей цели, возвратились к себе в замок с намерением затеять что-нибудь новое, выдумывать же всякие проказы доставляло им величайшее удовольствие.

ГЛАВА XXXIII

О советах, которые Дон Кихот преподал Санчо Пансе перед тем, как тот отправился управлять островом, а равно и о других весьма важных вещах

На другой день герцогиня спросила Санчо, начал ли он принятое им на себя покаяние, необходимое для того, чтобы расколдовать Дульсинею. Санчо ответил, что начал и прошедшей ночью уже нанес себе пять ударов. Герцогиня спросила, чем именно он их нанес. Санчо ответил, что рукою.

— Это шлепки, а не бичевание, — заметила герцогиня. — Я убеждена, что подобная мягкость обхождения с самим собой не понравится мудрому Мерлину. Нет уж, добрый Санчо, избери-ка ты для себя плеть с шипами или же с узлами — так будет чувствительнее: ведь недаром говорит пословица, что и для ученья полезно сечение, а свободу столь знатной особы, какова Дульсинея, так дешево, такой ничтожной ценой приобрести нельзя. И еще прими в рассуждение, Санчо, что добрые дела, которые делаются вяло и лениво, не зачитываются и ровно ничего не стоят.

На это Санчо ответил так:

— А вы дайте мне, ваша светлость, плетку или же веревку, какую получше, и я буду себя стегать, только не очень больно, потому было бы вам известно, ваша милость, что хоть я и простой мужик, а тело у меня не из ряднины, а скорей из хлопчатой бумаги, и калечить себя ради чужой пользы — это не дело.

— В добрый час, — молвила герцогиня, — завтра я выберу плеточку как раз по тебе, и твоей нежной коже она полюбится, как родная сестра.

Затем Санчо сказал герцогине:

— К сведению вашей светлости, дорогая моя сеньора, я на-

писал письмо моей жене Тересе Панса и уведомил ее обо всем, что со мной произошло, с тех пор как мы с ней расстались. Письмо у меня тут, за пазухой, остается только надписать адрес, и мне бы хотелось, чтобы ваше благоразумие его прочитало, потому мне сдается, что оно написано по-губернаторски, то есть так, как должны писать губернаторы.

— А кто же его сочинил? — осведомилась герцогиня.

— Кто же, как не я, грешный? — сказал Санчо.

— И сам же и написал? — продолжала допытываться герцогиня.

— Какое там, — отвечал Санчо, — я не умею ни читать, ни писать, я могу только поставить свою подпись.

— Ну что ж, посмотрим, — молвила герцогиня. — Я уверена, что в этом письме ты выказал свои блестящие умственные способности.

Санчо достал из-за пазухи и протянул герцогине незапечатанное письмо, которое заключало в себе следующее:

*Хоть и славно меня выпороли, зато я славно верхом прока-
тился*; хоть и будет у меня славный остров, но за это не мино-
вать мне славной порки. Сейчас ты всего этого не поймешь,
милая Тереса, но потом я тебе объясню. Да будет тебе известно,
Тереса, твердое мое решение: тебе надлежит ездить в карете,
иначе тебе не подобает, потому ездить как-нибудь по-другому —
это для тебя теперь все равно что ползать на карачках.*

*Ты жена губернатора, смотри же: у тебя все должно быть
так, чтобы комар носа не подточил! При сем прилагаю зеленый
охотничий кафтан, который мне пожаловала сеньора герцогин-
я, — прикинь, не выйдет ли из него юбки и кофты для нашей
дочки. В здешних краях говорят, что мой господин Дон Кихот —
помешанный разумник и забавный сумасброд и что я ему отлич-
ная пара. Побывали мы в пещере Монтесиноса, а мудрый Мерлин
на предмет расколдования Дульсинеи Тобосской, которую, впро-
чем, все ее земляки зовут Альдонсой Лоренсо, выбрал меня:
мне надлежит нанести себе три тысячи триста ударов, за вы-
четом тех пяти, что я уже нанес, и тогда она будет совсем
расколдованная, не хуже нас с тобой. Об этом ты никому не
говори, а то вынесешь сор из дому — и пойдут кривотолки.
Через несколько дней я отправлюсь губернаторствовать с ве-
личайшим желанием зашибить деньгу, — мне говорили, что все
вновь назначенные правители отбывают с таким же точно жела-
нием. Я там огляжусь и тогда опишу, стоит тебе приезжать или
нет. Серый здоровехонек и низко тебе кланяется, а я его ни за
что не брошу, хотя бы меня сделали султаном турецким. Сень-
ора герцогиня тысячу раз целует твои ручки, а ты ей поцелуй
две тысячи раз, ибо, как говорит мой господин, учтивые выраже-
ния — это самая дешевая и ни к чему не обязывающая вещь
на свете. Богу было неужодно послать мне еще один чемоданчик*

с сотней эскудо, как в прошлую поездку, но ты, милая Тереса, не огорчайся, козла пустили в огород, и в должности губернатора мы свое возьмем. Одно только сильно меня беспокоит: говорят, если этого хоть раз попробуешь, то язык проглотишь, и вот, коли так оно и будет, то губернаторство не дешево мне обойдется. Впрочем, калекам и убогим подают столько милостыни, что они живут, как каноники. Вот и выходит, что не так, так эдак, а ты у меня, надо надеяться, разбогатеешь. Пошли тебе бог счастья, а меня да хранит он ради тебя.

Писано в этом замке 1614 года

июля 20 дня.

*Твой супруг, губернатор
Санчо Панса.*

Герцогиня прочитала письмо и сказала Санчо:

— В двух местах вы, добрый губернатор, немножко сплеховали. Во-первых, вы уведомляете и поясняете, что губернаторство было вам пожаловано за то, что вы согласились себя выпороть, а между тем вы сами хорошо знаете и не станете отрицать, что когда мой муж герцог обещал вам губернаторство, то никакая порка вам еще и во сне не снилась. Во-вторых, вы здесь выказали чрезмерное корыстолюбие. Но ведь погонишься за прибытком, а вернешься с убытком, от зависти, говорят, глаза разбегаются, и алчный правитель творит неправый суд.

— Я совсем не то хотел сказать, сеньора,— заметил Санчо,— и если ваша милость полагает, что письмо написано не так, как должно; то мы его в момент разорвем и напишем новое, но только оно может выйти еще хуже, если я положусь на свою собственную смекалку.

— Нет, нет,— возразила герцогиня,— это хорошее письмо, я хочу показать его герцогу.

Герцог пришел от письма в совершенный восторг. Он сказал Санчо, чтобы тот привел себя в надлежащий порядок и был готов занять пост губернатора, ибо островитяне ждут его, дескать, как майского дождика.

— Я жалую тебе самый настоящий остров, в высшей степени плодородный и обильный,— примолвил герцог.

— Я не из корысти мечу в высокие начальники и залетаю в барские хоромы,— заметил Санчо,— просто мне хочется попробовать, какое оно, это губернаторство.

— Раз попробуешь, Санчо, язык проглотишь,— возразил герцог,— нет ничего слаще — повелевать и видеть, что тебе повинуются. Могу ручаться, что когда твой господин сделается императором — а судя по тому, как идут его дела, он будет таковым непременно,— то этого сана никакими силами у него уже не отнимешь, и в глубине души он будет сожалеть и досадовать, что так поздно стал императором.

— Сеньор,— объявил Санчо,— я нахожу, что повелевать всегда приятно, хотя бы даже стадом баранов.

— У нас с тобой, Санчо, вкусы сходятся, и во всем-то ты разбираешься,— заметил герцог,— я надеюсь, что и управлять ты будешь столь же мудро, сколь мудры твои речи. Ну, вот пока и все, помни только, что ты отправишься управлять островом самое позднее завтра, а сегодня вечером тебе выдадут приличное новому твоему званию платье и снарядят в дорогу.

— Пусть одевают как хотят,— сказал Санчо,— я в любом наряде останусь Санчо Пансоу.

— И то правда,— согласился герцог,— но все-таки одежда должна соответствовать роду занятий и занимаемой должности: так, например, законоведу неудобно одеваться как солдат, а солдату — как священник. Ты же, Санчо, будешь одет наполовину как судейский, а наполовину как военачальник, ибо на том острове, который я тебе жалу, в военных такая же нужда, как и в ученых, а в ученых — такая же, как и в военных.

— Вот по ученой-то части я как раз слабоват,— признался Санчо,— я даже азбуки — и той не знаю. Впрочем, хороший губернатор должен уметь вместо подписи крестик поставить — и ладно. Если же мне выдадут оружие, то с божьей помощью я не выпущу его из рук, доколе не упаду.

— Всегда руководствуйся этими высокими соображениями, Санчо, и ты избежишь ошибок,— заметил герцог.

В это время вошел Дон Кихот и, узнав, о чем идет речь и что Санчо спешно принимает бразды правления, взял его за руку и с дозволения герцога увел к себе, чтобы преподать советы, как ему в той должности подобает себя вести. Итак, войдя в свой покой, он запер дверь, почти насильно усадил Санчо рядом с собою и нарочито медленно заговорил:

— Я возношу бесконечные благодарения богу, друг Санчо, за то, что прежде чем счастье улыбнулось мне, на тебя свалилась такая удача. Я надеялся, что счастливый случай поможет мне вознаградить тебя за верную службу, и вот я только-только начинаю преуспевать, а твои чаяния прежде времени и вопреки здравому смыслу уже сбылись. Иные действуют подкупом, докучают, хлопочут, встают спозаранку, выпрашивают, упорно добиваются — и цели своей, однако ж, не достигают, а другой, неизвестно как и почему, сразу получает должность и службу, коей домогались столь многие, и тут кстати и к месту будет привести пословицу, что как, мол, ни старайся, а на все — судьба. По мне, ты — чурбан и ничего более, ты спозаранку не вставал, допоздна не засиживался, ты палец о палец не ударил, но тебя коснулся дух странствующего рыцарства — и вот ты уже, здорово живешь, губернатор острова. Все это, Санчо, я говорю к тому, чтобы ты не приписывал собственным своим заслугам оказанную тебе милость,— нет, прежде возблаговари всевышнего, который отеческою рукою все направляет ко благу, а затем возблаговари орден странствующего рыцарства, наивысшего благородства исполненный. Итак, постарайся всем сердцем воспри-

нять то, что я тебе сказал, а затем, о сын мой, выслушай со вниманием своего Катона, желающего преподать тебе советы и быть твоим вожаком и путеводною звездою, которая направила бы и вывела тебя к тихому пристанищу из того бурного моря, куда ты намереваешься выйти, ибо должности и высокие назначения суть не что иное, как бездонная пучина смут.

Прежде всего, сын мой, тебе надлежит бояться бога, ибо в страхе господнем заключается мудрость, будучи же мудрым, ты избежишь ошибок.

Во-вторых, загляни внутрь себя и постарайся себя познать, познание же это есть наитруднейшее из всех, какие только могут быть. Познавши самого себя, ты уже не станешь надуваться, точно лягушка, пожелавшая сравняться с волом, если же станешь, то, подобно павлину, смущенно прячущему свой пышный хвост при взгляде на уродливые свои ноги, ты невольно будешь прятать хвост безрассудного своего тщеславия при мысли о том, что в родном краю ты некогда пас свиней.

— Справедливо,— согласился Санчо,— но в ту пору я мальчонкой был, а когда подрос маленько, то уж гусей пас, а не свиней. Но только, думается мне, это к делу не идет: ведь не все правители королевского рода.

— Твоя правда,— заметил Дон Кихот,— и вот почему людям происхождения незнатного, занимающим важные посты, надлежит проявлять мягкость и снисходительность, каковые в сочетании с благоразумною осторожностью избавляют от злостной клеветы, а иначе от нее ни в какой должности не убережешься.

О своем художестве, Санчо, говори с гордостью и признавайся не краснея, что ты из крестьян, ибо никому не придет в голову тебя этим стыдить, коль скоро ты сам этого не стыдишься; вообще стремись к тому, чтобы стать смиренным праведником, а не надменным грешником. Бесчисленное множество людей, в низкой доле рожденных, достигали наивысших степеней и были возводимы в сан первосвященнический или же императорский, чему я мог бы привести столько примеров, что ты устал бы меня слушать.

Помни, Санчо: если ты вступишь на путь добродетели и будешь стараться делать добрые дела, то тебе не придется завидовать делам князей и сеньоров, ибо кровь наследуется, а добродетель приобретается, и она имеет ценность самостоятельную, в отличие от крови, которая таковой ценности не имеет.

А когда так, то в случае, если кто-нибудь из родственников твоих вздумает навестить тебя на твоём острове, то не гони его и не обижай, но, напротив того, прими с честью и обласкай,— этим ты угодишь богу, который не любит, когда гнушаются кем-либо из его созданий, и вместе с тем соблюдешь мудрый закон природы.

Если привезешь с собою жену (ибо нехорошо, когда люди, призванные к исполнению служебных своих обязанностей на

долгий срок, пребывают в разлуке с супругами), то поучай ее, наставляй и шлифуй природную ее неотесанность, ибо что умный губернатор приобрел, то может растерять и расточить глупая и неотесанная жена.

Если ты овдоеешь (что всегда может случиться) и благодаря своему положению составишь себе более блестящую партию, то смотри, как бы новая твоя жена не превратилась в удочку с крючком и не начала приговаривать: «Ловись, ловись, рыбка большая и маленькая», — истинно говорю тебе, что за все взятки, которые вымогает жена судьи, в день Страшного суда ответит ее муж, и после смерти он в четырехкратном размере заплатит за те побочные статьи дохода, на которые он при жизни не обращал внимания.

Ни в коем случае не руководствуйся законом личного произвола: этот закон весьма распространен среди невежд, которые выдают себя за умников.

Пусть слезы бедняка вызовут в тебе при одинаково сильном чувстве справедливости больше сострадания, чем жалобы богача.

Всячески старайся обнаружить истину, что бы тебе ни сулил и ни преподносил богач и как бы ни рыдал и ни молил бедняк.

В тех случаях, когда может и должно иметь место снисхождение, не суди виновного по всей строгости закона, ибо слава судьи сурового ничем не лучше славы судьи милостивого.

Если когда-нибудь жезл правосудия согнется у тебя в руке, то пусть это произойдет не под тяжестью даров, но под давлением сострадания.

Если тебе когда-нибудь случится разбирать тяжбу недруга твоего, то гони от себя всякую мысль о причиненной тебе обиде и думай лишь о том, на чьей стороне правда.

Да не ослепляет тебя при разборе дел личное пристрастие, иначе ты допустишь ошибки, которые в большинстве случаев невозможно бывает исправить, а если и возможно, то в ущерб добру твоему имени и даже твоему достоянию.

Если какая-нибудь красавица будет просить, чтобы ты за нее заступился, то отврати очи от ее слез и уши от ее стенаний и хладнокровно вникни в суть ее просьбы, иначе разум твой потонет в ее слезах, а добродетель твоя — в ее вздохах.

Если ты накажешь кого-нибудь действием, то не карай его еще и словом, ибо с несчастного довольно муки телесного наказания, и прибавлять к ней суровые речи нет никакой надобности.

Смотри на виновного, который предстанет пред твоим судом, как на человека, достойного жалости, подверженного слабостям испорченной нашей природы, и по возможности, не в ущерб противной стороне, будь с ним милостив и добр, ибо хотя все свойства божества равны, однако же в наших глазах свойство всеблагости прекраснее и великолепнее, нежели свойство всеправедности.

Если же ты, Санчо, наставления эти и правила соблюдешь,

то дни твои будут долги, слава твоя будет вечной, награду получишь ты превеликую, блаженство твое будет неизреченно, детей ты женишь по своему благоусмотрению, дети твои и внуки будут иметь почетное звание, уделом твоим будет мир и всеобщее благорасположение, а затем, в пору тихой твоей и глубокой старости, в урочный час за тобою явится смерть, и нежные, мягкие ручки правнуков твоих закроют тебе очи. Все эти назидания должны послужить к украшению твоей души, а теперь послушай назидания, имеющие своею целью украшение тела.

ГЛАВА XXXIV

*О второй части советов,
преподанных Дон Кихотом Санчо Пансе*

Кто бы из тех, кто слышал вышеприведенные рассуждения Дон Кихота, не признал его за человека совершенно здравомыслящего и преисполненного самых благих намерений? Но, как это на протяжении великой нашей истории не раз было замечено, он начинал нести околесную, только когда речь заходила о рыцарстве, рассуждая же о любом другом предмете, он показывал ум ясный и обширный, так что поступки его неизменно расходились с его суждениями, а суждения — с поступками; что же касается второй части правил, коим он обучал Санчо, то здесь он выказал остроумие чрезвычайное и в рассудительности своей и в своем помешательстве дошел до наивысшей точки. Санчо слушал его с неослабным вниманием и старался удержать в памяти его советы: видно было, что он намерен хорошенько запомнить их, дабы с их помощью рождение нового губернатора протекло благополучно. Дон Кихот между тем продолжал:

— Касательно того, как надлежит держать свой дом и самого себя, Санчо, то прежде всего я советую тебе соблюдать чистоту и стричь ногти, а ни в коем случае не отращивать их, как это делают некоторые, по невежеству своему воображающие, будто длинные ногти составляют украшение рук, меж тем как если не обстригать грязные эти наросты, то они смахивают на когти хищной птицы: это чудовищное безобразие и нечистоплотность.

Никогда не ходи, Санчо, распоясанным и неопрятным: беспорядок в одежде есть признак расслабленности духа.

Установи с наивозможною точностью, сколь важен твой пост, и если занимаемое тобою положение дозволяет людям твоим носить ливреи, то позаботься, чтобы эти ливреи были не столько ярки и пышны, сколько приличны и прочны, и распредели их между своими лакеями и нищими, то есть, вместо того чтобы одеть шесть слуг, лучше одень трех слуг и трех нищих, и тогда у тебя будут слуги и на земле и на небе: этот новый способ

распределения ливрей недоступен пониманию людей тщеславных.

Не потребляй ни чеснока, ни лука, дабы по запаху нельзя было догадаться, что ты из мужиков.

Ходи медленно, говори раздельно, но не до такой степени, чтобы можно было подумать, будто ты сам себя слушаешь, ибо всякая напыщенность противна.

За обедом ешь мало, а за ужином еще меньше, ибо здоровье всего тела куется в кузнице нашего желудка.

Будь умерен в питье из тех соображений, что человек, выпивший лишнее, не хранит тайн и не исполняет обещаний.

Не вздумай, Санчо, жевать обеими челюстями сразу, а также эрутировать в присутствии кого бы то ни было.

— Я не понимаю, что значит *эрутировать*,— объявил Санчо. Дон Кихот же ему пояснил:

— *Эрутировать*, Санчо, значит рыгать, но это одно из самых грубых слов во всем испанском языке, хотя оно и весьма выразительно, по сему обстоятельству люди с нежным слухом прибегли к латыни и слово *рыгать* заменили словом *эрутировать*, слово же *рыгание* — словом *эрутация*.

— Честное слово, сеньор,— молвил Санчо,— изю всех ваших советов и наставлений я особенно постараюсь запомнить вот это, насчет того, чтобы не рыгать, потому со мной это частенько случается.

— Не *рыгать* должно говорить, Санчо, а *эрутировать*,— поправил его Дон Кихот.

— С сегодняшнего дня стану говорить *эрутировать*,— сказал Санчо,— будьте спокойны, что не забуду.

— Равным образом, Санчо, оставь привычку вставлять в свою речь уйму пословиц, ибо хотя пословицы суть краткие изречения, однако ж ты в большинстве случаев притягиваешь их за волосы, вот почему в твоих устах они представляются уже не изречениями, а просто-напросто бреднями.

— От этого един господь властен меня избавить,— возразил Санчо,— потому в голове у меня больше пословиц, нежели в книжке, и когда я говорю, они вертятся у меня на языке все сразу, толкаются, каждую так и тянет сорваться прежде других, однако ж язык выбалтывает первую попавшуюся, хотя бы и совсем некстати. Ну, а теперь я все-таки постараюсь приводить такие пословицы, которые не уронят моего достоинства, потому где богатой живут, там мигом и на стол подадут, и кому сдавать, тому уже не тасовать, и кто в набат бьет, тот уж на пожар не идет, и кто умом горазд, тот себя в обиду не даст.

— Правильно, Санчо! — воскликнул Дон Кихот. — Вплетай, нанизывай, накручивай пословицы — никто тебя за язык не держит! Мать с кнутом, а я себе все с волчком! Я тебе говорю, чтобы ты избегал пословиц, а ты в одну секунду насыпал их целый воз, хотя они и подходят к предмету нашего разговора,

как корове седло. Пойми, Санчо: я отнюдь не против пословиц, приводимых к месту, но если ты громоздишь и нанизываешь их как придется, то речь твоя становится скучной и растянутой.

Когда сидишь на коне, не откидывайся на заднюю луку седла, не вытягивай и не расставляй ног, а держи их поближе к конскому брюху, и не сиди раскорякой, будто бы едешь на своем сером, ибо по тому, как человек сидит на коне, всегда можно определить, кто он: знатный верхоконный или же простой конюх.

Спи умеренно: кто не встает вместе с солнцем, тот не знает радостей дня; прими в соображение, Санчо, что расторопность есть мать удачи, врагиня же ее, леность, всегда препятствует достижению благой цели.

Последний мой совет, который я тебе сейчас преподам, не относится к украшению тела, и все же я хочу, чтобы ты свято сохранил его в своей памяти, ибо полагаю, что он будет тебе не менее полезен, нежели предыдущие. Итак, никогда не оспаривай знатности чьего-либо рода, во всяком случае не сравнивай один род с другим, оттого что при сравнении один род невольно окажется более знатным, и тот, кого ты унизил, возненавидит тебя, тот же, кого ты превознес, ничем тебя не отблагодарит.

Одежда твоя должна состоять из длинных штанов, долгополого камзола и еще более длинного плаща; о шароварах же и не помышляй, ибо шаровары не подходят ни рыцарям, ни губернаторам.

Вот пока и все, о чем мне пришло в голову поговорить с тобой, Санчо. Со временем, глядя по обстоятельствам, я дам тебе новые наставления, ты же постарайся уведомлять меня о состоянии своих дел.

— Сеньор! — заговорил Санчо. — Я отлично понимаю, что ваша милость учит меня вещам благим, святым и полезным, но могут ли они мне пригодиться, раз я их все до одной позабуду? Впрочем, насчет того, чтобы не отращивать ногтей и жениться вторично, если представится случай, — это уж я себе втемяшил, но все прочие хитросплетения, вавилоны и закорючки мне не запомнились, и буду я о них помнить, как о прошлогодних тучах, а потому не мешало бы вам записать все это на бумажке и дать мне; правда, я сам ни читать, ни писать не умею, но я передам бумагу моему духовнику — пусть он по мере надобности твердит и напоминает мне об этом.

— Беда мне с тобой! — воскликнул Дон Кихот. — Как плохо, когда губернатор не умеет ни читать, ни писать! Надобно тебе сказать, Санчо, что если кто не знает грамоте, то это означает одно из двух: либо он из очень скромной или даже совсем простой семьи, либо он сам по себе настолько испорчен и дурен, что на него не могли оказать воздействие ни благой пример, ни благое учение. Это твой большой недостаток; мне бы хоте-

лось, чтобы ты по крайней мере научился подписывать свою фамилию.

— Поставить-то свою подпись я умею,— сказал Санчо.— А затем я всегда могу сделать вид, что у меня отнялась правая рука, и велю кому-нибудь подписываться за меня; все на свете поправимо, кроме одной смерти, а так как я буду там царь и бог, то, стало быть, мое слово — закон. Недаром говорится: у кого папаша — алькальд, тот и на суд идет весело. А ведь я не какой-нибудь там алькальд, а целый губернатор — со мной шутки плохи. Ну-ка попробуй тронь меня: идешь за шерстью — гляди, как бы самого не обстригли, а кого господь возлюбит, того он на дне моря разыщет. И потом: глупые речи богача сходят за мудрые изречения, а ведь я буду богат, коли буду губернатором, и к тому же я намерен быть губернатором щедрым, а значит, все мои недостатки будут не видны. Нет, мы тоже себе на уме. «Сколько имеешь, столько ты и стоишь»,— говорила моя бабушка. С человеком великого достатка ссориться не сладко.

— А, чтоб ты пропал, Санчо! — воскликнул тут Дон Кихот.— Шестьдесят тысяч чертей взяли бы тебя со всеми твоими пословицами! Целый час ты ими сыплешь, а для меня это как медленная пытка. Можешь мне поверить, что в один прекрасный день эти пословицы доведут тебя до виселицы. Из-за пословиц тебя низложат твои вассалы, они не потерпят этого и взбунтуются. Скажи, невежда, где ты их берешь и как ты их применяешь, глупец? Ведь для меня вспомнить хотя бы одну пословицу и к месту ее привести — это каторжный труд.

— Ей-богу, хозяин, вы сердитесь из-за сущей безделицы. Черт подери, вам жалко, что я пользуюсь собственным достоянием? А ведь у меня только и достояния и имущества, что пословицы да пословицы. Вот и сейчас вертится у меня на языке сразу несколько, и до того подходят они к нашему разговору — прямо как все равно по мерке сделаны, но только я вам их не скажу: «За благое молчание все тебя будут звать Санчо»*.

Дон Кихот же ему на это возразил:

— Ты — Санчо, да не тот: ты не только не благой молчальник, ты скверный болтун и скверный упрямец. Но все же мне любопытно знать, какие такие пословицы пришли тебе на память и будто бы кстати; я порылся в своей памяти — а ведь она у меня недурная,— но так и не мог припомнить ничего подходящего.

— Да что может быть лучше этих пословиц,— сказал Санчо.— «Гляди-поглядывай: под зуб мудрости палец не подкладывай», и еще: «Скажут тебе: «А ну подобру-поздорову, и с женой моей чтоб ни полслова!» — ты рот на замок и молчок», и еще: «Плетью обуха не перешибешь». Ну разве они сюда не подходят? Никогда не связывайся с губернатором и ни с каким другим начальником, не то взвоешь, все равно как если подложить палец под зуб мудрости,— впрочем, мудрость не обязательна, все де-

ло в коренном зубе. Затем, что бы губернатор ни сказал, перечить ему нельзя, все равно как если тебе скажут: «А ну по-добру-поздорову, и с женой моей чтоб ни полслова!» А насчет плети и обуха — это и слепому ясно. Вот оно как, а кто замечает сучок в глазу ближнего своего, тому не мешает заметить бревно в своем собственном, чтобы про тебя не сказали: «Испугалась покойница убитой». Притом же вашей милости хорошо известно, что дурак в своем доме лучше смекает, нежели умник в чужом.

— Ну уж нет, Санчо,— возразил Дон Кихот,— глупец ни в своем, ни в чужом доме ничего не смекнет по той причине, что на основе глупости разумного здания не возведешь. И довольно об этом, Санчо: будешь плохо управлять — в ответе ты, а позор на мне. Впрочем, я утешаю себя тем, что сделал все от меня зависящее и постарался наделить тебя советами глубокомысленными и возможно более благоразумными: я исполнил свой долг и свое обещание. Да поможет тебе бог, Санчо, да управляет он тобою в твоём правлении и да утишит он мою тревогу, а тревожусь я о том, как бы ты однажды не полетел вместе со всем своим островом вверх пятами, между тем я мог бы это предотвратить, открыв герцогу, кто ты таков, и объяснив ему, что, несмотря на свою дородность и представительность, ты не что иное, как мешок, набитый пословицами и плутнями.

— Сеньор! — возразил Санчо.— Коли ваша милость думает, что я не гожусь в губернаторы, то я тут же, не сходя с места, сложу с себя это звание, потому малюсенькая частица моей души, величиною с черный кончик ногтя, мне дороже всего моего тела: останусь-ка я просто-напросто Санчо, и на одном хлебе с луком я проживу не хуже губернатора со всеми его куропатками да каплунами, и то сказать: когда мы спим, мы все равны — и начальники и подначальные, и бедные и богатые. И если вы, ваша милость, над этим делом подумаете, то, конечно, вспомните, что сами же вы и толкнули меня на губернаторство, а я во всех этих губернаторствах и островах понимаю, как свинья в апельсине, и если вы полагаете, что из-за губернаторства меня черт схватит, то я предпочитаю как простой Санчо отправиться в рай, нежели губернатором — в ад.

— Ей-богу, Санчо,— сказал Дон Кихот,— я считаю, что за эти последние твои слова тебя можно назначить губернатором тысячи островов. У тебя доброе сердце, а ведь без этого никакая наука впредь не пойдет. Поручи себя господа богу и старайся не уклоняться от первоначального своего решения: я хочу сказать, что ты должен поставить себе за правило и твердо наметить себе цель — добиваться своего в любом деле, а небо всегда споспешествует благим желаниям. Теперь пойдем обедать — полагаю, что хозяева нас уже ждут.

ГЛАВА XXXV

О том, как премудрый Санчо Панса вступил во владение своим островом и как он начал им управлять

После обеда Дон Кихот занялся изложением в письменном виде тех советов, которые он преподавал Санчо, для того чтобы потом кто-нибудь мог таковые ему прочесть; не успел он, однако ж, вручить ему эту бумагу, как Санчо ее потерял, и она попала в руки герцога, герцог прочитал ее герцогине, и оба вновь подивились помешательству и уму Дон Кихота; далее, продолжая свои затеи, они в тот же вечер отправили Санчо со многочисленной свитою в городок, которому надлежало сойти за остров. Проводником же Санчо до места его назначения оказался домоправитель герцога, человек весьма остроумный и большой забавник (впрочем, неостроумных забав не бывает), тот самый, который изображал Мерлина; и должно заметить, что, обладая таковыми свойствами, да еще будучи научен хозяевами, как должно обходиться с Санчо, он блестяще справился со своею задачею.

Наконец Санчо выехал; его окружала многочисленная свита; на нем был костюм, какой носят важные судейские; верхняя одежда, весьма широкая, была сшита из рыжевато-красного камлота*, а на голове у него красовалась такой же материи шапочка; восседал он на муле, а за мулом, по особому распоряжению герцога, шел серый в новенькой шелковой сбруе и соответствующих ослиному его званию украшениях. Время от времени Санчо оглядывался на осла, коего общество доставляло ему такое большое удовольствие, что он не поменялся бы местами с самим императором германским. Прощаясь с герцогом и герцогинею, он поцеловал им руки, а затем попросил своего господина благословить его, и тот благословил его со слезами, Санчо же принял его благословение, вот-вот готовый расплакаться.

Итак, Санчо со всею своею свитою прибыл в городок, насчитывавший до тысячи жителей и являвшийся одним из лучших владений герцога. Санчо Пансе сообщили, что остров называется Баратария*: быть может, название это было образовано от названия городка, а быть может, оно намекало на то, что губернаторство досталось Санчо Пансе дешево. Как скоро губернатор со свитою приблизился к воротам обнесенного стеною города, навстречу вышли местные власти, зазвонили колокола, жители, единодушно изъявлявшие свой восторг, с великою торжественностью повели Санчо в собор, и там было совершено благодарственное молебствие, а засим с уморительными церемониями вручили ему ключи от города и объявили его пожизненным губернатором острова Баратарии. Одевание, борода, брюшко и низкорослость нового губернатора приводили в изумление не только тех, кто понятия не имел, в чем здесь загвоздка, но даже и людей, осведом-

ленных обо всем, а таких было множество. Наконец из собора Санчо Пансу провели в судебную палату, усадили в кресло, и тут герцогский домоправитель сказал:

— На нашем острове, сеньор губернатор, издревле ведется обычай: кто вступает во владение славным этим островом, тому задают некоторые вопросы, иногда довольно запутанные и трудные, он же обязан на них ответить, и по его ответам горожане составляют себе мнение о сметливости нового своего губернатора и радуются его прибытию или же, напротив, приунывают.

Пока домоправитель это говорил, Санчо занимался рассматриванием длинной надписи, выведенной крупными буквами на стене прямо против кресла; а так как он читать не умел, то спросил, что это там намалевано. Ему ответили так:

— Сеньор! Там записан и отмечен день, когда ваше превосходительство изволило вступить во владение островом, а гласит эта надпись следующее: «Сегодня, такого-то числа, месяца и года, вступил во владение этим островом сеньор дон Санчо Панса, многие ему лета».

— А кого это зовут *дон Санчо Панса*? — спросил Санчо.

— Вас, ваше превосходительство, — отвечал домоправитель, — на наш остров не прибыло никакого другого Пансы, кроме того, который сейчас восседает на этом кресле.

— Ну так запомни, братец, — объявил Санчо, — что я не *дон* и никто в моем роду не был *доном*: меня зовут просто Санчо Пансою, и отца моего звали Санчо, и Санчо был мой дед, и все были Панса, безо всяких этих *донов* да *распродонов*. И мне сдается, что на нашем острове *донов* куда больше, чем камней. Ну да ладно, господь меня разумеет, и если только мне удастся погубернаторствовать хотя бы несколько дней, я всех этих *донов* повыведу: коли их тут такая гибель, то они, уж верно, надоели всем хуже комаров. А теперь, сеньор домоправитель, задавай скорее свои вопросы, я отвечу на них как могу, а горожане хотят — унывают, хотят — не унывают, это их дело.

В это время в судебную палату вошли два человека: один из них был одет крестьянином, другой был одет портным и держал в руках ножницы; он-то и повел речь:

— Сеньор губернатор! Мы с этим сельчанином явились к вашей милости вот из-за чего: вчера этот молодец пришел ко мне в мастерскую (я портной и, слава тебе господи, мастер своего дела), сует мне в руки кусок сукна и спрашивает: «Сеньор! Выйдет мне колпак из этого куска?» Я прикинул, говорю: «Выйдет». Тут, сдается мне, он, наверно, подумал, и подумал неспроста, что я, конечно, хочу толику малую сукна у него украсть, — либо это он судил по себе, либо уж такая дурная слава идет про портных, и вот он мне и говорит: погляди, мол, не выйдет ли двух колпаков. Я смекнул, что он обо мне подумал. «Выйдет», — говорю. Он же, утвердившись в своей первоначальной и оскорбительной для меня мысли, стал все прибавлять да прибавлять колпаки, а я все: «Вый-



дет» да «Выйдет», и, наконец, дошли мы до пяти, нынче он за нами явился, я ему их выдал, а он отказывается платить за работу, да еще требует, чтобы я ему заплатил или же вернул сукно.

— Так ли все это было, братец? — спросил Санчо.

— Да, сеньор, — подтвердил крестьянин, — но только велите ему, ваша милость, показать все пять колпаков, которые он мне сшил.

— С моим удовольствием, — молвил портной.

Нимало не медля, он высвободил из-под плаща руку, на каждом пальце которой было надето по колпачку, и сказал:

— Вот все пять колпачков, которые мне заказал этот чело-

век, и больше у меня, клянусь богом и совестью, ни клочка сукна не осталось, я готов представить мою работу на рассмотрение цеховых старшин.

Количество колпачков и необычность самой тяжбы насмешили всех присутствовавших, Санчо же, немного подумав, сказал:

— Я полагаю, что нам с этим делом долго задерживаться не приходится: решим его сей же час, как нам подсказывает здравый смысл. И вот каков будет мой приговор: портному за работу не платить ничего, крестьянину сукна не возвращать, колпачки пожертвовать заключенным*, и дело с концом.

Засим к губернатору явились два старика; одному из них трость заменяла посох, другой же, совсем без посоха, повел такую речь:

— Сеньор! Я дал займы этому человеку десять золотых — я хотел уважить покорнейшую его просьбу, с условием, однако ж, что он мне их возвратит по первому требованию. Время идет, а я у него долга не требую: боюсь поставить его этим в еще более затруднительное положение, нежели в каком он находился, когда у меня занимал; наконец вижу, что он и не собирается платить долг, ну и стал ему напоминать, а он мало того, что не возвращает, но еще и отрицается, говорит, будто никогда я ему этих десяти эскудо займы не давал, а если, дескать, и был такой случай, то он мне их давным-давно возвратил. У меня нет свидетелей ни займа, ни отдачи, да и не думал он отдавать мне долг. Нельзя ли, ваша милость, привести его к присяге? И вот если он и под присягой скажет, что отдал мне деньги, то я его прошу немедленно, вот здесь, перед лицом господ бога.

— Что ты на это скажешь, старикан с посохом? — спросил Санчо.

Старик же ему ответил так:

— Сеньор! Я признаю, что он дал мне займы эту сумму, — опустите жезл, ваша милость, пониже. И коли он полагается на мою клятву, то я клянусь в том, что воистину и вправду возвратил и уплатил ему долг.

Губернатор опустил жезл, после чего старик с посохом попросил другого старика подержать посох, пока он будет приносить присягу, как будто бы посох ему очень мешал, а затем положил руку на крест губернаторского жезла* и объявил, что ему, точно, ссудили десять эскудо, ныне с него взыскиваемые, но что он их передал заимодавцу из рук в руки, заимодавец же, мол, по ошибке несколько раз потом требовал с него долг. Тогда великий губернатор спросил заимодавца, что тот имеет возразить противной стороне, а заимодавец сказал, что должник, вне всякого сомнения, говорит правду, ибо он, заимодавец, почитает его за человека порядочного и за доброго христианина, что, по-видимому, он запямятовал, когда и как тот возвратил ему десять эскудо, и что больше он их у него не потребует. Должник взял свой посох и, отвесив поклон, направился к выходу; тогда Санчо, видя, что должник как

ни в чем не бывало удаляется, а истец покорно на это смотрит, опустил голову на грудь и, приставив указательный палец правой руки к бровям и переносице, погрузился в раздумье, но очень скоро поднял голову и велел вернуть старика с посохом, который уже успел выйти из судебной палаты. Старика привели, Санчо же, увидев его, сказал:

— Дай-ка мне, добрый человек, твой посох, он мне нужен.

— С великим удовольствием,— сказал старик,— нате, сеньор.

И он отдал ему посох. Санчо взял посох, передал его другому старику и сказал:

— Ступай с богом, тебе заплачено.

— Как так, сеньор? — спросил старик.— Разве эта палка стоит десять золотых?

— Стоит,— отвечал губернатор,— а если не стоит, значит, глупее меня никого на свете нет. Сейчас вы увидите, гождусь я управлять целым королевством или не гождусь.

И тут он велел на глазах у всех сломать и расколоть трость. Как сказано, так и сделано, и внутри оказалось десять золотых; все пришли в изумление и признали губернатора за новоявленного Соломона*. К Санчо обратились с вопросом, как он догадался, что десять эскудо спрятаны в этой палке. Санчо же ответил так: видя, что старик, коему надлежало принести присягу, дал подержать посох на время присяги истцу, а поклявшись, что воистину и вправду возвратил долг, снова взял посох, он, Санчо, заподозрил, что взыскиваемый долг находится внутри трости. Отсюда, мол, следствие, что сколько бы правители сами по себе ни были бестолковы, однако вершить суд помогает им, видно, никто, как бог; притом о подобном случае он, Санчо, слышал от своего священника, память же у него изрядная, и если б только он не имел привычки забывать как раз то, о чем ему подчас нужно бывает вспомнить, то другой такой памяти нельзя было бы сыскать на всем острове. Наконец старик устыженный и старик удовлетворенный вышли из судебной палаты, оставшиеся были изумлены, тот же, кому было поручено записывать слова, действия и движения Санчо, все еще не мог решить: признавать и почитать Санчо за дурака или же за умника.

ГЛАВА XXXVI,

*в коей продолжается рассказ о том,
как Санчо Панса вел себя в должности губернатора*

Из залы суда Санчо провели в пышный дворец, в одной из громадных палат коего был накрыт роскошный по-королевски стол; и только Санчо появился в этой палате, как заиграла музыка и навстречу ему вышли четыре лакея, держа наготове все необходимое для омовения рук, каковой обряд Санчо совершил с большим достоинством. Музыка смолкла, и Санчо сел на председа-

тельское место; впрочем, никаких других мест за столом и не было, как не было на скатерти никакого другого прибора. Подле Санчо стал какой-то человек с палочкой из китового уса в руке — как выяснилось впоследствии, доктор. Со стола сняли богатейшую белую ткань, накрывавшую фрукты и многое множество блюд со всевозможными яствами. Еще один незнакомец, по виду духовного звания, благословил трапезу, слуга повязал Санчо кружевную салфетку, а другой слуга, исполнявший обязанности дворецкого, на первое подал ему блюдо с фруктами; однако ж не успел Санчо за него взяться, как к блюду прикоснулась палочка из китового уса, и его тут же с молниеносной быстротой убрали со стола. Тогда дворецкий подставил ему другое блюдо. Санчо хотел было отведать кушанья, однако ж, прежде чем он к нему потянулся и распробовал, его уже коснулась палочка, и лакей унес его с таким же точно проворством, как и первое. Санчо пришел в недоумение и, оглядев присутствовавших, спросил, что это значит: хотят ли накормить его обедом или выказать ловкость рук. На это человек с палочкой ответил следующее:

— Сеньор губернатор! Так принято и так полагается обедать на всех островах, где только есть губернаторы. Я, сеньор,— доктор, я состою при губернаторах этого острова и получаю за то жалованье, и уж забочусь я о здоровье губернатора пуще, нежели о своем собственном: я наблюдаю за губернатором денно и ночью, изучаю его сложение, дабы суметь излечить его, когда он заболевает, главная же моя обязанность заключается в том, что я присутствую при его обедах и ужинах, позволяю ему есть только то, что найду возможным, и отвергаю то, что, по моему разумению, может причинить ему вред и испортить желудок. Так я велел убрать со стола блюдо с фруктами, ибо во фруктах содержится слишком много влаги, и еще одно блюдо я также велел убрать, оттого что оно чересчур горячительно и приправлено всякого рода пряностями, возбуждающими жажду, между тем кто много пьет, тот уничтожает в себе и истощает запас первоосновной влаги, а от нее-то и зависит наша жизнеспособность.

— Стало быть, вон то блюдо с жареными куропатками, на вид отменно вкусное, уж верно, не причинит мне никакого вреда.

Но доктор на это сказал:

— Пока я жив, сеньор губернатор к нему не притронется.

— Это почему же? — спросил Санчо.

Доктор ему ответил:

— Потому что учитель наш Гиппократ*, светоч и путеводная звезда всей медицины, в одном из своих афоризмов говорит: «Всякое объедение вредно, объедение же куропатками* паче других».

— Ну, коли так,— рассудил Санчо,— выберите мне, сеньор доктор, из всех кушаний, какие есть на столе, самое полезное и наименее вредное, не колотите по нему палочкой и дайте мне его спокойно съесть, потому, клянусь жизнью губернатора, дай бог мне пожить подольше, я умираю с голоду, и что бы вы там ни го-

ворили, сеньор доктор, и хотите вы этого или не хотите, но, отнимая у меня пищу, вы не только не продлите, а скорей укоротите мой век.

— Ваша правда, сеньор губернатор,— заметил доктор,— а потому я полагаю, что вам не должно кушать вон того рагу из кроликов, ибо оно плохо переваривается. Вот этой телятины, если б только это была не жареная телятина, и притом без подливки, вам еще можно было бы отведать, но в таком виде — не советую.

Санчо же сказал:

— А вон там, подальше, стоит большое блюдо, и от него пар валит — мне сдается, что это оля подрида, а в олю подриду кладут много разных вещей, и я, верно уж, найду себе там что-нибудь вкусное и полезное.

— Гоните прочь от себя столь опасные мысли! — воскликнул доктор.— Нет на свете более вредной пищи, чем оля подрида. Пусть ее подают у каноников, у ректоров учебных заведений или же на деревенской свадьбе, но ей не место на обеденном столе губернатора, где все должно быть верхом совершенства и изысканности, не место потому, что простым снадобьям всюду и везде отдают предпочтение перед составными: в простом снадобье ошибиться нельзя, а в составном можно, ибо ничего не стоит перепутать количество веществ, входящих в его состав. Возвращаясь же к тому, что может сейчас скушать сеньор губернатор, если желает сохранить и укрепить свое здоровье, я скажу: сотню вафель и несколько тоненьких ломтиков айвы — это укрепляет желудок и способствует пищеварению.

Послушав такие речи, Санчо откинулся на спинку кресла, посмотрел на доктора в упор и строгим тоном спросил, как его зовут и где он обучался. Доктор же ему на это ответил так:

— Меня, сеньор губернатор, зовут доктор Педро Нестерпимо де Наука, я уроженец местечка Тиртеафуэра*, что между Каракуэлем и Альмодовар дель Кампо, только чуть поправей, получил же я степень доктора в университете Осунском*.

Тут Санчо, пылая гневом, вскричал:

— Ну вот что, сеньор доктор Педро Нестерпимо де Докука, уроженец местечка Тиртеафуэра или же Учертанарогера, которое останется вправо, если ехать из Каракуэля в Альмодовар дель Кампо, и получивший степень в Осуне: убирайтесь отсюда вон, а не то, ручаюсь головой, я возьму дубину и, начавши с вас, выгоню с острова всех лекарей, какие только здесь есть, по крайней мере всех тех, которых я признаю за неучей, докторов же умных, толковых и просвещенных я буду беречь как зеницу ока и чтить как святыню. Еще раз повторяю: прочь с глаз моих, Педро Нестерпимо, а не то я схвачу вот это самое кресло, на котором сижу, сломаю его о вашу голову и буду оправдан по суду: я скажу, что убить плохого лекаря, врага всего государства,— это дело богоугодное. А теперь накормите меня или же отберите губернаторство, потому должность, которая не может прокормить того, кто ее занимает, не стоит и двух бобов.



Видя, что губернатор так расхотелся, доктор оторопел и порешил бежать хотя бы и к *черту на рога*, но в эту минуту на улице загудел почтовый рожок, дворецкий выглянул в окно, а затем, приблизившись к Санчо, объявил:

— Прибыл гонец от сеньора герцога, и, как видно, с важной депешей.

Вошел гонец, потный, встревоженный, и, достав из-за пазухи пакет, вручил его губернатору, Санчо, в свою очередь, тотчас передал его герцогскому домоправителю и велел прочитать адрес; адрес же был таков: «Дону Санчо Пансе, губернатору острова

Баратарии, в собственные руки или же в руки его секретаря». Тут Санчо спросил:

— А кто будет мой секретарь?

На это ему один из присутствовавших ответил:

— Я, сеньор: я умею читать и писать.

— Распечатайте пакет и поглядите, что там написано,— молвил Санчо.

Новоиспеченный секретарь повиновался и, прочитав послание, объявил, что это дело секретное. Санчо велел очистить залу, попросив остаться лишь герцогского домоправителя и дворецкого, прочие же, в том числе доктор, удалились, и тогда секретарь огласил письмо следующего содержания:

Мне стало известно, сеньор дон Санчо Панса, что враги мои и Ваши намерены подвергнуть Ваш остров стремительной ночной атаке, когда именно — не знаю, Вам же надлежит бодрствовать и быть на страже, дабы Вас не застали врасплох. Еще я узнал через моих надежных лазутчиков, что четыре злоумышленника, переодевшись, пробрались на Ваш остров с намерением лишить Вас жизни, ибо мудрость Ваша их пугает. Будьте начеку, подвергайте осмотру посетителей Ваших и отказывайтесь от всех кушаний, которые Вам будут предложены. Если Вы будете находиться в опасности, я окажу Вам поддержку, Вы же действуйте, как Вам подскажет Ваше благоразумие. Писано в нашем замке, августа шестнадцатого дня, в четыре часа утра.

Ваш друг герцог.

Письмо огорошило Санчо, окружающие также, казалось, были изумлены; обратясь же к домоправителю, Санчо сказал:

— Прежде всего нам надлежит, и притом немедленно, упрятать в тюрьму доктора Нестерпимо, потому если кто и собирается меня убить, так это он, и к тому же смертью медленной и худшей, сиречь голодной смертью.

— Полагаю, однако ж,— заметил дворецкий,— что вашей милости не должно притрагиваться ни к одному из кушаний, которые стоят на столе: их готовили монахини, а ведь недаром говорится, что за крестом стоит сам дьявол.

— Согласен,— молвил Санчо,— но все-таки дайте мне пока что краюху хлеба и несколько фунтов винограду: в этом отравы быть не может. В самом деле, не могу же я ничего не есть, тем более мы должны быть готовы к предстоящим боям — значит, нам надобно подкрепиться: ведь желудок питает отвагу, а не отвага желудок. Вы же, секретарь, ответьте сеньору герцогу и напишите, что все, что он приказал, будет исполнено именно так, как он приказал, без малейшего упущения. Передайте также сеньоре герцогине, что я целую ей ручки и прошу не забыть послать нарочного к моей жене Тересе Панса с письмом и узелком от меня:

этим она окажет мне большую услугу, а уж я ее потом отблагодарю чем только смогу. Заодно, чтобы мой господин Дон Кихот Ламанчский не подумал, что я человек неблагодарный, можете вставить, что я целую ему руки, а к этому вы, как добрый секретарь, можете прибавить от себя все, что вам вздумается и заблагорассудится. Ну, а теперь пусть уберут со стола и принесут мне чего-нибудь другого, а уж я справлюсь со всеми лазутчиками, убийцами и волшебниками, какие только нападут на меня и на мой остров.

ГЛАВА XXXVII

*О том, что случилось с Санчо Пансою,
пока он дозором обходил остров*

Как скоро тайное совещание по поводу письма герцога окончилось, доктор Педро Нестерпимо возвратился в залу и сказал, что вечером он непременно позволит губернатору поужинать, хотя бы и в нарушение всех предписаний Гиппократовых. Губернатор этим удовлетворился и с великим нетерпением стал ждать, когда наступит вечер и час ужина, и хотя у него было такое чувство, словно время остановилось и с места не двигается, однако долгожданный миг все же настал, и ему подали на ужин тушеную говядину с луком и вареные ножки тельенка уже не первой молодости. Санчо отдал всему этому более обильную дань, чем если бы его потчевали миланскими тетерками, римскими фазанами, соррентской телятиной, моронскими куропатками или же лавахосскими гусями, и за ужином он обратился к доктору с такими словами:

— Послушайте, сеньор доктор! Впредь не должно стараться угощать меня тонкими блюдами и изысканными кушаньями, это только расстроит мой желудок: ведь он привык к козлятине, к говядине, к свинине, к ветчине, к репе и к луку, и ежели вы станете пичкать его всякими придворными блюдами, то они ему не понравятся, а от иных его тошнить будет. Принес бы мне лучше дворецкий так называемой ольи подриды, то есть упрелых овощей, и чем больше в ней этой самой прели, тем приятней от нее запах, и дворецкий может напихать туда и намешать чего угодно, лишь бы только это было съедобное, а я его за это поблагодарю и когда-нибудь награжу, а вот издеваться над собой я никому не позволю, иначе у нас дело на лад не пойдет. Давайте-ка все жить и кушать в мире и согласии. Чего мы с вами не поделили? Я так буду управлять этим островом, чтобы податей не прощать, но и взятки не вымогать, а вы у меня будьте тише воды, ниже травы, потому, должно вам знать, мы за себя постоим и в случае чего натворим чудес. Глядишь, на зверя-то как раз и ловец прибежит.

— Разумеется, сеньор губернатор,— сказал дворецкий,— ваша милость совершенно права, и я от имени всех жителей на-

шего острова даю обещание, что мы будем служить вам со всем возможным усердием, любовью и добросовестностью, ибо тот мягкий способ правления, коего ваша милость стала придерживаться с самого начала, не дает нам оснований не только сотворить, но даже замыслить что-либо вашей милости неугодное.

— Надеюсь,— заметил Санчо — дураки бы вы были, если б что-либо подобное сотворили или же замыслили. Стало быть, я еще раз повторяю: не забудьте насчет пропитания для меня и для моего серого, из всех дел это самое важное и неотложное, а в установленный час мы пойдем с вами в обход: я хочу очистить остров от всякой дряни — от побродяг, лодырей и шалопаев. Надобно вам знать, друзья мои, что празднующийся люд в государстве — это все равно что трутни в улье, которые пожирают мед, собранный пчелами-работницами. Я намерен оказывать покровительство крестьянам, охранять особые права идалго, награждать людей добродетельных, а самое главное — относиться с уважением к религии и оказывать почет духовенству. Ну как, друзья? Правильно я говорю или же сбрендил?

— Вы так говорите, сеньор губернатор,— отвечал домоправитель герцога,— что я, право, удивляюсь: такой неграмотный человек, как вы, ваша милость,— сколько мне известно, вы ведь грамоте совсем не знаете,— и вдруг говорит столько назидательных и поучительных вещей! Ни те, кто нас сюда послал, ни мы сами никак не могли от вас ожидать такой рассудительности. Каждый день приносит нам что-нибудь новое: начинается дело с шутки — кончается всерьез, хотел кого-нибудь одурачить — глядь, сам в дураках остался.

Итак, наступил вечер, и с дозволения сеньора доктора Нестерпимо губернатор отужинал. Затем был наряжен дозор; вместе с губернатором отправились в обход домоправитель, секретарь, дворецкий, летописец, коему было поручено заносить деяния Санчо на скрижали истории, и целый отряд альгуасилов* и судейских; Санчо с жезлом в руке преважно шествовал посредине. И вот, когда они уже прошли несколько улиц, послышался лязг скреещающихся сабель; все бросились в ту сторону и увидели, что дерутся всего лишь два человека, каковые, завидев представителей власти, прекратили драку, а один из них воскликнул:

— Именем бога и короля! Что же это за безобразие творится в нашем городе: нападают прямо посреди улицы и грабят при всем честном народе!

— Успокойся, добрый человек,— молвил Санчо,— и расскажи мне, из-за чего вы повздорили. Я — губернатор.

Тут вмешалась противная сторона:

— Сеньор губернатор! Я вам все расскажу возможно короче. К сведению вашей милости, этот господин только что выиграл в игорном доме, вон в том, что напротив, более тысячи реалов, и одному богу известно, каким образом. Я при сем присутствовал и в ряде сомнительных случаев, хотя и против совести, присуждал в его

пользу. Он огреб свой выигрыш, и я надеялся, что получу от него магарыч хотя бы в размере одного эскудо: это уж так принято и так заведено — вознаграждать столь важных лиц, каков я, следящих за правильностью ходов, содействующих беззакониям и предотвращающих ссоры, а он спрятал деньги и ушел. Я разозлился, догнал его и в самых нежных и учтивых выражениях попросил подарить мне хотя бы восемь реалов, а ведь он знает, что я человек честный и что я должности никакой не занимаю и доходов ниоткуда не получаю, ибо родители мои ничему меня не учили и ничего мне не оставили, но этот мошенник не пожелал мне дать более четырех реалов. Подумайте, сеньор губернатор, какое бесстыдство и какая наглость! Честное слово, ваша милость, если бы вы не подоспели, я бы у него выигрыш из горла вырвал, я бы его привел в разум!

— А ты что на это скажешь? — спросил Санчо.

Тот ответил, что противная сторона говорит правду и что он, точно, не хотел давать более четырех реалов, потому что это, мол, уже не в первый раз; далее он заметил, что людям, ожидающим магарыча, надлежит быть вежливыми и с веселым видом брать, что дают, торговаться же с теми, кто остался в выигрыше, им не подобает, если только они не вполне уверены, что это шулеры и что их выигрыш — выигрыш нечестный; а что он, игрок, не пожелал одарять вымогателя, это, мол, и есть лучшее доказательство, что он человек порядочный, а не жулик, как уверяет тот, ибо шулеры — вечные данники таких вот соглядатаев, которые знают за ними, что они передергивают карту.

— То правда,— подтвердил домоправитель.— Сеньор губернатор! Мы ждем ваших указаний, что нам делать с этими людьми.

— С этими людьми надобно сделать вот что,— объявил Санчо.— Ты, который выиграл,— все равно, честно, нечестно или ни так, ни эдак,— ты сей же час выдашь этому драчуну сто реалов, а еще тридцать реалов пожертвуешь на заключенных. Ты же, что должности не занимаешь и доходов не получаешь, а только небо коптишь, бери скорей сто реалов и, самое позднее, завтра утром отправляйся с нашего острова в изгнание на десять лет, а нарушишь мою волю — будешь отбывать свой срок на том свете, потому я собственноручно повешу тебя на столбе, в крайнем же случае это сделает палач по моему повелению. И ни тот, ни другой не смейте мне перечить, а то я вас!

Первый противник вынул деньги, второй их взял, один отправился в изгнание, другой пошел домой, а губернатор сказал:

— Во что бы то ни стало закрою все игорные дома.

В это время к ним приблизился полицейский, тащивший за руку какого-то парня, и сказал:

— Сеньор губернатор! Этот молодчик шел нам навстречу, но, увидев полицию, круто повернул и бросился наутек — так поступают одни преступники. Я побежал за ним, однако ж, если б он не споткнулся и не полетел, нипочем бы мне его не догнать.

— Ты чего, молодец, бежал? — спросил Санчо.

Парень же ему на это ответил так:

— Сеньор! Полиция имеет обыкновение долго расспрашивать, а мне не хотелось отвечать.

— Чем ты занимаешься?

— Я ткач.

— Что же ты ткешь?

— С дозволения вашей милости, наконечники для копий.

— Ба, да ты шутник! Зубоскальством, стало быть, промышляешь? Добро! А куда это ты направлялся?

— Проветриться, сеньор.

— А где же у вас тут, на острове, проветриваются?

— А где ветер дует.

— Хорошо! Ты за словом в карман не лезешь. Сейчас видно умного мало, но только представь себе, что ветер — это я, и дую я тебе прямо в спину и подгоняю прямо к самой тюрьме. А ну возьмите его и отведите! Пусть-ка он эту ночку поспит в тюрьме и на сей раз обойдется без проветривания.

— Ей-богу, ваша милость, вам легче сделать меня королем, нежели заставить спать в тюрьме! — возразил парень.

— Это почему же я не заставлю тебя спать в тюрьме? — спросил Санчо. — Не властен я, что ли, в любую минуту схватить тебя или же отпустить?

— Как ни велика власть вашей милости, — возразил парень, — а все-таки вы меня не заставите спать в тюрьме.

— Как так нет? — вскричал Санчо. — Отведите его в тюрьму — там он живо поймет, что заблуждался, буде же начальник тюрьмы в корыстных целях окажет ему снисхождение и дозволит хотя на шаг от тюрьмы отойти, я на того начальника наложу пеню в две тысячи дукатов.

— Шутить изволите, — заметил парень. — Не родился еще на свет такой человек, который заставил бы меня спать в тюрьме.

— Говори же, черт ты этакий! — вскричал Санчо. — Да кто тебя, ангел, что ли, выведет из тюрьмы и разобьет кандалы, которые я велю на тебя надеть?

— Вот что, сеньор губернатор, давайте вникнем в суть дела, — с очаровательно приятностью заговорил юноша. — Положим, ваша милость велит препроводить меня в тюрьму, там на меня наденут кандалы и цепи — и под замок, а начальник тюрьмы во избежание суровой кары исполнит ваш приказ и не выпустит меня, — все равно, если я не пожелаю спать и всю ночь не сомкну глаз, то можете ли вы, ваша милость, со всей своей властью принудить меня заснуть, коль скоро я не желаю?

— Разумеется, что нет, — вмешался секретарь, — малый ловко вывернулся.

— Значит, — спросил Санчо, — ты не стал бы спать потому, что тебе просто не хочется, а не для того, чтобы мне противодействовать?

— У меня и в мыслях того не было, сеньор,— отвечал парень.

— Ну, тогда иди с богом,— рассудил Санчо,— иди домой спать, пошли тебе господь приятных снов, я же лишать тебя сна не намерен, но только вперед советую с властями не шутить, а то нарвешься еще на кого-нибудь, так тебя за такие шуточки по головке не погладят.

Парень удалился, и на сем обход острова кончился, по прошествии же двух дней кончилось и самое губернаторство, а с ним вместе рухнули и разлетелись все планы Санчо, как то будет видно из дальнейшего.

ГЛАВА XXXVIII,

в коей повествуется о том, как паж герцогини доставил письмо Тересе Панса, жене Санчо Пансы

Между тем герцогиня отправила того самого пажа, который изображал Дульсинею и требовал, чтобы его расколдовали (о чем Санчо Панса за всякими государственными делами успел начисто позабыть), к жене Санчо, Тересе Панса, с письмом от ее мужа, с письмом от себя и с большой ниткой великолепных кораллов в виде подарка. Паж, юноша толковый, сообразительный и услужливый, с превеликой охотой туда поехал; подъезжая к селу, он окликнул женщин, собравшихся во множестве у ручья и полошавших белье, и спросил, где живет женщина по имени Тереса Панса, жена некоего Санчо Пансы, оруженосца рыцаря, который именует себя Дон Кихотом Ламанчским; услышав этот вопрос, одна из девчонок, полошавших белье, подняла голову и ответила:

— Тереса Панса — это моя мать, помянутый вами Санчо — это мой батюшка, помянутый же вами рыцарь — это наш господин.

— В таком случае, девушка,— молвил паж,— проводи меня к своей матушке: я везу ей письмо и подарок от вышеупомянутого твоего батюшки.

— С превеликим удовольствием, государь мой,— объявила девица, коей на вид можно было дать лет четырнадцать.

Белье она оставила на подругу и, не обувшись и не подобравши волос, как была, босая и растрепанная, подскочила к пажу и сказала:

— Поезжайте прямо, ваша милость, наш дом — крайний, матушка сейчас дома, и уж очень она убивается, что от батюшки давно нет никаких вестей.

— Зато я привез такие добрые вести,— подхватил паж,— что твоей матушке надобно благодарить бога.

Девчонка вприпрыжку и вприскокку пустилась домой и еще с порога крикнула:

— Матушка! Иди сюда, скорей, скорей! К нам едет какой-то сеньор и везет письма и разные вещицы от моего батюшки.

На крик вышла ее мать, Тереса Панса, с мотком пряжи в руке. Она не производила впечатления старухи, хотя сейчас было

видно, что ей пошло на пятый десяток; впрочем, это была крепкая, до сих пор еще статная, здоровая и загорелая женщина; увидев свою дочь и пажу на коне, она спросила:

— Что такое, дочка? Кто этот сеньор?

— Покорный слуга сеньоры доньи Тересы Панса,— отвечал гонец.

Он мигом соскочил с коня и весьма почтительно опустился на колени перед сеньорой Тересой.

— Пожалуйте ваши ручки, сеньора донья Тереса,— продолжал паж,— дабы я облобызал их вам, как законной собственной супруге сеньора дона Санчо Пансы, верховного губернатора острова Баратарии.

— Ах, государь мой, полно, оставьте! — заговорила Тереса.— Ведь я не придворная дама, я бедная крестьянка, дочь простого хлебопашца и жена странствующего оруженосца, а вовсе не какого-то там губернатора.

— Ваша милость,— возразил паж,— является достойнейшею супругою наидостойнейшего губернатора, и в доказательство вот вам, ваша милость, письма и подарок.

Тут он достал из кармана нитку кораллов с золотыми застежками и, надев ее на шею Тересе, продолжал:

— Это письмо — от сеньора губернатора, а другое вместе с кораллами просила вам передать сеньора герцогиня, которая и послала меня к вашей милости.

Тереса обомлела, дочка ее также; наконец девочка сказала:

— Убейте меня, если во всем этом не замешан наш господин сеньор Дон Кихот; уж верно, это он пожаловал отцу то ли губернаторство, то ли графство — ведь он ему столько раз его обещал.

— Так оно и есть,— подтвердил паж,— благодаря заслугам сеньора Дон Кихота сеньор Санчо в настоящее время назначен губернатором острова Баратарии, как то будет видно из письма.

— Прочтите мне письмо, ваша честь,— попросила Тереса,— пряхь-то я мастерица, а вот насчет чтения — ни в зуб толкнуть.

— Я тоже,— сказала Марисанча.— Погодите, я сейчас позову какого-нибудь грамотея: либо самого священника, либо бакалавра Самсона Карраско — они с радостью придут, им, уж верно, захочется узнать про батюшку.

— Не к чему их звать,— возразил паж.— Я, правда, не умею пряхь, зато читать умею и прочту вам письмо.

И он его, точно, прочел от начала до конца, но так как оно было уже приведено, то здесь мы его не помещаем, а затем он извлек из кармана письмо от герцогини вот какого содержания:

Друг мой Тереса! Отличные свойства души и ума супруга Вашего Санчо подвигнули меня и принудили попросить мужа моего герцога, чтобы он назначил его губернатором одного из бесчисленных своих островов. До меня дошли сведения, что это сущий орел, а не губернатор, чему я и, само собой разумеется, мой муж

герцог весьма рады. Я горячо благодарю бога, что не ошиблась в выборе губернатора, ибо да будет Вам известно, сеньора Тереса, что хорошие правители редко встречаются на свете, Санчо же так хорошо управляет, что дай бог мне самой быть такой же хорошей.

Посылаю Вам, моя милая, нитку кораллов с золотыми застежками; я бы с большим удовольствием подарила Вам перлы Востока, ну чем богаты, тем и рады. Со временем мы с Вами познакомимся и подружимся; впрочем, все в воле божией. Кланяйтесь от меня Вашей дочке Марисанче и скажите, чтобы она была готова: в один прекрасный день я ее выдам за какого-нибудь знатного человека.

Я слышала, что края Ваши обильны крупными желудями: пришлите мне десятка два, мне они будут особенно дороги тем, что их собирали Вы; напишите мне подробно, как Вы себя чувствуете и как поживаете; если же в чем-либо терпите нужду, то Вам стоит лишь слово сказать, и все будет по слову Вашему. Засим да хранит вас господь.

Писано в моем замке.

Любящий Вас друг герцогиня

— Ах,— вскричала Тереса после того, как письмо было оглашено,— какая же это добрая, простая и скромная сеньора! С такими сеньорами можно жить душа в душу, это не то что наши дворянки, которые воображают, что коли они дворянки, так уж на них чтоб и пылинки не садились, а когда в церковь идут, до того спешиваются — право, подумаешь, королевы; взглянуть на крестьянку — и то уж, кажется, для них позор, а тут глядите, какая милая сеньора: сама — герцогиня, а меня называет своим другом и пишет ко мне, как к ровне, и за это дай бог ей сравняться с самой высокой колокольней во всей Ламанче. А желудей, государь мой, я пошлю ее светлости цельную меру, и уж каких крупных: всем на погляденье и на удивление. А пока что, дочка, поухаживай за сеньором, пригляди за его конем, принеси из сарая яичек, да сала нарежь побольше — уж попотчует его по-княжески, он это заслужил: больно хорошие вести нам привез, да и собой хорош, а я той порой сбегая к соседкам, поделюсь с ними своей радостью, а потом к нашему священнику и к цирюльнику, они всегда были друзьями твоему отцу, друзьями и остались.

— Слушаю, матушка,— сказала Марисанча,— но только чур: половину ожерелья мне,— сеньора герцогиня, уж верно, не такая дура, чтобы все ожерелье послать тебе одной.

— Оно все твое будет, дочка,— сказала Тереса,— дай мне только несколько дней его поносить, у меня, честное слово, сердце прыгает от радости, когда я на него гляжу.

— Вы обе не меньше обрадуетесь,— подхватил паж,— когда заглянете вот в этот дорожный мешок: там лежит отличного сукна кафтан, губернатор только раз надевал его на охоту, а теперь посылает сеньоре Марисанче.

— Дай бог, чтобы он служил мне тысячу лет,— молвила Марисанча,— а тому, кто его привез, желаю прожить столько же, а коли будет охота, так не одну, а две тысячи лет.

Засим Тереса, с ожерельем на шее, выскочила из дому и побежала, постукивая пальцами по письмам, словно это был бубен; случайно встретились ей священник и Самсон Карраско, и тут она начала приплясывать и приговаривать:

— Нынче и на нашей улице праздник! Мы теперь губернаторы! Не верите — приведите сюда самую что ни на есть важную птицу из дворянок, я и ей утру нос!

— Что это значит, Тереса Панса? Что это за дурачество и что это за бумаги у тебя в руках?

— Никакие это не дурачества, а в руках у меня письма от герцогинь и губернаторов, на шее — отменные кораллы, и сама я — губернаторша.

— Бог знает что ты говоришь, Тереса, мы отказываемся тебя понимать.

— А ну, поглядите,— сказала Тереса.

И с этими словами она протянула им письма. Священник прочел их вслух Самсону Карраско, затем они в изумлении переглянулись, а бакалавр спросил, кто привез эти письма. Тереса предложила им пойти к ней и посмотреть на гонца: это, мол, не парень, а золото, и привез, дескать, он ей еще один подарок, коему цены нет. Священник снял с ее шеи ожерелье, рассмотрел его со всех сторон и, удостоверившись, что это настоящие кораллы, снова пришел в изумление и сказал:

— Клянусь моим саном, я не знаю, что сказать и что подумать об этих письмах и об этих подарках: я вижу и осязаю настоящие кораллы и вместе с тем читаю, что какая-то герцогиня просит прислать ей два десятка желудей.

— Вот тут и разберись! — заметил со своей стороны Карраско. — Ну что ж, пойдемте познакомимся с посланцем: может статья, он выведет нас из затруднения.

На том они и порешили, и Тереса повела их к себе домой. Когда они вошли, паж просеивал овес для своего коня, а девочка резала сало для яичницы, чтобы покормить гостя, коего наружность и наряд произвели благоприятное впечатление на священника и бакалавра; они учтиво поклонились ему, он — им, и тогда Самсон спросил, что слышно о Дон Кихоте и о Санчо Пансе: они, дескать, прочитали письма Санчо и сеньоры герцогини, но все же находятся в недоумении и не могут постигнуть, какое такое у Санчо губернаторство, да еще на острове, меж тем как все или почти все острова на Средиземном море принадлежат его величеству. Паж ему на это ответил так:

— Что сеньор Санчо Панса — губернатор, это никакому сомнению не подлежит. Где именно он губернаторствует: на острове или же еще где — в это я не вникал. Довольно сказать, что в его ведении находится город, насчитывающий более тысячи

жителей. Что касается желудей, то сеньора герцогиня — такая простая и до того не гордая...

Одним словом, попросить у крестьянки желудей — это она, дескать, ни во что не ставит, ей даже случалось посылать в ближнее село с просьбой дать ей на время гребень.

— Надобно вам знать, ваши милости, что даже самые знатные дамы у нас в Арагоне совсем не так чванливы и надменны, как в Кастилии: с людьми они обходятся — проще нельзя.

От священника и бакалавра не могло укрыться, что паж потешается, однако с его шутками никак не вязались подлинность кораллов и охотничий наряд, который Тереса уже успела им показать, а нижеследующие речи Тересы их насмешили:

— Сеньор священник! Сделайте милость, узнайте, не едет ли кто из нашей деревни в Мадрид или же в Толедо: я хочу попросить купить мне круглые, всамделишные фижмы, и чтоб самые лучшие и по последней моде. Право же, я должна по силе-возможности блюсти честь своего мужа губернатора. А то в один прекрасный день разозлюсь и сама поеду в столицу, да еще карету заведу, чтоб все было как у людей.

— Дай тебе бог, матушка, поскорей ее завести, — сказала Марисанча, — а там пусть про меня говорят, когда я буду разъезжать вместе с моей матушкой, госпожой губернаторшей: «Ишь ты, такая-сякая, грязная мужичка, расселась, развалилась в карете, словно папесса!» Ничего, пусть себе шлепают по грязи, а я — ноги повыше и буду себе раскатывать в карете. Наплевать мне на злые языки, сколько их ни есть: мне бы в тепло да в уют, а люди пусть что хотят, то плетут. Верно я говорю, матушка?

— Уж как верно-то, дочка! — сказала Тереса. — И все эти наши радости и даже кое-что еще почище добрый мой Санчо мне предсказывал. Вот увидишь, дочка: я еще графиней буду, удачи — они уж так одна за другой и идут. Я много раз слыхала от доброго твоего отца, а ведь его можно также назвать отцом всех поговорок: дали тебе коровку — беги скорей за веревкой, дают губернаторство — бери, дают графство — хватай, говорят: «На, на!» — и протягивают славную вещицу — клади в карман. А коли не хочешь — спи и не откликайся, когда счастье и благополучие стучатся в ворота твоего дома!

— И какое мне будет дело до того, что обо мне говорят, когда уж я заважничая и зазнаюсь? — встала Марисанча. — Дайте псу в штаны нарядиться, он с собаками не станет водиться.

Послушав такие речи, священник сказал:

— По-видимому, в семье Панса все так и рождаются с мешком пословиц: я не знаю ни одного из них, кто бы не сыпал присловьями в любое время и при каждом случае.

— Справедливо, — заметил паж. — Сеньор губернатор Санчо также все время говорит пословицами, и хотя не все приходится к месту, однако же удовольствие доставляют неизменно, и герцог с герцогиней весьма их одобряют.

— Итак, государь мой,— заговорил бакалавр,— вы продолжаете утверждать, что Санчо и точно губернатор и что есть на свете такая герцогиня, которая пишет письма его жене и шлет ей подарки? Между тем, хотя мы и ошупывали эти подарки и читали письма, нам, однако ж, не верится, и мы полагаем, что все это выдумки нашего земляка Дон Кихота: ведь он убежден, что с ним все происходит по волшебству. Так вот, мне бы, собственно говоря, хотелось ошупать и потрогать вас, чтобы удостовериться, кто вы таков: призрачный посол или человек с кровью в жилах.

— На это я могу вам только сказать, сеньоры,— отвечал паж,— что я посол настоящий, что сеньор Санчо Панса подлинно губернатор, что мои господа, герцог и герцогиня, имели возможность пожаловать и в самом деле пожаловали ему губернаторство и что, как я слышал, помянутый Санчо Панса управляет им на славу, а уж есть ли тут что-нибудь сверхъестественное или нет — судите, ваши милости, сами, я же ничего больше не знаю и клянусь в том не чем иным, как жизнью моих родителей, а они у меня еще живы, и я их люблю и почитаю.

— Может, это и так,— сказал бакалавр,— а все же невольно берет сомнение.

— Сомневайтесь, если хотите,— заметил паж,— а только все, что я сказал,— правда, и правда всегда всплывает над ложью, как масло над водою. Пусть кто-нибудь из вас поедет со мной, и глаза его увидят то, чему не верят его уши.

— Нет, уж лучше я поеду,— объявила Марисанча.— Посадите меня, сеньор, на круп вашего коня: мне, мочи нет, хочется повидаться с батюшкой.

— Губернаторским дочкам не подобает ездить одним, без великого множества слуг, без карет, без носилок.

— Ей-богу, мне все равно: что верхом на ослице, что в карете,— возразила Марисанча.— Вот уж я нисколько не разборчивая!

— Молчи, дочка,— сказала Тереса,— ты сама не знаешь, что говоришь, сеньор молвил справедливо. Времена меняются: когда отец твой — просто Санчо, так и ты — Марисанча, а когда он губернатор, так ты — сеньора. Кажется, я верно рассудила.

— Сеньора Тереса рассуждает даже вернее, чем это ей кажется,— заметил паж.— Дайте же мне поесть и отпустите, я намерен возвратиться еще дотемна.

Тут священник ему сказал:

— Прошу покорно вашу милость со мной откусать, а то сеньора Тереса при всем желании вряд ли сможет как следует попотчевать такого дорогого гостя.

Паж сначала отказался, но в конце концов рассудил, что так будет лучше, и священник повел его к себе, радуясь возможности расспросить гонца на досуге о Дон Кихоте и его деяниях.

Бакалавр предложил Тересе написать за нее ответные пись-

ма, однако же ей не хотелось, чтобы бакалавр совался в ее дела, ибо она знала его за насмешника, а посему она отнесла хлебец и пару яичек грамотному церковному служке, и тот написал ей два письма: одно — к мужу, другое — к герцогине, на каковых письмах лежит печать Тересиного благоразумия, и из тех, какие в великой этой истории приводятся, они отнюдь не самые худшие, что будет видно из дальнейшего.

ГЛАВА XXXIX

*О том, как Санчо Панса губернаторствовал далее,
а равно и о других поистине славных происшествиях*

День сменил ту ночь, в которую губернатор обходил свой остров. Когда же сеньор губернатор изволил встать, по распоряжению доктора Педро Нестерпимо ему было предложено на завтрак немного варенья и несколько глотков холодной воды, какой завтрак Санчо охотно променял бы на ломоть хлеба и гроздь винограда; видя, однако ж, что выбор блюд не от него зависит, он, к великому прискорбию своей души и мучению для своего желудка, покорился и проникся доводами Педро Нестерпимо, утверждавшего, что пища умеренная и легкая способствует оживлению умственной деятельности, в чем особенно нуждаются лица, стоящие у кормила власти и занимающие важные посты, которые требуют не столько сил телесных, сколько духовных.

Несмотря на подобную софистику, Санчо испытывал голод, и при этом столь мучительный, что в глубине души проклинал и губернаторство, и даже того, кто ему таковое пожаловал; отведав варенья и не утолив голода, он, однако, снова начал творить суд, и первым явился к нему некий приезжий и в присутствии домоправителя и всех прочих челядинцев сказал следующее:

— Сеньор! Некое поместье делится на две половины многоводною рекою (прошу вашу милость выслушать меня со вниманием, потому что дело это важное и довольно трудное). Так вот, через эту реку переброшен мост, и тут же, с краю, стоит виселица и находится нечто вроде суда, в коем обыкновенно заседают четверо судей, и судят они на основании закона, изданного владельцем реки, моста и всего поместья и составленного таким образом: «Всякий проходящий по мосту через сию реку долженствует объявить под присягою, куда и зачем он идет, и кто скажет правду, тех пропускать, а кто солжет, тех всякого снисхождения отправлять на находящуюся тут же виселицу и казнить». С того времени, когда этот закон во всей своей строгости был обнародован, многие успели пройти через мост, и как скоро судьи удостоверились, что прохожие говорят правду, то пропускали их. Но вот однажды некий человек, приведенный к присяге, поклялся и сказал: он-де клянется, что пришел затем, чтобы его вздернули вот на эту самую виселицу, и ни за чем другим. Клятва эта привела судей в недо-

умение, и они сказали: «Если позволить этому человеку ^{бестре-}пременно следовать дальше, то это будет значить, что он нарушил клятву и согласно закону повинен смерти; если же мы его повесим, то ведь он клялся, что пришел только затем, чтобы его вздернули на эту виселицу, следственно, клятва его выходит не ложна, и на основании того же самого закона надлежит пропустить его». И вот я вас спрашиваю, сеньор губернатор, что делать судьям с этим человеком,— они до сих пор недоумевают и колеблются. Прослышав же о благородном и остром уме вашей милости, они послали меня, дабы я от их имени обратился к вам с просьбой высказать свое мнение по поводу этого запутанного и неясного дела.

Санчо ему на это ответил так:

— Честное слово, господа судьи смело могли не посылать тебя ко мне, потому я человек скорее тупой, нежели острый, однако ж, со всем тем, изложи мне еще раз это дело, дабы я схватил его суть: глядишь, и попаду в цель.

Проситель рассказал все с самого начала, и тогда Санчо вынес свое суждение:

— Я, думается мне, решил бы это дело в два счета, а именно: помянутый человек клянется, что пришел затем, чтобы его повесили, если же его повесить, то, стало быть, клятва его не ложна и по закону его надлежит пропустить на тот берег, а коли не повесить, то выходит, что он соврал, и по тому же самому закону его должно повесить.

— Сеньор губернатор рассудил весьма толково,— заметил посланный,— лучше понять и полнее охватить это дело просто немислимо, в этом нет никакого сомнения.

— Так вот, я и говорю,— продолжал Санчо,— ту половину человека, которая сказала правду, пусть пропустят, а ту, что соврала, пусть повесят, и таким образом правила перехода через мост будут соблюдены по всей форме.

— В таком случае, сеньор губернатор,— возразил посланный,— придется разрезать этого человека на две части, на правдивую и на лживую; если же его разрезать, то он непременно умрет, и тогда ни та, ни другая статья закона не будут исполнены, между тем закон требует, чтобы его соблюдали во всей полноте.

— Послушай, милейший,— сказал Санчо,— может, я осто-
лоп, но только, по-моему, у этого твоего прохожего столько же оснований для того, чтоб умереть, сколько и для того, чтоб остаться в живых и перейти через мост: ведь если правда его спасает, то, с другой стороны, ложь осуждает его на смерть, а коли так, то вот мое мнение, которое я и прошу передать сеньорам, направившим тебя ко мне: коль скоро оснований у них для того, чтобы осудить его, и для того, чтобы оправдать, как раз поровну, то пусть лучше они его пропустят, потому делать добро всегда правильнее, нежели зло. И все, что я сейчас сказал, это я не сам придумал, мне пришел на память один из тех многочисленных

советов, которые я услышал из уст моего господина Дон Кихота накануне отъезда на остров, то есть: в сомнительных случаях должно внимать голосу милосердия, и вот, слава богу, я сейчас об этом совете вспомнил, а он как раз подходит к нашему деду.

— Так,— молвил домоправитель,— я уверен, что сам Ликург, давший законы лакедемонянам, не вынес бы более мудрого решения, нежели великий Панса. На этом мы закончим утреннее наше заседание, и я немедленно распоряжусь, чтобы сеньору губернатору принесли на обед все, что он сам пожелает.

— Того-то мне и надобно, скажу вам по чистой совести,— объявил Санчо.— Дайте мне только поесть, а там пусть на меня сыплются всякие темные и запутанные дела — я их живо разрешу.

Домоправитель слово свое сдержал: ему не позволяла совесть морить голодом столь рассудительного губернатора, тем более что по замыслу его господина ему оставалось сыграть с Санчо последнюю шутку, и на этом он намеревался покончить. И вот случилось так, что, когда Санчо, наевшись вопреки всем правилам и наставлениям доктора Учертанарогеры, вставал из-за стола, явился гонец с письмом от Дон Кихота к губернатору. Санчо велел секретарю прочесть его прежде про себя, и если в письме не окажется ничего секретного, то огласить его. Секретарь так и сделал и, пробежав письмо, сказал:

— Это письмо можно прочесть вслух, ибо все, что сеньор Дон Кихот пишет вашей милости, достойно быть начертанным и записанным золотыми буквами. Вот о чем тут идет речь:

Я ожидал услышать о твоих оплошностях и упущениях, друг Санчо, а вместо этого услышал о твоём остроумии, за что и вознес особые благодарения господу богу, который из праха поднимает бедного, а глупца превращает в разумного. Меня уведомляют, что ты правишь, как настоящий человек, но что, будучи человеком, ты смиренiem своим напоминаешь тварь бессловесную; и, однако ж, надобно тебе знать, Санчо, что во многих случаях приличествует и даже необходимо ради упрочения своей власти поступать наперекор смирению своего сердца, потому что особе, занимающей видную должность, надлежит поставить себя сообразно высокому своему положению и не слушаться того, что ей подсказывает ее худородность. Одевайся хорошо, потому что и дубина, если ее разукрасить, перестает казаться дубиной. Из этого не следует, что тебе подобает увешиваться побрякушками и франтить и что, будучи судьёю, ты обязан наряжаться как военный,— тебе надлежит одеваться, как того требует занимаемое тобою положение, а именно: чисто и опрятно.

Чтобы снискать любовь народа, коим ты управляешь, тебе, между прочим, надобно помнить о двух вещах: во-первых, тебе надлежит быть со всеми приветливым (впрочем, об этом я уже с тобой говорил), а во-вторых, тебе следует заботиться об изобилии съестных припасов, ибо ничто так не ожесточает сердца бедняков, как голод и дороговизна.

Не издавай слишком много указов, а уж если задумаешь издать, то старайся, чтобы они были дельными, главное — следи за тем, чтобы их соблюдали и исполняли, ибо когда указы не исполняются, то это равносильно тому, как если бы они не были изданы вовсе; более того: такое положение наводит на мысль, что у правителя достало ума и сознания своей власти, чтобы издать указы, но не достало смелости, чтобы принудить соблюдать их, закон же, внушающий страх, но не претворяющийся в жизнь, подобен чурбану, царю лягушек: вначале он наводит на них страх, но потом они стали презирать его и помыкать им.*

Будь отцом родным для добродетелей и отчимом для пороков. Не будь ни постоянно суров, ни постоянно мягок — выбирай середину между этими двумя крайностями, ибо в среднем этом пути и заключается высшая мудрость. Осматривай тюрьмы, бойни и рынки, ибо посещение губернатором таковых мест — вещь чрезвычайно важная: губернатор утешает узников, надеющихся на скорое окончание их дел, он — пугалище мясников, которые в его присутствии перестают обвешивать, и, по той же причине, он — гроза всех торговков. В случае, если ты корыстолюбец и лакомка (чего я, впрочем, не думаю), то не показывай этого, ибо когда народ и твои приближенные узнают о резко означенной в тебе склонности, то начнут тебя за это допекать и в конце концов свергнут. Просматривай и пересматривай, продумывай и передумывай те советы и правила, которые я дал тебе в письменном виде накануне твоего отъезда на остров, и коли будешь их соблюдать, то увидишь, какую бесценную помощь окажут они тебе в преодолении тех препятствий и затруднений, которые на каждом шагу перед правителями возникают. Напиши герцогу и герцогине и изъяви им свою признательность, ибо неблагодарность — дочь гордости и один из величайших грехов, какие только существуют на свете; между тем от человека, питающего благодарность к своим благодетелям, можно ожидать, что он выкажет благодарность и господу богу, который столько посылал ему и посылает милостей.

Сеньора герцогиня отправила к твоей жене Тересе Панса нарочного с платьем и с подарком от нее самой; ответа ожидаем с минуты на минуту.

Господь с тобой.

Твой друг

Дон Кихот Ламанчский.

Санчо слушал с особым вниманием, все присутствовавшие похвалили письмо и нашли, что оно очень умно написано, затем Санчо встал и, позвав секретаря, заперся с ним в своем покое, а так как он порешил сей же час, не откладывая, ответить сеньору Дон Кихоту, то велел секретарю записывать слово в слово все, что он, Санчо, будет ему говорить. Секретарь повиновался, и ответное письмо было составлено следующим образом:

Я так занят делами, что у меня нет времени ни почесать в голове, ни даже обрезать ногти, и оттого они у меня такие длинные, что хоть кричи караул. Это я Вам пишу, драгоценнейший мой сеньор, чтобы милость Ваша не беспокоилась, что я до сих пор не уведомил Вас, как мне живется на острове; так вот, голодаю я на этом самом острове больше, чем когда мы с Вами вдвоем плутали по лесам и пустыням.

На днях сеньор герцог писал мне и извещал, что к нам на остров пробрались какие-то лазутчики и хотят меня убить, но до сих пор мне удалось обнаружить только одного, некоего лекаря, которому здесь платят жалованье, чтобы он всех вновь назначаемых губернаторов отправлял на тот свет. Зовут его доктор Педро Нестерпимо, а родом он не то из Тиртеафуэры, не то из Учертанарогеры: одно имя чего стоит, Ваша милость, поневоле будешь бояться, как бы он тебя не уморил! Он сам про себя говорит, что не лечит болезни, а только предупреждает, лекарство же у него одно: диета да диета, пока больной до того исхудает — в чем только душа держится, как будто истощение не вредней горячки! Словом сказать, он морит меня голодом, а я умираю с досады: ведь я думал, когда собирался губернаторствовать, что буду есть горячее, пить прохладительное, нежить свою плоть на голландских простынях да на пуховиках, а приехал — и стал вести такую строгую жизнь: ну ни дать ни взять отшельник, а так как это не по моей доброй воле, то и боюсь я, что в один прекрасный день отправлюсь ко всем чертям.

До сих пор мне еще ни податей не приносили, ни подношений не подносили, и я не могу взять в толк, что бы это значило, потому я здесь кое от кого слышал, что обыкновенно, когда назначается новый губернатор, то еще до его прибытия на остров жители дарят ему или же ссужают много денег и что обычай этот существует у всех решительно правителей, а не только у здешних.

Рынки я посещаю, как Ваша милость мне советовала, и вчера при мне одна женщина торговала орехами, будто бы свежими, а я доказал, что свежие орехи она мешает со старыми, пустыми и гнилыми; я велел отдать все эти орехи в сиротскую школу — там разберутся, торговке же воспретил в течение двух недель появляться на рынке. Говорят, что я поступил как должно. К сведению Вашей милости, о торговках в нашем городе идет такая слава, что хуже их никого на свете нет, потому они народ бессовестный, бессердечный и нахальный, и я тоже так думаю: ведь я на них наглядялся в других местах.

Я премного доволен, что сеньора герцогиня написала письмо моей жене Тересе Панса и, как Вы сообщаете, послала ей подарок, и со временем постараюсь отблагодарить ее; поцелуйте ей за меня ручки, Ваша милость, и передайте, что я у нее в долгу не остаюсь — в этом она убедится на деле.

Если придет письмо от моей жены Тересы Панса, то уплатите, Ваша милость, за доставку и перешлите сюда: мне, мочи нет, хо-

чется узнать, что у меня делается дома, как там жена и дети. Засим да хранит Вас господь от зловредных волшебников, а мне да поможет уйти отсюда добром и с миром, в чем я, однако же, сомневаюсь, ибо, по всей видимости, придется мне на этом самом острове сложить свои кости — так хорошо меня пользует доктор Педро Нестерпимо.

Слуга Вашей милости губернатор Санчо Панса.

Секретарь запечатал письмо и немедленно отправил гонца в обратный путь, заговорщики же, дурачившие Санчо, собрались и стали между собой совещаться, как бы это им отправить отсюда самого губернатора, а губернатор провел этот день в принятии мер ко улучшению государственного устройства во вверенной ему области, которую он принимал за остров; так, например, он воспретил розничную перепродажу съестных припасов во всем государстве и разрешил ввоз вина откуда бы то ни было, с тою, однако же, оговоркою, что должно быть указываемо место его изготовления и что цена на него должна быть устанавливаема сообразно с его действительной стоимостью, качеством и маркою, тем же продавцам, которые будут уличены в разбавлении вина водою, а равно и в подделке ярлычков, губернатор положил смертную казнь; он снизил цены на обувь, главным образом на башмаки, стоившие, по его мнению, неимоверно дорого; определил размеры жалованья слугам, которые в своем корыстолюбии не знали удержу; установил строгие взыскания для тех, кто — все равно, днем или же ночью, — вздумал бы распевать непристойные и озорные песни; воспретил слепцам петь о чудесах, если только у них нет непреложных доказательств, что чудеса эти подлинно происходили, ибо он держался того мнения, что большинство чудес, о которых поют слепцы, суть чудеса мнимые и только подрывают веру в истинные; и, наконец, придумал и учредил новую должность — должность альгюасила по делам бедняков, не с тем, однако ж, чтобы преследовать их, а с тем, чтобы проверять, подлинно ль они бедны, а то ведь бывает иной раз и так, что калекою прикидывается вор, у кого обе руки целехоньки, и выставляет напоказ мнимые язвы здоровенный пьяница. Одним словом, он ввел столько улучшений, что они до сего времени не утратили в том краю своей силы и доньше именуются «Законоположениями великого губернатора Санчо Пансы».

ГЛАВА XL

О злополучном конце и исходе губернаторства Санчо Пансы

Между тем Дон Кихот пришел к мысли, что его жизнь в этом замке идет вразрез со всем строем рыцарства, и порешил испросить у герцогской четы дозволения покинуть их кров и направить путь в Барселону, где не в долгом времени должны были состояться

празднества, а на этих празднествах он надеялся завоевать себе доспехи, которые в подобных случаях обыкновенно даются в награду. И нужно же было случиться так, что в тот самый день, когда он, сидя за столом вместе с их светлостями, хотел было привести намерение свое в исполнение и попросить дозволения отбыть, двери в большую залу внезапно отворились, и вошел паж, отвозивший письмо и подарки супруге губернатора Санчо Пансы, Тересе Панса; их светлости обрадовались его приезду несказанно, ибо им любопытно было знать, каково-то он съездил; когда же они его о том спросили, он заметил, что в кратких словах, да еще при посторонних, этого не расскажешь, и попросил позволения отложить рассказ до того времени, когда он останется с их светлостями наедине, а пока, мол, пусть они позабавятся письмами. И тут он достал два письма и вручил герцогине. На одном из них было написано: «Письмо к сеньоре герцогине, не знаю, как ее звать», а на другом: «Мужу моему Санчо Пансе, губернатору острова Баратария, дай бог ему прожить дольше, чем мне самой». Герцогине, как говорится, не сиделось на месте — столь сильное любопытство возбуждало в ней письмо Тересы; вскрыв же его и пробежав глазами, она нашла, что его вполне можно прочесть вслух при герцоге и при всех присутствующих, и потому огласила его:

Большую радость доставило мне, государыня моя, письмо Вашей светлости. Нитка кораллов отменно хороша, да и охотничий кафтан моего благоверного ничем не хуже. А что Ваша светлость назначила супруга моего Санчо губернатором, то все наше село очень даже этому радо, хотя все в этом сомневаются, особливо священник, цирюльник мазсе Николас и бакалавр Самсон Карраско, ну, а меня это нимало не трогает: лишь бы так оно все и было, а там пусть себе говорят, что хотят; впрочем, коли уж на то пошло, не будь кораллов и кафтана, я бы и сама не поверила, потому и нас все почитают моего мужа за дуралея, а так как он до сей поры ничем, кроме стада коз, не управлял, то и не могут взять в толк, годен ли он управлять еще чем-либо. Помогите ему бог, пусть потрудится на пользу деткам.

А я, любезная моя сеньора, порешила с дозволения Вашей милости, пока счастье само плывет в руки, отправиться в столицу и покататься в карете, чтоб у завистников моих — а завистников у меня теперь множество — лопнули глаза; вот я и прошу Вашу светлость: скажите моему мужу, чтоб он прислал мне сколько-нибудь деньжат, да особенно не скупился, потому в столице расходы велики: один хлебец стоит реал, а фунт мяса — тридцать мараведи, ведь это просто ужас. А коли он не хочет, чтоб я ехала, то пусть поскорее отпишет, потому меня так и подмывает пуститься в дорогу: подружки и соседки меня уверяют, что коли мы с дочкой, разряженные в пух и прах, важные — не подступись, прикажем в столицу, то скорее я прослаблю моего мужа, нежели он ме-

ня, потому ведь уж непременно многие станут допытываться: «Что это за сеньоры едут в карете?» А мой слуга в ответ: «Это жена и дочь Санчо Пансы, губернатора острова Баратарии»; так и Санчо моему будет слава, и мне почет, и всем хорошо.

Мочи нет, как мне досадно, что желуды нынешний год у нас не родились, но все-таки посылаю Вашей светлости с полмеры; сама по одному желудю собирала в лесу и своими руками отбирала, да вот беда: покрупней не нашлось, а мне бы хотелось, чтоб они были со страусово яйцо.

Не забудьте, Ваша высокотебшествованность, мне отписать, а уж я не премину Вам ответить и опишу про свое здоровье и про все наши деревенские новости, а пока что молю бога, чтоб он хранил Ваше величие и меня не оставил. Дочка моя и сынок целуют Вашей милости ручки.

Слуга Ваша Тереса Панса, которой
больше хочется повидать Вашу милость,
нежели писать Вам.

Большое удовольствие доставило всем письмо Тересы Панса, особливо их светлости, герцогиня же обратилась к Дон Кихоту с вопросом, почитает ли он приличным вскрыть письмо на имя губернатора, которое, казалось ей, обещает быть прелестным. Дон Кихот сказал, что, дабы угодить присутствующим, он сам готов вскрыть письмо; и он так и сделал и прочитал следующее:

Письмо твое, дорогой ты мой Санчо, я получила и как истинная христианка клятвенно тебя уверяю, что чуть с ума не рехнулась от счастья. Право, миленький, как услыхала я, что ты губернатор, ну, думаю: вот сейчас упаду замертво от одной только радости, а ведь ты знаешь, как это говорится: неожиданная радость убивает, как все равно большое горе. А дочка твоя Марисанча от восторга даже обмочилась. Наряд, который ты мне прислал, лежал передо мной, кораллы, которые мне прислала сеньора герцогиня, висели у меня на шее, в руках я держала письма, гонец был тут же, а мне, однако, чудилось и мерещилось, будто все, что я вижу и до чего дотрагиваюсь, это сон и ничего больше. И то сказать: кто бы мог подумать, что козопас вдруг станет губернатором острова? Помнишь, дружок, что говорила моя мать: «Кто много проживет, тот много и увидит»? Это я к тому, что надеюсь увидеть еще больше, если только суждено мне еще пожить. Нет, правда, я не успокоюсь до тех пор, пока не увижу тебя арендатором либо откупщиком, а кто на таком месте, тот хоть и может угодить к чертям в пекло, коли будет чинить злоупотребления, а без денег все-таки никогда не сидит. Сеньора герцогиня тебе передаст, что мне припала охота съездить в столицу; подумай и опиши мне, согласен ли ты, а уж я буду там разъезжать в карете и постараюсь тебя не обесславить.

Священник, цирюльник, бакалавр и даже причетник никак не

могут поверить, что ты — губернатор, и говорят, что это наваждение или же колдовство, как и все, что касается твоего господина Дон Кихота, а Самсон говорит, что он тебя разыщет и выбьет у тебя из головы губернаторство, из Дон Кихота же повыколотит его сумасбродство, а я на это только смеиваюсь и знай поглядываю на нитку кораллов да прикидываю, какое платье выйдет из твоего кафтана для нашей дочки.

Послала я сеньоре герцогине немного желудей — уж как бы мне хотелось, чтоб они были золотые! Если у вас на острове носят жемчужные ожерелья, то несколько таких ожерелий пришли мне.

Новости у нас в селе такие: Берруэка выдала свою дочь за какого-то захудалого маляра, который приехал к нам в село малавать что придется; совет наш заказал ему нарисовать королевский герб над воротами аюнтамьенто*, он запросил два дуката, ему дали их вперед, он с неделю провозился, но так ничего и не нарисовал: мне, говорит, столько разных разностей нарисовать не под силу. Деньги вернул, а жениться все-таки женился: успел пыль пустить в глаза, что он хороший мастер; на самом же деле кисти он теперь забросил, взялся за лопату и ходит себе по полю, словно помещик.

Нынешний год оливки у нас не родились, да и уксусу во всем селе не сыщешь ни капли.

Дочка вяжет кружева, зарабатывает восемь мараведи в день чистоганом и прячет в копилку — собирает на приданое, ну, а как теперь она губернаторская дочка, то и не к чему ей ради этого трудиться: уж ты дашь ей приданое. Фонтан у нас на площади высох; в позорный столб ударила молния; дай бог, чтоб и всем этим столбам был такой же конец.

Жду ответа на это письмо и решения касательно моей поездки в столицу. Засим пошли тебе господь больше лет жизни, чем мне самой, или, лучше, столько же, а то не хотелось бы мне оставлять тебя одного на белом свете.

Твоя жена
Тереса Панса.

Письма эти вызвали восторг, смех, похвалы и удивление, а тут еще в довершение всего явился гонец, тот самый, с которым Санчо послал письмо к Дон Кихоту, и письмо это также было прочитано вслух, после чего глупость губернатора была поставлена под сомнение. Герцогиня увела к себе гонца, чтобы расспросить, как его принимали в деревне Санчо, и тот, ничего не упустив, подробно изложил все обстоятельства; затем он передал герцогине желуды и сыр, который также ей послала Тереса, полагавшая, что сыр тот — чудо как хорош. Герцогиня приняла сыр с величайшим удовольствием, и тут мы ее и оставим, дабы рассказать, чем кончилось губернаторство великого Санчо Пансы, цвета и зеркала островных губернаторов.

Кто думает, что все на земле пребывает в одном и том же сос-

тоянии, тот впадает в ошибку; напротив того, нам представляется, что все в мире свершает свой круг, вернее сказать, круговорот: за весною идет лето, за летом осень; за осенью зима, за зимою весна — вот так и движется время, подобно вращающемуся непрерывно колесу, и только жизнь человеческая легче ветра стремится к концу.

Упомянутый Санчо в седьмую ночь своего губернаторства, пресыщенный не хлебом и вином, но судебным разбирательством, вынесением приговоров, составлением уложений и изданием чрезвычайных законов, находился в постели, и сон назло и наперекор голоду уже начинал смыкать его вежды, как вдруг послышались столь шумные крики и столь оглушительный звон колоколов, что можно было подумать, будто остров проваливается сквозь землю. Санчо сел на кровати и весь превратился в слух, пытаясь угадать, какова причина столь великого смятения; однако ж он так и не догадался, напротив того: вскоре к шуму голосов и колокольному звону примешались трубный звук и барабанный бой, и тут Санчо окончательно смешался и преисполнился страха и ужаса; он вскочил, надел туфли, ибо пол в спальне был холодный, и, не успев даже накинуть халат или что-нибудь в этом роде, приблизился к двери и увидел, что по коридору бегут более двадцати человек с горящими факелами и обнаженными шпагами; при этом все они громко кричали:

— К оружию, к оружию, сеньор губернатор! К оружию, несметная сила врагов вторглась на наш остров! Мы погибли, если только ваша находчивость и стойкость нас не спасут!

С этими криками, в неистовстве и смятении толпа добежала до Санчо, пораженного и ошеломленного всем, что он видел и слышал, и, добежав, один из толпы сказал:

— Вооружайтесь, ваше превосходительство, если не хотите погибнуть сами и погубить весь наш остров!

— Да зачем мне вооружаться! — воскликнул Санчо. — Разве я что-нибудь смыслю в вооружении и в обороне? Это дело лучше всего возложить на моего господина Дон Кихота — он бы в один миг с этим покончил и отразил нападение, а я, грешный человек, в такой кутерьме теряю голову.

— Ах, сеньор губернатор! — воскликнул другой. — Уместна ли подобная беспечность? Вооружайтесь, ваша милость, мы вам принесли оружие и доспехи, выходите на площадь, будьте нашим вождем и полководцем, ибо вам, нашему губернатору, по праву принадлежит эта честь.

— Ладно, вооружайте меня, — молвил Санчо.

В ту же минуту были принесены два щита, на сей предмет заранее припасенные, и приставлены к груди и к спине Санчо прямо поверх сорочки, надеть же еще что-либо ему не позволили; руки ему просунули в нарочно для этого проделанные отверстия, а затем накрепко стянули веревками, так что он был стиснут и зажат и, не имея возможности согнуть ноги в коленях или же ступить

шагу, держался прямо, как палка. В руки ему вложили копье, и, чтобы устоять на ногах, он на него оперся. Когда же он был таким образом облачен в доспехи, ему сказали, чтоб он шел вперед, вел за собой других и поднимал дух войска и что если, дескать, он согласится быть их путеводною звездою, фитилем и светочем, то все окончится благополучно.

— Да как же я, несчастный, пойду,— возразил Санчо,— когда я не могу даже пошевелить коленными чашечками, потому как меня не пускают вот эти доски, которые прямо прилипли к моей коже? Единственно, что вам остается,— это взять меня на руки и вставить стоймя или же наискосок в какую-нибудь калитку, и я буду ее защищать копьем или же собственным телом.

— Идите, сеньор губернатор,— сказал кто-то из толпы,— вас не пускают не столько доски, сколько страх. Совладайте с собой и поторопитесь, а то будет поздно: враг все прибывает, крики усиливаются, опасность возрастает.

В конце концов уговоры и порицания подействовали: бедный губернатор сделал было попытку сдвинуться с места, но тут же со всего размаху грянулся об пол, так что у него искры из глаз посыпались. Он остался лежать на полу, словно черепаха, заточенная и замурованная между верхним и нижним щитом, или словно окорок между двумя противнями, или, наконец, словно лодка, врезавшаяся носом в песок; между тем у насмешников падение его не вызвало ни малейшей жалости, напротив: они потушили факелы и еще громче стали кричать, с еще большим жаром принялись звать к оружию и, перепрыгивая через бедного Санчо, с такой яростью начали бить мечами по его щитам, что когда бы горемычный губернатор не подобрал ноги и не втянул голову под щиты, то ему бы несдобровать; стесненный и сжатый донельзя, он обливался потом и горячо молился богу, чтобы он избавил его от этой напасти. Одни на него натыкались, другие падали, а кто-то даже взобрался на него и, точно со сторожевой вышки, начал командовать войсками и кричать во всю мочь:

— Эй, наши, сюда! Неприятель больше всего теснит нас с этой стороны! Охраняйте этот вход! Заприте ворота! Загородите лестницы! Тащите сюда зажигательные снаряды, лейте вар и смолу в котлы с кипящим маслом! Перегородите улицы тюфяками!

Словом, он старательно перечислял всякую военную утварь, всевозможные орудия и боевые припасы, необходимые для того, чтобы отстоять город, меж тем как сильно потрепанный Санчо все это слушал, терпел и говорил себе: «О господи! Сделай так, чтобы остров как можно скорее был взят, а меня или умертви, или избавь от этой лютой невзгоды!» Небо услышало его мольбы, ибо нежданно-негаданно раздались крики:

— Победа, победа! Неприятель разбит! Сеньор губернатор, а сеньор губернатор! Вставайте, ваша милость! Спешите пожать плоды победы и распределить трофеи, захваченные у неприятеля благодаря твердости и неустранимости вашего духа!

— Поднимите меня,— слабым голосом молвил измученный Санчо.

Ему помогли встать, и, поднявшись с полу, он сказал:

— Плюньте мне в глаза, если я и впрямь кого-то победил. Не желаю я распределять трофеи и прошу и молю об одном: кто-нибудь из вас, будьте другом, дайте мне глоточек вина, а то у меня все в горле пересохло, и вытрите меня, а то я весь взмокнул от пота.

Когда же Санчо обтерли, принесли ему вина и сняли с него щиты, он сел на кровать и тут же от страха, волнения и усталости лишился чувств. Наших забавников уже начинала мучить совесть, что забава их оказалась столь для Санчо мучительной, однако Санчо скоро очнулся, и это их утешило. Санчо осведомился, который час; ему ответили, что уже светает. Он ни о чем более не стал спрашивать и без всяких разговоров, совершенное храня молчание, стал одеваться. Присутствовавшие смотрели на него и не могли взять в толк, какова цель этого столь поспешного одевания. Наконец он оделся и, еле передвигая ноги, ибо он был сильно потрепан и двигался с трудом, направился к конюшне, а за ним последовали все прочие; он же приблизился к серому, обнял его, в знак приветствия поцеловал в лоб и, прослезившись, заговорил:

— Приди ко мне, мой товарищ и друг, деливший со мною труды и горести! В ту пору, когда я с тобой водился и не имел других забот, кроме починки твоей упряжи и поддержания жизни твоей. часы мои, дни и ночи текли счастливо, но стоило мне тебя покинуть и взойти на башни тщеславия и гордыни, как меня стали осаждать тысяча нападений, тысяча мытарств и несколько тысяч треволнений.

Произнося такие речи, Санчо одновременно седлал осла, из окружающих же никто его не прерывал. Как скоро он оседлал серого, то с немалым трудом и с немалыми мучениями на него взобрался и, обратившись со словом и речью к домоправителю, секретарю, дворецкому, доктору Педро Нестерпимо и ко многим другим, здесь присутствовавшим, начал так:

— Дайте дорогу, государи мои! Дозвольте мне вернуться к прежней моей свободе. Я не рожден быть губернатором и защищать острова и города от вторжения вражеских полчищ. Я куда лучше умею пахать и копать землю, подрезывать и отсаживать виноград, нежели издавать законы и оборонять провинции и королевства. Каждый должен заниматься тем делом, для которого он рожден. Мне больше пристало держать в руке серп, чем жезл губернатора. Лучше мне досыта наедаться похлебкой, чем зависеть от скарденности нахального лекаря, который морит меня голодом. И я предпочитаю в летнее время развалиться под дубом, а в зимнюю пору накрываться шкурой двухгодовалого барана, но только знать, что ты сам себе господин, нежели под ярмом губернаторства спать на голландского полотна простынях и носить собольи меха. Оставляйтесь с богом, ваши милости, и скажите сеньору герцогу, что голышом я родился, голышом весь свой век

прожить ухитрился: я хочу сказать, что вступил я в должность губернатора без гроша в кармане и без гроша отсюда ухожу — в противоположность тому, как обыкновенно уезжают с островов губернаторы. А теперь раздайтесь и пропустите меня: я еду лечиться пластырями, а то у меня, поди, ни одного здорового ребра не осталось по милости врагов, которые нынче ночью по мне прошлись.

— Напрасно, сеньор губернатор,— возразил доктор Нестерпимо,— я дам вашей милости питье от ушибов и переломов, и вы сей же час окрепнете и выздоровеете. Что же до пищи, то я обещаю вашей милости исправиться и буду позволять вам отдавать обильную дань чему угодно.

— Нужно было раньше думать! — отрезал Санчо.— Я скорей превращусь в турка, чем отменю свой отъезд. Хорошенького понемножку. Клянусь богом, я и здесь, у вас, не останусь губернатором и никакого другого губернаторства не приму, хоть бы мне его на блюде поднесли, и это так же верно, как то, что на небо без крыльев не полетишь. Я из рода Панса, а Панса, все до одного, упрямы, и если кто из нас сказал: «Нечет», хотя бы на самом деле был чет, так всему свету назло и поставит на своем: нечет, да и только. Дальше постели ног не вытягивай, а теперь дайте мне дорогу: час-то ведь поздний.

На это домоправитель ему сказал:

— Сеньор губернатор! Мы вполне согласны отпустить вашу милость, хотя ваш отъезд весьма для нас огорчителен, ибо рассудительность ваша и христианские поступки таковы, что мы не можем о вас не сожалеть, однако вам должно быть известно, что всякий губернатор, прежде чем выехать из вверенной ему области, обязан представить отчет. Так вот, ваша милость, прежде представьте отчет за десять дней вашего губернаторства, а тогда поезжайте с богом.

— Никто не вправе требовать с меня отчета,— возразил Санчо,— за исключением лица, имеющего на то полномочия от самого сеньора герцога, а я как раз к герцогу и еду и представляю ему отчет по всем правилам. Тем более, уезжаю я отсюда голяком, а это самое лучшее доказательство, что управлял я как ангел.

— Ей-богу, почтенный Санчо прав,— молвил доктор Нестерпимо,— и я стою за то, чтобы его отпустить, герцог же будет весьма рад его видеть.

Все присоединились к доктору и отпустили Санчо, предложив ему предварительно охрану, а также все потребное для услаждения его особы и для удобств в пути. Санчо сказал, что он ничего не имеет против получить немного овса для серого, а для себя полголовы сыру и полкаравая хлеба: путь, дескать, недалкий, а по-сему лучших и более обильных запасов довольствия не требуется. Все стали его обнимать, он со слезами на глазах обнял каждого и наконец пустился в дорогу, они же долго еще дивились как его речам, так и непреклонному и столь разумному его решению.

ГЛАВА ХLI

О том, что произошло с Санчо в дороге, равно как и о других прелюбопытных вещах

Санчо замешкался в дороге и не успел в тот же день добратъся до герцогского замка: он уже был от него в полумиле, когда настала ночь, темная и непроглядная, а так как дело происходило летом, то он не чрезмерно этим огорчился и, порешив ждать до утра, свернул с дороги, но такова уж была его горькая и несчастная доля, что, ища, где бы поудобнее расположиться, он и его серый провалились в глубокое и наимрачнейшее подземелье, находившееся среди неких весьма древних развалин, и во время падения Санчо начал горячо молиться богу, полагая, что лететь ему теперь до самой преисподней. Однако вышло не так, ибо на расстоянии немногим более трех саженой от земной поверхности серый ощутил под собой твердую почву, Санчо же удержался на его спине, не получив не только ни малейшего увечья, но даже и повреждения. Он затаив дыхание ощупывал себя, чтобы удостовериться, невредим ли он и нет ли где какой царапины, когда же убедился, что жив и здоров, то долго-долго потом благодарил творца за оказанную милость: ведь до этого он был совершенно уверен, что от него останется мокрое место. Засим он ощупал руками стены подземелья, чтобы удостовериться, нельзя ли выкарабкаться отсюда без посторонней помощи; стены, однако ж, оказались гладкие, без малейшего выступа, каковому обстоятельству Санчо весьма опечалился, особенно когда услышал, что серый тихо и жалобно стонет, и стонал он не попусту, не от дурной привычки, а потому, что и в самом деле упал не весьма удачно.

— Ах! — воскликнул тут Санчо Панса. — Сколько неожиданных происшествий на каждом шагу случается с теми, что живут на этом злополучном свете! Придет ли кому в голову, что человек, который вчера еще занимал должность губернатора острова и повелевал своими прислужниками и вассалами, нынче будет погребен в яме и не найдется никого, кто бы его выручил, не найдется такого слуги и такого вассала, который пришел бы ему на помощь? Видно, погибать нам здесь с голодухи, и мне и моему ослу, если только мы раньше еще не помрем, он — от своих ушибов и увечий, а я — с тоски. Нет уж, мне не будет такой удачи, как моему господину Дон Кихоту Ламанчскому: в пещере заколдованного Монтесиноса, куда он сошел и спустился, его приняли лучше, нежели в собственном доме. Взору его явились в этой пещере прекрасные и умиротворяющие видения, а я здесь увижу, должно полагать, одних только жаб да змей. Несчастный я человек, вот до чего меня довели вздорные мои затеи! Отсюда уж — если бог захочет, чтобы меня нашли, — извлекут только мои косточки, гладкие, белые и обглоданные, вместе с костями доброго моего серого, и вот по ним-то, может статься, и догадаются, кто мы такие, — по край-

ности, догадаются те, которые знают, что Санчо Панса никогда не расставался со своим ослом, а осел — с Санчо Пансою. Опять скажу: горемычные мы с моим ослом! Видно, уж такая наша несчастная доля, не суждено нам умереть на родине, среди своих близких,— ведь если бы и там с нами стряслась беда непоправимая, то все-таки сыскались бы люди, которые нас пожалели бы и в смертный наш час закрыли бы нам глаза. Ах, товарищ и друг мой! Как дурно я тебя отблагодарил за верную твою службу! Прости меня, и как только можешь, умоляй судьбу, чтобы она избавила нас обоих от несносной этой напасти: за это я обещаю возложить тебе на голову лавровый венок, так что ты будешь похож на увенчанного лаврами поэта и стану выдавать тебе удвоенную порцию овса.

Так сетовал Санчо Панса, осел же слушал его, не говоря ни слова,— в столь затруднительном и бедственном положении находилось несчастное четвероногое. Вся ночь прошла у них в тяжких столах и слезных жалобах, и наконец настал день, при блеске и сиянии коего Санчо убедился, что выбраться из этого колодца без посторонней помощи совершенно немыслимо, и он снова начал стонать и кричать, полагая, что кто-нибудь да услышит его, но глас его был гласом вопиющего в пустыне, ибо во всей округе некому было его услышать, и тогда Санчо утратил всякую надежду на спасение. Серый по-прежнему лежал навзничь. Санчо Панса еле-еле поднял его, ибо серый с трудом мог держаться на ногах; затем Санчо вынул из дорожной сумы, разделившей его судьбу и совершившей падение вместе с ним, кус хлеба и протянул его ослу, осел же от такового даяния не отказался, а Санчо ему при этом молвил, словно тот в состоянии был его понять:

— С хлебушком нипочем и горюшко.

В это самое время он заприметил в стене подземелья отверстие, в которое, пригнувшись и скрючившись, мог пролезть человек. Санчо Панса бросился к этой стене и, съжившись, проник в отверстие, а проникнув, увидел, что оно длинное и чем далее, тем становится шире; рассмотреть же отверстие ему удалось благодаря солнечному лучу, который, пробиваясь как бы сквозь крышу, все внутри освещал. Еще он увидел, что далее отверстие расширяется и переходит во вторую просторную пещеру; увидев же все это, он возвратился к своему ослу, а затем начал камнем прочищать отверстие, и оно так увеличилось, что немного погодя через него легко можно было провести осла; Санчо только этого и нужно было: он взял осла за недоуздок и двинулся подземным ходом вперед в расчете на то, что с другой стороны окажется выход. Порою он шел в полумраке, порою — в полнейшей тьме, и все время — в страхе.

«Боже всемогущий, помоги мне! — говорил он про себя.— Для меня это сущее злоключение, а для господина моего Дон Кихота это, должно полагать, было бы изрядным приключением. Он бы, уж верно, принял эти пропасти и подземелья за цветущие

сады и дворцы и питал надежду, что за этими мрачными теснинами пред ним откроется цветущий луг, а я, злосчастный, скудоумный и малодушный, я каждую секунду ожидаю, что под ногами у меня внезапно развернется новая бездна, еще поглубже этой, и меня поглотит. Беда, когда приходит одна,— это еще не беда».

Таким-то образом и в подобных мыслях Санчо прошел, как ему показалось, немногим более полумили и наконец различил слабый свет, похожий на дневной: неведомо откуда пробиваясь, он указывал на то, что путь сей, представлявшийся Санчо путем на тот свет, на самом деле свободен.

Здесь мы его оставим и обратимся к Дон Кихоту. Как-то утром Дон Кихот, чтобы поупражняться, выехал из замка и погнал Росинанта карьером или, точнее, коротким галопом, Росинантовы же копыта очутились возле самого подземелья, и, не натяни Дон Кихот изо всех сил поводья, он свалился бы туда неминуемо. Так или иначе, он удержал Росинанта и не свалился; подъехав чуть-чуть ближе, он, не сходя с коня, стал осматривать яму, и, в то время как он ее осматривал, снизу до него донеслись громкие крики; тут он насторожился и в конце концов уловил и разобрал, что именно кричали из глубины:

— Эй вы, там, наверху! Неужто не найдется среди вас христианина, который меня бы услышал, или сострадательного рыцаря, который смилостивился бы над заживо погребенным грешником, над злополучным губернатором без губернаторства?

Дон Кихоту показалось, что это голос Санчо Пансы, и это его поразило и озадачило; и, сколько мог возвысив голос, он спросил:

— Кто там внизу? Кто это плачется?

— Кому же тут быть и кому еще плакаться,— послышалось в ответ,— как не бедняге Санчо Пансе, за свои грехи и на свое несчастье назначенному губернатором острова Баратарии, а прежде состоявшему в оруженосцах у славного рыцаря Дон Кихота Ламанчского?

При этих словах Дон Кихот пришел в совершенное изумление и остолбенел: он вообразил, что Санчо Панса умер и что в этом подземелье томится его душа; и, волнуемый этою мыслью, он заговорил:

— Заклинаю тебя всем, чем только может заклинать правоверный христианин: скажи мне, кто ты таков, и если ты неприкаянная душа, скажи, что я могу для тебя сделать, ибо хотя призвание мое состоит в том, чтобы покровительствовать и помогать несчастным, живущим в этом мире, однако ж я готов распространить его и на то, чтобы вызволять и выручать обездоленных, отошедших в мир иной, если только они сами не властны себе помочь.

— Узнаю по речам моего господина Дон Кихота Ламанчского,— послышалось в ответ,— да и голос, без сомнения, его.

— Да, я тот самый Дон Кихот, коего призвание — вызволять и выручать из бед живого и мертвого, а по сему скажи мне, кто ты таков.

— Клянусь, сеньор Дон Кихот Ламанчский,— слышалось в ответ,— что я оруженосец ваш Санчо Панса и что я за всю мою жизнь ни разу еще не умирал; мне только пришлось оставить губернаторство по причинам и обстоятельствам, о которых сейчас не время рассказывать, а нынче ночью я свалился в это подземелье вместе с моим серым, он может это подтвердить: ведь он здесь, налицо.

И что бы вы думали: осел, будто поняв, что говорит Санчо, в ту же секунду заревел, да так громко, что эхо отозвалось во всей пещере.

— Превосходный свидетель! — воскликнул Дон Кихот. — Я узнаю его рев, как если б он был моим родным сыном, да и твой голос, милый Санчо, мне также знаком. Погоди, я сейчас поеду в герцогский замок — он отсюда недалеко — и приведу с собой людей: они тебя вытащат из этого подземелья, куда ты попал, должно полагать, за грехи.

— Поезжайте, ваша милость,— молвил Санчо,— и, ради господа бога, возвращайтесь скорее: я не могу перенести этой мысли, что я заживо погребен, и умираю от страха.

Дон Кихот с ним расстался и, приехав в замок, рассказал их светлостям о случае с Санчо Пансою, чем привел их в немалое изумление; они тотчас же догадались, что Санчо провалился в одно из отверстий, ведущих в подземный ход, который еще в незапамятные времена был в тех местах проложен, но они не могли взять в толк, как это Санчо расстался с губернаторством, не уведомив их о своем приезде. Были пущены в дело веревки и канаты, и ценою великих усилий множества людей в конце концов удалось извлечь и серого, и Санчо Пансу из мрака на солнечный свет. Некий студент посмотрел на Санчо и сказал:

— Вот так следовало бы удалять с должностей всех дурных правителей — точь-в-точь как этого греховодника, вылезшего из глубокой пропасти: он голоден, бледен и, сколько я понимаю, без единого гроша в кармане.

Санчо, послушав такие речи, молвил:

— Дней восемь или десять тому назад я, господин клеветник, вступил в управление островом, который был мне пожалован, и за все это время я даже хлеба — и того вволю не видел. За это время меня измучили лекари, а враги переломали мне все кости. Я и взятку не брал, и податей не взимал, а когда так, то, думается мне, я заслужил, чтобы со мной расстались по-другому, ну да человек предполагает, а бог располагает. Господь знает, что для нас лучше и что каждому из нас положено, дают — бери, а бьют — беги, а грех да беда на кого не живет, потому сейчас у тебя дом — полная чаша, ан глядь — хоть шаром покати. И довольно об этом: бог правду видит, а я лучше помолчу, хотя мог бы еще кое-что сказать.

— Не сердись, Санчо, и не огорчайся: мало ли что про тебя скажут, а то ведь этому конца не будет. Лишь бы у тебя совесть

была чиста, а там пусть себе говорят что хотят, пытаться же привязать языки сплетникам — это все равно что запереть поле воротами. Если правитель уходит со своего поста богатым, говорят, что он вор, а коли бедняком, то говорят, что он простофиля и глупец.

— Могу ручаться,— заметил Санчо,— что кого-кого, а меня-то, уж верно, признают за дурака, а не за вора.

Сопровождаемые мальчишками и всяким иным людом, Дон Кихот и Санчо, все еще ведя этот разговор, приблизились к замку, где их уже поджидали в галерее герцог и герцогиня, однако, прежде чем подняться к герцогу, Санчо самолично устроил серого в стойле и только после этого поднялся на галерею к герцогской чете и, преклонив пред нею колена, заговорил:

— Сеньоры! Не за какие-либо с моей стороны заслуги, а единственно потому, что такова была воля ваших светлостей, я был назначен управлять вашим островом Баратарией, и как голяком я туда явился, так голяком и удалился. Хорошо ли, плохо ли я управлял — на то есть свидетели: что им бог на душу положит, то они вам и расскажут. Я разрешал спорные вопросы, выносил приговоры и вечно был голоден, оттого что на этом настаивал доктор Педро Нестерпимо, родом из Учертанарогеры, лекарь островной и губернаторский. Ночью на нас напали враги, опасность была велика, но в конце концов островитяне, пошли им господь столько здоровья, сколько в их словах правды, объявили, что благодаря твердости моего духа они своей свободы не отдали и одержали полную победу. Коротко говоря, за это время я взвесил все тяготы, и обязанности, сопряженные с должностью губернатора, и пришел к заключению, что плечи мои их не выдержат: эта ноша не для моего хребта и стрелы эти не для моего колчана, вот почему я надумал, прежде чем меня сбросят, самому бросить губернаторство, и вчера утром я покинул остров таким, каким увидел его впервые,— с теми же самыми улицами, домами и кровлями, какие были, когда я туда вступил. Покинул я остров безо всякой свиты — вся моя свита состояла из одного только серого,— дорогой свалился в подземелье, начал оттуда выбираться и наконец нынче утром при свете солнца отыскал выход, но только не слишком удобный, так что, не пошли мне господь сеньора Дон Кихота, я бы там оставался до скончания века. Ну так вот, ваши светлости, перед вами губернатор ваш Санчо Панса, который из тех десяти дней, что он прогубернаторствовал, извлек только одну прибыль, а именно: он узнал, что управление не то что одним островом, а и всем миром не стоит медного гроша. Приобретя же таковые познания, я лобызаю стопы ваших милостей, а засим, как в детской игре, когда говорят: «Ты — прыг, а я сюда — скок», прыг с моего губернаторства и перехожу на службу к моему господину Дон Кихоту.

На сем окончил пространную свою речь Санчо, Дон Кихот же все время боялся, как бы он не наговорил невесть сколько всякой ерунды, но когда Дон Кихот убедился, что Санчо уже кончил, а

ерунды наговорил совсем мало, то мысленно возблагодарил бога; герцог между тем обнял Санчо и сказал, что он весьма сожалеет, что Санчо так скоро ушел с должности губернатора, но что он, со своей стороны, примет меры, чтобы в его владениях для Санчо подыскивали какую-нибудь другую должность, менее тягостную и более выгодную. Герцогиня также обняла Санчо и велела его накормить, ибо у него был вид человека не весьма бодрого и еще менее упитанного.

ГЛАВА XLII

О том, что случилось с Дон Кихотом на пути в Барселону

Их светлости с самого начала не раскисались, что сыграли шутку с Санчо Пансой, дав ему погубернаторствовать; когда же к ним в тот самый день явился домоправитель и обстоятельнейшим образом доложил почти обо всех словах и поступках, сказанных и совершенных губернатором за эти дни, а в заключение живописал набег неприятельских войск, испуг Санчо и его отъезд, то они получили от всего этого немалое удовольствие.

Дон Кихот между тем начинал тяготиться тою праздною жизнью, какую он вел в замке; он полагал, что с его стороны это большой грех — предаваясь лени и бездействию, проводить дни в бесконечных пирах и развлечениях, которые для него, как для странствующего рыцаря, устраивались хозяевами, и склонен был думать, что за бездействие и праздность господь с него строго взыщет. — вот почему в один прекрасный день он попросил у их светлостей позволения уехать. Их светлости позволили, не преминув, однако ж, выразить глубокое свое сожаление по поводу его отъезда. Герцогиня отдала Санчо Пансе письмо его жены, и тот, обливаясь слезами, сказал себе:

— Кто бы мог подумать, что смелые мечты, которые зародились в душе моей жены Тересы Панса, как скоро она узнала про мое губернаторство, кончатся тем, что я снова вернусь к пагубным приключениям моего господина Дон Кихота Ламанчского? А все-таки я доволен, что моя Тереса в грязь лицом не ударила и послала герцогине желудей, потому как если б она их не послала, а тут еще я вернулся не в духе, то вышло бы невежливо. Радует меня и то, что подарок этот нельзя назвать взяткой: когда она его посылала, я уже был губернатором, и тут ничего такого нет, если за доброе дело чем-нибудь отблагодарить, хотя бы и пустячком. Да ведь и впрямь: голяком я вступил в должность губернатора, голяком и ушел, и могу сказать по чистой совести, а чистая совесть — это великое дело: «Голышом я родился, голышом весь свой век прожить ухитрился».

Так рассуждал сам с собою Санчо в день своего отъезда, Дон Кихот же, накануне вечером простившись с их светлостями, рано утром, облаченный в доспехи, появился на площади перед замком.

С галереи на него глазели все обитатели замка; герцог и герцогиня также вышли на него посмотреть. Санчо восседал на своем сером, при нем находились его дорожная сума, чемодан и съестные припасы, и был он рад-радехонек, оттого что герцогский домоправитель вручил ему кошелек с двумя сотнями золотых на путевые издержки.

Дон Кихот учтиво поклонился герцогу с герцогиней, а равно и всем присутствовавшим, засим поворотил Росинанта и, сопровождаемый Санчо верхом на осле, выехал за ворота замка. Как скоро он выехал в открытое поле, то почувствовал себя в своей стихии, почувствовал, что у него вновь явились душевные силы для того, чтобы продолжать дело рыцарства, и тут он повернулся лицом к Санчо и сказал:

— Свобода, Санчо, есть одна из самых драгоценных щедрот, которые небо изливает на людей; с нею не могут сравниться никакие сокровища: ни те, что таятся в недрах земли, ни те, что сокрыты на дне морском. Ради свободы, так же точно как и ради чести, можно и должно рисковать жизнью, и, напротив того, неволя есть величайшее из всех несчастий, какие только могут случиться с человеком. Говорю же я это, Санчо, вот к чему: ты видел, как за нами ухаживали и каким окружали довольством в том замке, который мы только что покинули, и, однако ж, несмотря на все эти роскошные яства и прохладительные напитки, мне лично казалось, будто я терплю муки голода, ибо я не вкушал их с тем же чувством свободы, как если б все это было мое, между тем обязательства, налагаемые благодеяниями и милостями, представляют собой путы, стесняющие свободу человеческого духа. Блажен тот, кому небо посылает кусок хлеба, за который он никого не обязан благодарить, кроме самого неба!

— А все-таки,— отозвался Санчо,— что бы вы ни говорили, нехорошо это будет с нашей стороны, если мы не почувствуем благодарности за кошелек с двумя сотнями золотых, который мне преподнес герцогский домоправитель: я его, вроде как успокоительный пластырь, ношу возле самого сердца,— мало ли что может быть: ведь не всегда же нам попадаются замки, где за нами ухаживают, случается заезжать и на постоянные дворы, где нас колотят.

Однажды Дон Кихота застигла ночь в стороне от большой дороги, в чаще дубового леса.

Господин и слуга спешили и расположились под деревьями, после чего Санчо, успевший в тот день хорошенько подзакусить, мгновенно юркнул в ворота сна, зато Дон Кихот, коему не столько голод не давал спать, сколько его думы, никак не мог сомкнуть вежды и мысленно переносился в места самые разнообразные. То ему представлялось, будто он находится в пещере Монтесиноса, то чудилось ему, будто превращенная в сельчанку Дульсинея подпрыгивает и вскакивает на ослицу, то в ушах его звучали слова мудрого Мерлина, излагавшего условия и способы расколдова-

ния Дульсинеи. Его приводили в отчаяние нерадение и бессердечие оруженосца Санчо, который, сколько Дон Кихоту было известно, нанес себе всего лишь пять ударов, то есть число ничтожное и несоизмеримое с тем бесчисленным числом ударов, которые ему еще оставалось себе нанести. И мысль эта привела Дон Кихота в такое беспокойство и раздражение, что он начал сам с собой рассуждать:

«Александр Великий разрубил гордиев узел* со словами: «Что разрубить, что развязать — все едино», и это не помешало ему стать безраздельным властелином всей Азии, следственно, не менее благоприятный исход может иметь случай с расколдованием Дульсинеи, если я, вопреки желанию самого Санчо, его отхлещу. Единственное условие этого предприятия заключается в том, чтобы Санчо получил три тысячи с лишним ударов, а коли так, то не все ли мне равно, кто их ему нанесет: он сам или же кто-то другой? Важно, чтоб он их получил, а как это произойдет, меня не касается».

С этой целью, захвативши Росинантову узду и сложивши ее таким образом, чтобы можно было ею хлестать, он приблизился к Санчо и начал расстегивать ему помочи, вернее одну переднюю пуговицу, на которой только и держались его шаровары. Но едва лишь Дон Кихот дотронулся до Санчо, как с того мгновенно соскочил сон.

— Что это? — спросил Санчо. — Кто меня трогает и раздевает?

— Это я, — отвечал Дон Кихот, — я пришел исправить твою оплошность и облегчить мою муку: я пришел бичевать тебя, Санчо, и помочь тебе хотя бы частично выполнить свое обязательство. Дульсинея гибнет, ты никаких мер не принимаешь, я умираю от любви к ней, так вот изволь по собственному желанию снять штаны, ибо мое желание состоит в том, чтобы отсчитать тебе в этом уединенном месте не менее двух тысяч ударов.

— Ну уж нет, — отозвался Санчо, — успокойтесь, ваша милость, а не то, истинный бог, я за себя не ручаюсь. Удары, которые я обязался себе отсчитать, должны быть добровольными, а не насильственными, а сейчас мне совсем не хочется себя хлестать. Я даю вашей милости слово выпороть и высечь себя, когда мне придет охота, и будет с вас.

— Нельзя полагаться на твою любезность, Санчо, — возразил Дон Кихот, — оттого что сердце у тебя черствое, а тело, хоть ты и деревенщина, нежное.

И по сему обстоятельству он всеми силами старался спустить с него штаны; в конце концов Санчо вскочил, бросился на своего господина, сцепился с ним и, давши ему подножку, повалил на землю; засим наступил ему правым коленом на грудь и стиснул руки так, что Дон Кихот не мог ни повернуться, ни вздохнуть.

— Как, предатель? — кричал Дон Кихот. — Ты восстаешь на своего господина и природного сеньора? Ты посягаешь на того, кто тебя кормит?

— Обещайте, ваша милость, вести себя смирно и не приставать ко мне с поркой, тогда я вас освобожу и отпущу,— объявил Санчо.

Дон Кихот дал обещание и поклялся всеми своими заветными помыслами не трогать даже ниточки на одежде Санчо, представив бичевание его доброй воле и хотению. Санчо встал и отошел на довольно значительное расстояние; когда же он вознамерился прикорннуть под другим деревом, то почувствовал, что кто-то словно коснулся его головы; он поднял руки и наткнулся на две человеческие ноги в башмаках и чулках. Санчо задрожал от страха; он бросился еще к одному дереву, но и тут с ним произошло то же самое. Он позвал на помощь Дон Кихота. Дон Кихот явился, и на вопрос, что случилось и чего он так испугался, Санчо ответил, что здесь все деревья увешаны человеческими ногами. Дон Кихот ощупал деревья и, тотчас догадавшись, что это такое, сказал Санчо:

— Тебе нечего бояться, потому что эти ноги, которые ты осязаешь, хотя и не видишь, принадлежат, разумеется, злодеям и разбойникам, на этих деревьях повешенным: власти, когда изловят их, обыкновенно вешают именно здесь, по двадцать, по тридцать человек сразу. Из этого я заключаю, что мы недалеко от Барселоны.

И точно, предположение Дон Кихота оказалось справедливым.

Когда на небе загорелась заря, путники обратили взоры свои вверх и увидели, что на деревьях гроздьями висят тела разбойников. Между тем становилось все светлее и светлее, и если сначала их ужаснули мертвецы, то не меньший трепет объял их затем при виде сорока с лишним живых разбойников, которые внезапно их окружили и приказали им стоять смирно и не двигаться с места до тех пор, пока не прибудет атаман. Дон Кихот был пеш, конь его был разнуздан, копье прислонено к дереву — словом, он был беззащитен, а потому рассудил за благо, приберегая силы для лучших времен и для более благоприятного стечения обстоятельств, сложить руки и склонить голову.

Разбойники поспешили обыскать осла и забрать все, что находилось в переметной суме, а равно и в чемодане, но, к счастью для Санчо, деньги, которые ему подарил герцог, вместе с теми, которые он взял с собой, отправляясь из родного села в поход, были спрятаны у него в поясе. И все же эти люди не преминули бы ощупать его с головы до ног, чтобы удостовериться, нет ли у него чего-нибудь между кожей и мясом, когда бы в это самое время не подоспел атаман; ему можно было дать года тридцать четыре, росту он был выше среднего, широк в плечах, с виду сумрачен, лицом смугл. Под ним был могучий конь, одет он был в стальную кольчугу, по бокам у него висели четыре пистолета (такие пистолеты в тех краях носят название кремневику). Увидев, что разбойники намереваются грабить Санчо Пансу, он велел не

трогать его, и они тотчас повиновались; так был спасен пояс с деньгами. Атаман пришел в изумление при виде копья, которое было прислонено к дереву, щита, лежавшего на земле, и облаченного в доспехи самого Дон Кихота, о чем-то размышлявшего с таким печальным и грустным выражением лица, точно он был олицетворенная печаль. Приблизившись к нему, атаман заговорил:

— Не печальтесь, добрый человек: вы попали к Роке Гинарту*, который не столь жесток, сколь милосерд.

— Печаль моя,— отвечал Дон Кихот,— вызвана не тем, что я оказался в твоей власти, доблестный Роке Гинарт, коего слава в этом мире не знает предела, но тем, что из-за своей беспечности я дал себя захватить врасплох твоими воинами, меж тем как по уставу странствующего рыцарства, к которому я принадлежу, мне подобает находиться в состоянии вечной тревоги, быть все-часным стражем самого себя. Да будет ведомо тебе, великий Роке, что если б воины твои напали на меня, когда подо мною был конь и при мне находились копье и щит, им не так-то легко было бы со мною справиться, ибо я — Дон Кихот Ламанчский, славою о подвигах коего полнится вся земля.

Тут Роке Гинарт догадался, что Дон Кихот прежде всего безумец, а потом уже храбрец, и хотя ему приходилось о нем слышать, однако ж деяниям его он не верил и не допускал мысли, чтобы такая блажь способна была овладеть человеческим сердцем; и он был чрезвычайно рад этой встрече, ибо благодаря ей мог увидеть вблизи то, о чем до него издалека доходили слухи. Он велел своим людям отдать Санчо все, что они сняли с серого, а затем выстроил их в ряд и приказал выложить одежду, драгоценности, деньги — словом, все, что было ими награблено со времени последнего дележа добычи; он быстро произвел оценку и, переводя на деньги стоимость того, что дележу не поддавалось, распределил добычу между всеми, кто состоял в его шайке, в высшей степени справедливо и точно. После того как все были удовлетворены, улагодворены и вознаграждены, Роке, обратившись к Дон Кихоту, пояснил:

— Если не проявлять такой точности, с ними невозможно было бы ужиться.

На это Санчо заметил:

— Судя по тому, что я сейчас видел, справедливость — это такая хорошая вещь, что ее и с ворами соблюдать должно.

Один из разбойников это услышал и замахнулся на Санчо прикладом своей аркебузы, каковым он, без сомнения, проломил бы ему голову, когда бы Роке Гинарт не остановил его окриком. Санчо обомлел и дал себе слово не раскрывать рта, пока будет находиться в обществе этих людей.

В это самое время прибежал один из тех разбойников, которых ставят, как часовых, на дорогах, чтобы они следили за прохожим и проезжим людом и обо всем докладывали своему главарю, и сказал:

— Сеньор! Невдалеке, на Барселонской дороге, показалось много народу.

Роке его спросил:

— А ты не разглядел, какие это люди: из числа тех, что охотятся за нами, или же из числа тех, за кем охотимся мы?

— Из числа тех, за кем охотимся мы,— отвечал тот.

— В таком случае, выступайте все,— приказал Роке,— и как можно скорее приведите их сюда, да глядите, чтобы никто из них не ускользнул.

Разбойники ушли, а Дон Кихот, Санчо и Роке стали ждать, кого они приведут. Роке тем временем обратился к Дон Кихоту с такими словами:

— Необычайными должны были показаться сеньору Дон Кихоту та жизнь, которую мы ведем, наши похождения, нашиключения,— необычайными и опасными, и это меня не удивляет, ибо я и сам сознаю, что нет образа жизни более беспокойного и чреватого треволнениями, нежели наш. Меня на это толкнула неутолимая жажда мести, а ведь эта жажда обладает свойством возмущать сердца самые мирные. От природы я человек отзывчивый и благонамеренный, но, как я уже сказал, желание отомстить за одно нанесенное мне оскорбление оказалось настолько сильнее добрых моих наклонностей, что я, вопреки и наперекор рассудку, закоренел в этой своей страсти. И все же я не теряю надежды выбраться из этого лабиринта и достигнуть тихого пристанища.

С удивлением слушал Дон Кихот благие и разумные слова Роке — прежде он был уверен, что среди тех, кто занимается грабежом, убийством и разбоем, нельзя найти человека, способного здраво рассуждать, и повел он с атаманом такую речь:

— Сеньор Роке! Знание своей болезни и готовность принимать лекарства, прописываемые врачом,— это уже начало выздоровления. Вы, ваша милость, больны, знаете свой недуг, и небо или, лучше сказать, господь бог, который является нашим врачом, назначит вам лекарства, от коих вы поправитесь,— лекарства, исцеляющие постепенно, но не вдруг и не чудом. К тому же грешники разумные ближе к исправлению, чем неразумные, а так как ваша милость выказала в своих речах мудрость, то вам остается лишь не терять бодрости и надеяться на облегчение недуга совести вашей. Если же ваша милость желает сократить путь и как можно скорее выйти на путь спасения, то следуйте за мною: я научу вас быть странствующим рыцарем, странствующий же рыцарь претерпевает столько мытарств и злоключений, что, являясь для него покаянием, они приводят его прямо в рай.

Выслушав совет Дон Кихота, Роке усмехнулся.

Тем временем возвратились ходившие на промысел разбойники и пригнали двух всадников верхом на мулах, двух пеших паломников, карету, в которой ехали какие-то дамы и которую сопровождали человек шесть слуг, пеших и конных, и, наконец, двух погонщиков, которых взяли себе в услужение всадники. Разбой-

ники оцепили их всех, при этом и побежденные и победители хранили совершенное молчание, ожидая, что скажет сам Роке Гинарт, атаман же спросил всадников, что они за люди, куда путь держат и сколько у них с собой денег. На это ему один из всадников ответил так:

— Сеньор! Мы оба — офицеры испанской пехоты, части наши стоят в Неаполе, мы же направляемся в Барселону, откуда, сколько нам известно, должны отойти галеры в Сицилию. Денег у нас не то двести, не то триста эскудо, и мы почитали себя богатыми и были довольны судьбой: ведь солдаты обыкновенно настолько бедны, что о больших сокровищах и мечтать не смеют.

С теми же самыми вопросами обратился Роке к паломникам; они ему ответили, что намеревались отплыть в Рим и что у них обоих, пожалуй, наберется шестьдесят реалов. Затем Роке осведомился, кто едет в карете, куда именно и сколько везут с собой денег, на что один из конных слуг ответил так:

— В карете едет моя госпожа, донья Гьомар де Киньонес, жена верховного судьи в Неаполе, а с нею малолетняя ее дочь, служанка и дуэнья. Сопровождают их шестеро слуг, а денег у них с собой шестьсот эскудо.

— Таким образом,— рассудил Роке Гинарт,— у нас здесь всего девятьсот эскудо и шестьдесят реалов, людей же у меня около шестидесяти. Проверим, сколько придется на брата, а то ведь я счетчик неважный.

Тут разбойники дружно воскликнули:

— Много лет здравствовать Роке Гинарту на горе всем негодям, что ищут его погибели!

Офицеры были, по-видимому, удручены, жена верховного судьи опечалилась, да и паломники отнюдь не возвеселились, узнав, что денежные средства будут у них отобраны. С минуту Роке держал их всех в состоянии мучительной неизвестности, затем, решившись не томить их долее,— а томление было написано на их лицах,— обратился к офицерам и снова заговорил:

— Господа офицеры! Будьте любезны, дайте мне, пожалуйста, шестьдесят эскудо, а у супруги верховного судьи я попрошу восемьдесят, так мои люди будут удовлетворены,— ведь вы сами знаете: поп тем и живет, что молитвы поет, а засим вы можете спокойно и беспрепятственно продолжать свой путь: я вам выдам охранную грамоту, чтобы в случае, если вас остановит еще какой-нибудь из моих отрядов, разбросанных по всей округе, он вас не трогал, ибо чинить обиды воинам, а равно и женщинам не входит в мои намерения.

Офицеры без конца и в самых изысканных выражениях благодарили Роке за то, что он так любезно и великодушно оставляет им их же собственные деньги. Сеньора донья Гьомар де Киньонес хотела было выскочить из кареты и поцеловать славному атаману руки и ноги, но он этому решительно воспротивился, более того: он попросил у нее прощения за ту неприятность, кото-

рую он вынужден был причинить ей, ибо того требовало несчастное его ремесло. Супруга верховного судьи велела одному из слуг своих немедленно выдать причитавшиеся с нее восемьдесят эскудо, офицеры же отсчитали шестьдесят. Паломники также готовы были расстаться с жалкими своими грошами, но Роке сказал, чтобы они не беспокоились, а затем, обратясь к своим людям, распорядился:

— Каждый из вас получит из этих денег по два эскудо, останется двадцать: десять из них мы отдадим паломникам, а остальные десять — славному спутнику этого рыцаря, чтобы он не поминал лихом сегодняшнее приключение.

Когда Роке подали письменные принадлежности, которые он всюду возил с собой, он составил охранную грамоту на имя главварей всех своих отрядов, а затем, попрощавшись с пленниками, отпустил их с миром. После этого он отошел в сторону и написал письмо к своему барселонскому приятелю, в коем уведомлял его о том, что сейчас у него находится достославный Дон Кихот Ламанчский, тот самый странствующий рыцарь, о котором столько существует рассказов, доводил до его сведения, что это самый забавный и самый здравомыслящий человек на свете и что через несколько дней, а именно в день святого Иоанна Крестителя, он, Роке, доставит его в полном вооружении, верхом на Росинанте, на барселонскую набережную, а вместе с ним и его оруженосца Санчо Пансу верхом на осле. Письмо это Роке отдал одному из своих товарищей, и тот, сменив разбойничье платье на крестьянское, пробрался в Барселону и вручил письмо по назначению.

ГЛАВА XLIII

О том, что случилось с Дон Кихотом при въезде в Барселону, равно как и о других вещах, вполне правдоподобных при всей их видимой нелепости

Три дня и три ночи провел Дон Кихот в обществе Роке, но, проживи он с ним и триста лет, все равно не уставал бы он с удивлением наблюдать, как живут разбойники: пробуждались они в одном месте, обедали в другом; то вдруг бежали, сами не зная от кого, то неведомо чего ожидали. Спали они на ходу, поминутно прерывая сон и беспрестанно кочуя. Все время они высылали разведчиков, выслушивали дозорных, раздували фитили аркебуз — впрочем, аркебуз у них было немного, почти все разбойники были вооружены кремневыми пистолетами. На ночь Роке уединялся в укромные места, никому из его людей не известные, ибо многочисленные указы барселонского вице-короля*, в коих была оценена голова атамана, держали его в состоянии вечной тревоги и страха; он никому не доверял, он боялся, что его убьют или выдадут властям свои же: воистину жалкая и тягостная жизнь.

Наконец давно не езженными дорогами, глухими и потаенными тропами Роке, Дон Кихот и Санчо вместе с шестью разбойни-

ками добрались до Барселоны. На набережную они прибыли в ночь накануне Иоанна Крестителя, и тут Роке, обняв сперва Дон Кихота, а затем Санчо, после долгих взаимных учтивостей удалился.

Роке исчез, а Дон Кихот, как был, верхом на коне, остался ждать рассвета, и точно: не в долгом времени в окнах востока показался ясный лик Авроры, доставляющий радость цветам и травам. В ту же самую минуту слух Дон Кихота и Санчо был приятно поражен доносившимися, по-видимому со стороны города, звуками множества труб и барабанов, звоном бубенчиков и быстро приближавшимися криками людей: «Раздайся! Раздайся!» Аврора уступила свое место солнцу, и лик его, поболее щита, начал медленно подниматься над горизонтом.

Дон Кихот и Санчо оглянулись по сторонам и в первый раз в жизни увидели море: оно показалось им огромным и бесконечным. У пристани стояли галеры; тенты на них были спущены, и глаз различал множество вымпелов и флагов, трепатавших на ветру и как бы касавшихся воды; с галер неслись звуки рожков, труб и гобоев, и воздух как вблизи, так и вдали полнился то нежными, то воинственными мелодиями. Но вот по тихим водам заскользили суда: началось потешное морское сражение, а в это самое время на берегу несметная сила разряженных всадников, прибывших из города на прекрасных конях, затеяла подобного же рода потеху. На галерах немолчная раздавалась пальба, одновременно палили с городских стен и из фортов: крепостная артиллерия ужасным своим грохотом сотрясала воздух, артиллерия морская ей вторила. Веселое море, ликующая земля, прозрачный воздух, лишь по временам заволакиваемый дымом из орудий,— все это вызывало и порождало в сердцах людей бурный восторг. Санчо же отказывался понимать, откуда у этих движущихся по воде громадин берется столько ног.

Тем временем всадники с шумными и радостными криками подсакали вплотную к пораженному и ошеломленному Дон Кихоту, и один из них, тот самый, которому писал Роке, обратился к Дон Кихоту и громко воскликнул:

— Милости просим в наш город, зеркало, маяк, светоч и путеводная звезда странствующего рыцарства, доблестный Дон Кихот Ламанчский!

Дон Кихот не ответил на это ни слова, да всадники и не стали дожидаться ответа: они гарцевали и выкидывали вольты вместе с другими; Дон Кихот же, вокруг которого происходили самые настоящие скачки, обратился к Санчо и сказал:

— Эти люди, по всей вероятности, нас узнали. Бьюсь об заклад, что они прочли правдивую повесть о нас.

Всадник, приветствовавший Дон Кихота, снова приблизился к нему и сказал:

— Сеньор Дон Кихот! Поедьте, ваша милость, с нами: мы покорные ваши слуги и закадычные друзья Роке Гинарта.



— Ведите меня, куда вам заблагорассудится, — отвечал Дон Кихот, — моя воля есть ваша воля.

Тот ответил ему не менее любезно, а затем всадники, окружив Дон Кихота со всех сторон, под звуки труб и барабанов вместе с ним направились в город; когда же они в город въезжали, то по наущению злого духа, который только и делает, что сеет зло, двое озорных и дерзких мальчишек — а мальчишки бывают иной раз лукавее самого лукавого — пробрались сквозь толпу и, задравши хвосты ослику и Росинанту, сунули и подложили туда по пучку дикого терна. Почувяв этот новый вид шпор, бедные животные поджали было

хвосты, но от этого неприятное ощущение лишь усилилось; они начали отчаянно брыкаться и в конце концов сбросили своих седоков наземь. Дон Кихот, в смущении и замешательстве, поспешил извлечь сей плюмаж из-под хвоста своей клячи, Санчо же пришел на помощь серому. Сопровождавшие Дон Кихота хотели было наказать мальчишек за их продерзость, но это им не удалось, оттого что сорванцы втиснулись в толпу других мальчишек, бежавших следом за ними.

Дон Кихот и Санчо снова сели верхами и под звуки все той же музыки и все так же торжественно подъехали к дому их вожатого, большому и великолепному, — одним словом, такому, какими бывают дома богатых кавальеро, и тут мы Дон Кихота и Санчо на время оставим.

ГЛАВА XLIV,

*повествующая о приключении,
которое принесло Дон Кихоту больше горя,
нежели все, какие до сих пор у него были*

Дон Антоньо Морено — так звали хозяина Дон Кихота — был кавальеро богатый и остроумный, любитель благопристойных и приятных увеселений; заманив Дон Кихота к себе в дом, он стал искать способов обнаружить перед всеми его сумасбродство, но только так, чтобы самому Дон Кихоту никакого вреда от того не получилось, ибо шутка, от которой становится больно, это уже не шутка, и никуда не годится то развлечение, от которого бывает ущерб другому. Первым делом он велел снять с Дон Кихота доспехи, а затем, как скоро тот остался в узком верблюжьем камзоле, вывел его на балкон, выходивший на одну из самых людных улиц города, напоказ всему народу и мальчишкам, глазевшим на него, словно на обезьяну. Перед взором Дон Кихота снова загарцевали всадники, и, глядя на них, можно было подумать, что вырядились они так для него одного, а не по случаю праздника. Санчо между тем ликовал: ему представлялось, что он бог весть какими судьбами снова попал то ли на свадьбу к Камачо, то ли в герцогский замок.

В этот день у дона Антоньо обедали его друзья, и все они обходились с Дон Кихотом как со странствующим рыцарем и воздавали ему особые почести, Дон Кихот же, приняв гордый и величественный вид, не помнил себя от восторга. Остроты Санчо были таковы, что все челядинцы, а равно и все его слушатели без исключения, так и смотрели ему в рот. За столом дон Антоньо обратился к Санчо с такими словами:

— Любезный Санчо! До нашего сведения дошло, будто ты великий любитель курника, а также фрикаделек, и будто, когда ты уже сыт по горло, ты прячешь их себе за пазуху про черный день*.



— Нет, сеньор, это неправда,— возразил Санчо,— я человек чистоплотный и совсем не такой обжора — мой господин Дон Кихот может подтвердить, что бывали времена, когда мы оба по целым неделям пробавлялись пригоршней желудей или орехов. Правда, иной раз, когда мне сулят коровку, я скорей бегу за веревкой: я хочу сказать, что пользуюсь случаем и ем то, что мне дают. Если же вы от кого услышите, что я обжора и неряха, то считайте, что этот человек не угадал,— я бы иначе выразился, да боюсь оскорбить слух столь почтенного общества.

— Не подлежит сомнению,— объявил Дон Кихот,— что уме-

ренность и опрятность Санчо в еде достойны быть отмеченными и запечатленными на меди, дабы сии достоинства его вечно жили в памяти поколений грядущих. Правда, когда он голоден, он бывает слегка прожорлив: в таких случаях он проворно работает челюстями и уплетает за обе щеки, зато по части опрятности он безупречен, более того, в бытность свою губернатором он научился есть на особый манер — он ел вилкой даже виноград и гранатовые зернышки.

— Как? — воскликнул дон Антонио. — Санчо был губернатором?

— Да, — отвечал Санчо, — губернатором острова Баратарии. Десять дней я управлял им по своему усмотрению, и за эти десять дней я утратил душевный покой и научился презирать все правления, какие только есть на свете. Я бежал оттуда, по дороге свалился в подземелье, думал — конец мне, но все-таки чудом спасся.

Дон Кихот во всех подробностях рассказал историю Санчова губернаторства, чем доставил слушателям немалое удовольствие.

В тот же вечер Дон Кихота соблазнили прокатиться по городу, но только упросили его снять доспехи и отправиться в выходном платье и в светло-коричневого сукна плаще, под которым в то время года вспотел бы даже лед. Чтобы Санчо остался дома, слугам велено было занимать его. Дон Кихот восседал не на Росинанте, а на могучем, богато убранном муле, у коего шаг был ровный. К плащу Дон Кихота незаметно для него прицепили сзади пергамент, на котором крупными буквами было написано: «Дон Кихот Ламанчский». Во все время прогулки надпись эта неизменно привлекала к себе внимание прохожих, они читали вслух: «Дон Кихот Ламанчский», а Дон Кихот не уставал дивиться: кто, мол, на него не глянет, всякий узнаёт его и называет по имени; и, обратясь к дону Антонио, ехавшему с ним рядом, он наконец сказал:

— Великим преимуществом обладает странствующее рыцарство; всем, кто на этом поприще подвигается, оно приносит всемирную известность и славу. В самом деле, сеньор дон Антонио, подумайте: в этом городе даже мальчишки — и те меня знают, хотя никогда прежде не видели.

— То правда, сеньор Дон Кихот, — подтвердил дон Антонио, — подобно тому как пламя нельзя спрятать или утаить, так точно доблесть не может пребывать в безвестности, та же доблесть, которую выказывают на ратном поле, берет верх над всеми иными доблестями.

Случилось, однако ж, так, что когда Дон Кихот с вышеописанною торжественностью ехал по городу, некий кастилец, прочтя на его спине надпись, крикнул:

— Черт бы тебя взял, Дон Кихот Ламанчский! И как это ты сюда добрался, не околевав по дороге от бесчисленных ударов, которые на тебя так и сыпались? Ты — безумец, и если б ты безумствовал один на один с самим собой, замкнувшись в своем безу-

мии, это бы еще куда ни шло, но ты обладаешь способностью сводить с ума и сбивать с толку всех, кто только с тобою общается и беседует,— достаточно поглядеть на этих сеньоров, которые тебя сопровождают. Поезжай, полоумный, домой, займись хозяйством, заботься о жене и детях и оставь свои бредни, которые только истощают мозг и мутят рассудок.

— Идите-ка, братец, своей дорогой,— сказал дон Антонио,— и не давайте советов, когда у вас их не просят. Сеньор Дон Кихот Ламанчский — человек вполне благоразумный, да и мы, его сопровождающие, не дураки. Доблесть всегда должно чтить, где бы она ни встретилась. Убирайтесь ко всем чертям и не в свое дело не лезьте!

— А ведь вы, ей-богу, правы,— заметил кастилец,— советовать что-нибудь этому молодцу — все равно что воду в ступе толочь, однако ж, со всем тем, меня берет досада, что такой ясный ум, который, как я слышал, во всем остальном выказывает этот помешанный, растрчивает себя на странствующее рыцарство. Но только скорей я сам и все мои потомки уберемся ко всем чертям, как изволила выразиться ваша милость, нежели впредь — проживи я даже больше, чем Мафусаил,— я кому-нибудь преподам совет, хотя бы у меня его и просили.

Советчик пошел дальше; прогулка возобновилась; однако мальчишки и всякий иной люд столь усердно читали надпись, что дон Антонио в конце концов рассудил за благо снять ее, сделав, впрочем, вид, будто он снимает что-то другое.

Однажды утром Дон Кихот, облаченный во все свои доспехи, ибо он любил повторять, что его наряд — это его доспехи, а в лютой битве — его покой, и оттого не расставался с ними ни на мгновение, выехал прогуляться по набережной и вдруг увидел, что навстречу ему едет рыцарь, вооруженный, как и он, с головы до ног, при этом на щите у него была нарисована сияющая луна; приблизившись на такое расстояние, откуда его должно было быть слышно, рыцарь возвысил голос и обратился к Дон Кихоту с такую речью:

— Преславный и еще недостаточно оцененный рыцарь Дон Кихот Ламанчский! Я тот самый Рыцарь Белой Луны, коего беспримерные деяния, уж верно, тебе памяты. Я намерен сразиться с тобою и испытать мощь твоих дланей, дабы ты признал и подтвердил, что моя госпожа, кто бы она ни была, бесконечно прекраснее твоей Дульсинеи Тобосской, и если ты открыто в этом признаешься, то себя самого избавишь от смерти, меня же — от труда умерщвлять тебя. Если же ты пожелаешь со мною биться и я тебя одолею, то в виде удовлетворения я потребую лишь, чтобы ты сложил оружие и, отказавшись от дальнейших поисков приключений, удалился и уединился в родное свое село сроком на один год и, не притрагиваясь к мечу, стал проводить свои дни в мирной тишине и благодетельном спокойствии, ибо того требуют приумножение достояния твоего и спасение твоей души. Буде же

ты меня одолеешь, то в сем случае ты волен отсечь мне голову, доспехи мои и конь достанутся тебе, слава же о моих подвигах прибавится к твоей славе. Итак, выбирай любое и с ответом не медли, потому что я намерен нынче же с этим делом покончить.

Дон Кихот был поражен и озадачен как дерзким тоном Рыцаря Белой Луны, так и причиною вызова, и он строго, впрочем сохраняя наружное спокойствие, ему ответил:

— Рыцарь Белой Луны! О подвигах ваших я доселе не был наслышан, и я готов поклясться, что вы никогда не видели сиятельнейшую Дульсинею Тобосскую: я уверен, что если б вы ее видели, то воздержались бы от подобного вызова, ибо, улицезрев ее, вы тот же час удостоверились бы, что не было и не может быть на свете красавицы, которая сравнялась бы с Дульсинеей. Поэтому я не стану говорить, что вы лжете, а скажу, что вы заблуждаетесь, вызов же, который вы мне сделали, я на указанных вами условиях принимаю и предлагаю сразиться сей же час, не откладывая до другого дня. Единственно, на что я не могу согласиться, это чтобы слава о ваших подвигах перешла ко мне, ибо мне неизвестно, каковы они и что они собою представляют,— с меня довольно моих, каковы бы они ни были. Выбирайте же себе любое место на поле битвы, я выберу себе, а там что господь даст.

В городе уже заметили Рыцаря Белой Луны и уведомили вице-короля как о самом рыцаре, так и о том, что он вступил в разговор с Дон Кихотом Ламанчским. Вице-король вместе с доном Антоньо и множеством других кавальеро поспешил на набережную и прибыл туда как раз в ту минуту, когда Дон Кихот поворачивал Росинанта, чтобы взять разбег. Увидев, что всадники вот-вот налетят друг на друга, вице-король стал между ними и спросил, что за причина столь внезапной битвы. Рыцарь Белой Луны ответил, что спор у них зашел о том, кто первая красавица в мире, и, вкратце повторив все то, о чем он уже говорил Дон Кихоту, перечислил условия поединка, принятые обеими сторонами. Вице-король приблизился к дону Антоньо и тихо спросил, знает ли он, кто таков Рыцарь Белой Луны, и не намерен ли он подшутить над Дон Кихотом. Дон Антоньо ему ответил, что рыцаря он не знает и не знает также, в шутку или по-настоящему вызывает он Дон Кихота на поединок. Ответ дона Антоньо привел вице-короля в замешательство, и он колебался, позволить или воспретить единоборство; и все же он не мог допустить мысли, что это не шуточный поединок, а потому отъехал в сторону и сказал:

— Сеньоры кавальеро! Коль скоро у каждого из вас нет иного выхода, кроме как признать правоту своего противника или же умереть, между тем сеньор Дон Кихот продолжает стоять на своем, а ваша милость, Рыцарь Белой Луны, на своем, то начинайте с богом.

Рыцарь Белой Луны в изысканных и остроумных выражениях поблагодарил вице-короля за то, что он им позволил сразиться, и с такою же речью обратился к вице-королю Дон Кихот. За-



тем, всецело отдавшись под покровительство сил небесных, а равно и под покровительство Дульсинеи (как это он имел обыкновение делать перед началом всякого боя), Дон Кихот снова взял небольшой разбег, ибо заметил, что его противник также берет разгон, после чего без трубного звука и без какого-либо другого сигнала к бою рыцари одновременно поворотили коней и ринулись навстречу друг другу, но конь Рыцаря Белой Луны оказался проворнее и успел пробежать две трети разделявшего их расстояния, и тут Рыцарь Белой Луны, не пуская в ход копья (которое он, видимо, нарочно поднял вверх), с такой бешеной силой налетел на Дон Кихота, что тот вместе с Росинантом рискованное со-

вершил падение. Рыцарь Белой Луны мгновенно очутился подле него и, приставив к его забралу копье, молвил:

— Вы побеждены, рыцарь, и вы умрете, если не пожелаете соблюсти условия нашего поединка.

Дон Кихот, ушибленный и оглушенный падением, не поднимая забрала, голосом слабым и глухим, как бы доносившимся из подземелья, произнес:

— Дульсинея Тобосская — самая прекрасная женщина в мире, а я самый несчастный рыцарь на свете, но мое бессилие не должно поколебать эту истину. Вонзай же копье свое, рыцарь, и отними у меня жизнь, ибо честь ты у меня уже отнял.

— Ни в коем случае, — объявил Рыцарь Белой Луны, — пусть все так же идет по миру слава о красоте сеньоры Дульси-неи Тобосской. Я удовольствуюсь тем, что досточтимый Дон Кихот удалится в свое имение на год, — словом, впредь до особого моего распоряжения, о чем у нас было условлено перед началом схватки.

Все это слышали вице-король, дон Антоньо и многие другие, при сем присутствовавшие, и слышали они также ответ Дон Кихота, который объявил, что копь скоро ничего оскорбительного для Дульсины с него не требуют, то он, будучи рыцарем добросовестным и честным, все остальное готов исполнить. Выслушав это признание, Рыцарь Белой Луны поворотил коня и, поклонившись вице-королю, поскакал коротким галопом в город.

Вице-король попросил дона Антоньо поехать за ним и во что бы то ни стало попытаться, кто он таков. Дон Кихота подхватили на руки, и когда подняли ему забрало, то все увидели его бледное и покрытое потом лицо. Росинант же пребывал в столь жалком состоянии, что все еще не мог сдвинуться с места. Санчо, опечаленный и удрученный, не знал, что сказать и как поступить; у него было такое чувство, будто все это происходит во сне и словно все это сплошная чертовщина. На глазах Санчо его господин признал себя побежденным и обязался в течение целого года не браться за оружие, и казалось Санчо, что слава о великих подвигах Дон Кихота меркнет и что его собственные надежды, оживившиеся благодаря недавним обещаниям Дон Кихота, исчезают, как дым на ветру. Он боялся, не повреждены ли кости у Росинанта, и еще он боялся, что у его господина прошло повреждение ума (а между тем какое это было бы счастье!). В конце концов Дон Кихота понесли в город на носилках, которые были сюда доставлены по приказу вице-короля, а за ним последовал и вице-король, ибо ему любопытно было знать, кто таков Рыцарь Белой Луны, который столь безжалостно поступил с Дон Кихотом.

ГЛАВА XLV,

в коей сообщается о том, кто был Рыцарь Белой Луны

Дон Антоньо Морено поехал следом за Рыцарем Белой Луны, и еще следовали за рыцарем гурьбою и, можно сказать, пре-

следовали его мальчишки до тех пор, пока он не укрылся в одной из городских гостиниц. Побуждаемый желанием с ним познакомиться, дон Антоньо туда вошел; рыцаря встретил слуга, чтобы снять с него доспехи; рыцарь прошел в залу, а за ним дон Антоньо, которого подмывало узнать, что же это за человек. Заметив, что кавальеро от него не отстает, Рыцарь Белой Луны обратился к нему с такими словами:

— Я вижу, сеньор, что вы пришли узнать, кто я таков, а так как мне скрывать не для чего, то, пока слуга будет снимать с меня доспехи, я вам расскажу все без утайки. Да будет вам известно, сеньор, что я бакалавр Самсон Карраско, односельчанин Дон Кихота Ламанчского, коего помешательство и слабоумие вызывают сожаление у всех его знакомых, и к числу тех, кто особенно о нем сокрушается, принадлежу я. Полагая же, что залог его выздоровления — покой и что ему необходимо пожить на родине и у себя дома, я придумал способ, как принудить его возвратиться, и вот месяца три тому назад, переодевшись странствующим рыцарем и назвавшись Рыцарем Зеркал, я настиг его по дороге; у меня было намерение сразиться с ним и, не причинив ему ни малейшего вреда, одолеть, при этом я предполагал биться на таких условиях, что побежденный сдастся на милость победителя, а потребовать я с него хотел (ведь я уже заранее считал его побежденным), чтобы он возвратился в родное село и никуда оттуда не выезжал в течение года, а за это время он, мол, поправится; однако ж судьба распорядилась иначе, то есть одолел не я, а он, — он вышиб меня из седла, и таким образом замысел мой не был приведен в исполнение; он поехал дальше, а я, побежденный, посрамленный, оглушенный падением, которое, должно заметить, могло дурно для меня кончиться, возвратился во свояси, и все же у меня не пропала охота снова его разыскать и одолеть, чего мне и удалось достигнуть сегодня у вас на глазах. А так как он строго придерживается законов странствующего рыцарства, то, разумеется, во исполнение данного им слова не преминет подчиниться моему требованию. Вот, сеньор, и все, больше мне вам сказать нечего, но только я вас прошу: не выдавайте меня, не говорите Дон Кихоту, кто я таков, иначе не осуществится доброе мое намерение возвратить рассудок человеку, который умеет так здраво рассуждать, когда дело не касается всей этой рыцарской гили.

— Ах, сеньор! — воскликнул дон Антоньо. — Да простит вас бог за то, что вы наносите столь великий урон всему миру, стремясь образумить забавнейшего безумца на свете! Неужели вы, сеньор, не понимаете, что польза от Донкихотова здравомыслия не может идти ни в какое сравнение с тем удовольствием, которое доставляют его сумасбродства? Впрочем, я полагаю, что вся ваша изобретательность, сеньор бакалавр, окажется бессильной привести в разум человека, столь безнадежно больного. Конечно, нехорошо так говорить, но мне бы хотелось, чтобы Дон Кихот так

и остался умалишенным, потому что стоит ему выздороветь — и для нас уже навеки потеряны забавные выходки не только его самого, но и его оруженосца Санчо Пансы, а ведь любая из них способна развеселить самое меланхолию. Но все же я буду молчать и ничего не скажу Дон Кихоту — посмотрю, оправдаются ли мои предположения, что из всех ваших стараний, сеньор Карраско, ровно ничего не выйдет.

Карраско на это сказал, что дело его, несомненно, идет на лад и что он твердо верит в благоприятный его исход. Дон Антонио объявил, что он всегда к его услугам, после чего они распрощались, и Самсон Карраско, велев навьючить свои доспехи на мула и не задерживаясь долее ни минуты, на том самом коне, что участвовал в битве с Дон Кихотом, выехал из города и прибыл в родные края, причем в пути с ним не произошло ничего такого, о чем следовало бы упомянуть на страницах правдивой этой истории. Дон Антонио передал вице-королю все, что ему рассказал Карраско, от чего вице-король в восторг не пришел, ибо он полагал, что удаление Дон Кихота на покой лишит удовольствия всех, кто имел возможность получать сведения о его безумствах.

Дон Кихот, ослабевший, унылый, задумчивый и мрачный, пролежал в постели шесть дней, и все это время его неотступно преследовала мысль о злополучной битве, кончившейся его поражением. Санчо, сколько мог, его утешал и, между прочим, сказал ему следующее:

— Выше голову, государь мой! Постарайтесь рассеяться и возблагодарите господа бога за то, что, сверзившись с коня, вы ни одного ребра себе не сломали. Известно, что где дают, там же и бьют, дом с виду — полная чаша, а зайдешь — хоть шаром покати, так вот, стало быть, наплюйте на всех лекарей, потому никакого лекаря для вашей болезни не требуется, и поедемте домой, а поиски приключений в неведомых краях и незнакомых местах давайте-ка бросим. И ежели вдуматься, то больше всего на этом деле пострадал я, хотя, впрочем, доставалось больше вашей милости. Когда я покинул свое губернаторство, то у меня пропала всякая охота еще когда-нибудь губернаторствовать, но зато меня не покинуло желание стать графом, а ведь этому уж не бывать, потому как ваша милость покидает рыцарское поприще, а значит, вам уж не бывать королем: вот и выходит, что надеждам моим, как видно, не сбыться.

— Оставь, Санчо! Ведь тебе же известно, что мое заточение и затворничество продлится не более года, а затем я снова возвращусь к моему почтенному занятию и не премину добыть себе королевство, а тебе графство.

— В добрый час сказать, в худой помолчать, — заметил Санчо. — Мне частенько приходилось слышать, что лучше на что-нибудь хорошее надеяться, чем иметь в руках что-нибудь дрянное.

Дон Кихот выехал из города без оружия, а Санчо пешком, оттого что на серого навьючены были доспехи.

ГЛАВА XLVI

*О том, как Дон Кихот принял решение стать пастухом
и до истечения годовичного срока жить среди полей,
равно как и о других вещах,
поистине приятных и превосходных*

Уезжая из Барселоны, Дон Кихот обернулся и, бросив взгляд на то место, где он свалился с коня, воскликнул:

— Здесь была Троя! Здесь моя недоля, а не моя трусость похитила добытую мною славу, здесь Фортуна показала мне, сколь она изменчива, здесь помрачился блеск моих подвигов — одним словом, здесь закатилась моя счастливая звезда и никогда уже более не воссияет!

Послушав такие речи, Санчо сказал:

— Доблестным сердцам, государь мой, столь же подобает быть терпеливыми в годину бедствий, сколь и радостными в пору преуспеваний, и это я сужу по себе: когда я был губернатором, я был весел, но и теперь, когда я всего только пеший оруженосец, я тоже не унываю, потому я слышал, что так называемая Фортуна — это пьяная и вздорная бабенка и вдобавок еще слепая: она не видит, что творит, и не знает, кого она низвергает, а кого возвеличивает.

— Ты изрядный философ, Санчо,— заметил Дон Кихот,— ты весьма здраво рассуждаешь, не знаю только, от кого ты этому научился. Полагаю, однако ж, не лишним заметить, что никакой Фортуны на свете нет, а все, что на свете творится, доброе или же дурное, совершается не случайно, но по особому предопределению неба, и вот откуда известное изречение: «Каждый человек — кузнец своего счастья». Я также был кузнецом своего счастья, но я не выказал должного благоразумия, меня подвела моя самонадеянность: ведь я же должен был понять, что тощий мой Росинант не устоит против могучего и громадного коня Рыцаря Белой Луны. Словом, я дерзнул, собрал все свое мужество, меня сбили с коня, и хотя я утратил честь, но зато не утратил, да и не мог утратить, добродетели, заключающейся в верности своему слову. Когда я был странствующим рыцарем, дерзновенным и отважным, я собственною своею рукою, своими подвигами доказывал, каков я на деле, ныне же, когда я стал обыкновенным идалго, я исполню свое обещание и тем докажу, что я господин своему слову. Итак, вперед, друг Санчо: мы проведем этот год искуса дома, накопим сил за время нашего заточения и вновь устремимся на бранное поприще, вовеки незабвенное.

— Сеньор! — молвил Санчо. — Плестись пешком вовсе не так приятно, я отнюдь не обуеваем страстью к большим переходам. Давайте-ка повесим доспехи на дерево, вместо разбойника, когда же я устроюсь на спине у серого и ноги мои перестанут касаться земли, мы сможем совершать любые переходы, какие только ва-

ша милость потребует и назначит, а чтобы я пешком отмахивал большие расстояния — это вещь невозможная.

— Ты дело говоришь, Санчо,— заметил Дон Кихот,— пусть мои доспехи висят в виде трофея, а под ними или же где-нибудь рядом мы вырежем на древесной коре такую же точно надпись, какая была начертана на трофее Роландовом*, состоявшем из его доспехов:

Лишь тот достоин ими обладать,
Кто и Роланду бой решится дать.

— Чудо как хорошо,— заметил Санчо,— и если б Росинант не нужен был нам в пути, то и его не худо бы подвесить.

— Нет,— сказал Дон Кихот,— нельзя подвешивать ни Росинанта, ни мои доспехи, а то станут про меня говорить: «Так-то он платит за верную службу?»

— Совершенная правда, ваша милость,— согласился Санчо.— Умные люди считают, что не должно вину осла перекладывать на седло, в том же, что произошло, виновата ваша милость, а посему и наказывайте себя самого, но не вымещайте свою досаду ни на поломанных и окровавленных доспехах, ни на смирном Росинанте, ни на моих нежных ногах и не требуйте, чтобы они топали больше того, что им положено.

Разговаривая таким образом, ехали они своей дорогой и наконец увидели луг. Дон Кихот окинул его взглядом и сказал Санчо:

— Если ты ничего не имеешь против, Санчо, давай превратимся в пастухов* хотя бы на то время, которое мне положено провести в уединении. Я куплю овец и все, что нужно пастухам, назовусь пастухом *Кихотисом*, ты назовешься пастухом *Пансино*, и мы, то распевая песни, то сетуя, будем бродить по горам, рощам и лугам, утоляя жажду текучим хрусталем ключей, светлых ручейков или же полноводных рек. Дубы щедро оделят нас сладчайшими своими плодами, крепчайшие стволы дубов пробковых предложат нам сиденья, ивы — свою тень, розы одарят нас своим благоуханием, необозримые луга — многоцветными коврами, прозрачный и чистый воздух напоит нас своим дыханием, луна и звезды подарят нам свой свет, торжествующий над ночной темнотою, песни доставят нам удовольствие, слезы — отраду, Аполлон вдохновит нас на стихи, а любовь подскажет нам такие замыслы, которые обессмертят нас и прославят не только в век нынешний, но и в веках грядущих.

— Ей-богу, мне такая жизнь как раз по нутру,— признался Санчо,— да не только мне — дайте на нас поглядеть бакалавру Самсону Карраско и цирюльнику маэсе Николасу, и они тот же час к нам присоединятся и заделаются пастухами, а там, глядишь, и сам священник преподжалует к нашему шалашу: ведь он у нас весельчак и любит разные потехи.

— Мысль верная,— заметил Дон Кихот,— бакалавр Самсон

Карраско, если только он вступит в нашу пастушескую общину, — а он, разумеется, вступит, — может назваться пастухом *Самсон* или пастухом *Каррасконом*, а цирюльник Николас может назваться *Никулосо*. Вот только не знаю, какое бы нам имя придумать священнику. Впрочем, как производное от его сана, ему можно дать прозвище пастуха *Пресвитериамбро**. Между тем подобрать имена для пастушек, в которых мы будем влюблены, это проще простого, а так как имя моей госпожи одинаково подходит и для пастушки и для принцессы, то и не к чему мне утруждать себя поисками более удачного имени, ты же, Санчо, подбери для своей пастушки какое угодно.

— Я буду звать ее только *Тересоной*, — объявил Санчо, — это как раз подойдет к ее настоящему имени: ведь ее зовут Тересой. Мало того: я еще буду воспевать ее в стихах и тем докажу, что я человек добродетельный и по чужим домам от добра добра не ищу.

— Господи ты боже мой, какую жизнь мы будем с тобой вести, друг Санчо! — воскликнул Дон Кихот. — Каких только кларнетов, волюнок, тамбуринов, бубнов и равелей мы с тобой не наслаждаемся! А чтобы мы могли показать себя на новом поприще с наивыгодной стороны, то нам тут окажет существенную помощь вот какое обстоятельство: ведь я, как ты знаешь, отчасти стихотворец, бакалавр же Самсон Карраско — поэт изрядный. О священнике я ничего не могу сказать, однако ж готов биться об заклад, что он балуется стихами. Не сомневаюсь, что грешит этим и маэсе Николас, оттого что все или почти все цирюльники — гитаристы и стихоплеты. Я стану сетовать на разлуку, ты станешь воспевать свое постоянство в любви, пастух Карраскон будет роптать на то, что он отвергнут, священник Пресвитериамбро избежит то, что ему всего более придется по душе, — словом, все выйдет как нельзя лучше.

Санчо же ему на это сказал:

— Я, сеньор, человек незадачливый и, боюсь, не доживу до такой жизни. А каких бы деревянных ложек я наделал, когда бы стал пастухом! Какие бы у нас были гренки, какие сливки, какие венки — словом, всякая была бы у нас всячина, какая только водится у пастухов, так что за умника я, пожалуй что, и не сошел бы, а за искутника — это уж наверняка.

— Однако довольно об этом, — заметил Дон Кихот, — уже стемнело, давай-ка свернем с большой дороги и заночуем где-нибудь поблизости, — утро вечера мудренее.

Они свернули в сторону, и ужин вышел у них поздний и скудный, что весьма огорчило Санчо, коего мысленному взору снова представились все лишения, сопряженные с поприщем странствующего рыцарства и с блужданиями в лесах и горах и лишь по временам сменяющиеся довольством в замках и домах, как, например, на свадьбе у богача Камачо и в гостях у дона Антонио



Морено, однако ж, приняв в соображение, что как дню, так и ночи бывает конец, Санчо рассудил за благо лечь спать, господин же его порешил бодрствовать.

ГЛАВА XLVII

*О том, что случилось с Дон Кихотом
и его оруженосцем Санчо, когда они ехали в свое село*

Ночь была довольно темная; луна, правда, взошла, однако ж находилась не на таком месте, откуда ее можно было видеть: на-

добно знать, что иной раз госпожа Диана отправляется на прогулку к антиподам*, горы же оставляет во мраке и доли во тьме. Дон Кихот отдал дань природе, и первый сон одолел его, зато уж второй ничего не мог с ним поделать, у Санчо же все обстояло по-иному: у него никакого второго сна и не могло быть, оттого что сон его длился непрерывно, с ночи до утра, что свидетельствовало о добром его здоровье и о его беззаботности. Между тем от Дон Кихота заботы отогнали сон, и, разбудив Санчо, он сказал:

— Меня приводит в изумление, Санчо, беспечный твой нрав: можно подумать, что ты сделан из мрамора или же из прочной меди, ибо и тот и другая недвижны и бесчувственны. Я бодрствую, в то время как ты спишь, я плачу, в то время как ты поёшь, я изнуряю себя постом, а ты наедаешься до того, что тебе трудно бывает двигаться и дышать. Доброму слуге подобает делить с господином его невзгоды и хотя бы для виду горевать вместе с ним. Обрати внимание, какая тихая стоит ночь, как вокруг нас пустынно,— все это призывает нас перемежать сон бдением. Так будь же добр: встань, отойди в сторону и, преисполнившись человеколюбия, благодарности и отваги, отсчитай себе ударов триста — четыреста из того общего числа, от которого зависит расколдование Дульсинеи. На сей раз я ограничиваюсь просьбою и мольбою, вторично же схватываться с тобой врукопашную я не намерен, ибо испытал на себе тяжесть твоей руки. А когда ты покончишь с самобичеванием, мы проведем остаток ночи в пении: я буду петь о разлуке, ты — о своей верности, и так мы положим начало тому пастушескому образу жизни, который будем вести у себя в селе.

— Сеньор! — возразил Санчо.— Я не монах, чтобы встать среди ночи и начинать умерщвлять свою плоть, тем паче нельзя, думается мне, после розог, когда тебе еще чертовски больно, прямо переходить к пению. Дайте мне поспать, ваша милость, и не приставайте ко мне с поркой, иначе я дам клятву, что никогда не прикоснусь к ворсу на своей одежде, а не только что к своему телу.

— О черствая душа! О бессердечный оруженосец! Я ли тебя не кормил, я ли не осыпал тебя милостями и не намеревался осыпать ими и впредь! Благодаря мне ты стал губернатором, благодаря мне у тебя есть все основания надеяться на получение графского титула или же чего-либо равноценного, и надежды эти сбудутся не позднее чем через год.

— Я знаю одно,— сказал Санчо,— когда я сплю, я ничего не боюсь, ни на что не надеюсь, не печалюсь и не радуюсь. Дай бог здоровья тому, кто придумал сон: ведь это плащ, который прикрывает все человеческие помыслы, пища, насыщающая голод, вода, утоляющая жажду, огонь, согревающий холод, холод, умеряющий жар,— словом сказать, это единая для всех монета, на которую можно купить все, это весы и гири, уравнивающие короля с пастухом и простака с разумником. Одним только, гово-

рят люди, сон нехорош: есть в нем сходство со смертью, потому между спящим и мертвым разница невелика.

— Никогда еще, Санчо, ты столь изысканно не выражался, — заметил Дон Кихот, — теперь я начинаю понимать, сколь справедлива та пословица, которую ты приводил неоднократно: с кем поведешься, от того и наберешься.

— Вот так так, драгоценный мой господин! — воскликнул Санчо. — Теперь уж не я сыплю пословицами — теперь они у вас так и срываются с языка, почище чем у меня: разница, как видно, только в том, что пословицы вашей милости уместны, а мои — невпопад, ну, а если разобраться, то ведь и те и другие — пословицы.

Во время этого разговора внезапно послышался неясный шум и какие-то неприятные звуки, разносившиеся далеко окрест. Дон Кихот вскочил и взялся за меч, Санчо же забрался под своего серого, а с боков заградился доспехами и выючным седлом, и был он столь же напуган, сколь взволнован был Дон Кихот. Шум усиливался и становился все явственнее для слуха двух уstraшенных — впрочем, не для двух, а только для одного, ибо мужество другого хорошо известно. Дело, однако ж, состояло вот в чем: несколько человек направлялись в этот час на ярмарку и гнали на продажу более шестисот свиней, и вот эти-то самые свиньи визгом своим и хрюканьем производили тот шум, который оглушил Дон Кихота и Санчо, так что они не могли взять в толк, что бы это значило. Огромное хрюкающее стадо налетело на Дон Кихота и Санчо и, не поглядев ни на того, ни на другого, сокрушило Санчовы заграждения, сшибло с ног не только Дон Кихота, но и довершение всего и Росинанта и пришлось по рыцарю и по оруженосцу. Внезапность и стремительность нападения гнусных сих тварей, а равно и хрюканье их привели в смятение и повергли наземь седло, доспехи, серого, Росинанта, Санчо и Дон Кихота. Санчо кое-как поднялся и попросил у своего господина меч, объявив, что намерен заколоть штук шесть этих неучтивых господ свиней, а что по нему прошли именно свиньи, это было для него теперь очевидно. Дон Кихот, однако ж, ему сказал:

— Оставь их, друг мой: это оскорбление послано мне в наказание за мой грех, ибо в том-то и заключается справедливая кара небес, постигающая побежденного странствующего рыцаря, что на него нападают шакалы, что его жалят осы и топчут свиньи.

— Что касается небесной кары, постигающей оруженосцев, которые состоят на службе у побежденных рыцарей, — подхватил Санчо, — то она, как видно, заключается в том, что их кусают мухи, едят вши и мучает голод. Добро бы мы, оруженосцы, приходились рыцарям родными сыновьями или же близкими родственниками, тогда не обидно было бы, что нас карают за их грехи даже до четвертого колена, но в каком таком родстве состоят Кихоты и Панса? Ну ладно, давайте устроимся поудобнее и поспим до утра, а там видно будет.

— Спи, Санчо,— молвил Дон Кихот,— ты рожден для того, чтобы спать, я же, рожденный бодрствовать, в эти часы, оставшиеся до наступления дня, дам волю моим думам и выражу их в небольшом мадригале*, который я без твоего ведома прошедшей ночью сочинил в уме.

— Мне сдается, что для песенки особенно много дум не требуется,— заметил Санчо.— Пойте себе, ваша милость, сколько хотите, а я посплю, сколько мне удастся.

Вслед за тем, заняв столько места, сколько ему заблагорассудилось, Санчо свернулся клубочком и заснул сном праведника, не нарушаемым ни заботами о долгах и поручительствах, ни душевными горестями. Дон Кихот же, прислонившись к дереву, под аккомпанемент собственных вздохов запел. Каждый стих он сопровождал множеством вздохов и довольно обильными слезами, свидетельствовавшими о том, что сердце у него исполнено горечи и разрывается на части при мысли о поражении и о разлуке с Дульсинеей.

Тем временем наступил день, солнце било Санчо прямо в глаза и в конце концов разбудило его — он потянулся, встряхнулся и расправил свои разнежившиеся члены. Засим оба поехали дальше, и дорогою побежденный и теснимый судьбою Дон Кихот обратился к Санчо с такими словами:

— Если, друг Санчо, ты захочешь платы за порку для расколдования Дульсинеи, то я тебе уплачу сполна, хотя я и не уверен, долженствует ли подобного рода лечение быть оплачено, я даже боюсь, как бы награда не повлияла дурно на действие лекарства. Со всем тем, по моему разумению, попытка — не пытка; подумай, Санчо, сколько ты желаешь получить, и, нисколько не медля, приступай к порке, а после сам же себе уплати наличными, потому что деньги мои у тебя.

Это предложение заставило Санчо выпучить глаза и развести уши, и, мысленно порешив выпороть себя на совесть, он сказал своему господину:

— Так и быть, сеньор, я готов угодить вашей милости и доставить вам удовольствие, с пользою, однако ж, и для себя: из любви к детям и к жене поневоле станешь сребролюбивым. А скажите, ваша милость, сколько ж вы мне положите за каждый удар?

— Когда б я намеревался вознаградить тебя, Санчо,— отвечал Дон Кихот,— сообразно с мощью и действенностью этого средства, то мне не хватило бы всех сокровищ Венеции и россыпей Потоси*. Прикинь, сколько у тебя моих денег, и сам назначь цену.

— Всего должно быть три тысячи триста с лишним ударов,— сказал Санчо,— из них я уже нанес себе пять, остальные за мною; эти пять пусть покроют лишек, значит, давайте считать всего три тысячи триста. Так вот, если положить по одному куртильо* за каждый удар (а уж меньше я не возьму ни за что на

свете), то всего выйдет три тысячи триста куартильо, три тысячи куартильо — это полторы тысячи полуреалов, то есть семьсот пятьдесят реалов, триста же куартильо составляют полтора ста полуреалов, то есть семьдесят пять реалов, и вот если к семистам пятидесяти реалам прибавить эти семьдесят пять, то получится всего восемьсот двадцать пять реалов. Эту сумму я вычту из денег вашей милости и возвращусь домой богатым и довольным, хотя и как следует выпоротым, ну да ведь рыбки захочешь — штаны замочишь.

— О благословенный Санчо! О дражайший Санчо! — воскликнул Дон Кихот. — После этого мы с Дульсинеей будем считать, что мы у тебя в долгу до конца наших дней! Если только Дульсинея обретет утраченный облик (а я и не мыслю себе, чтоб могло быть иначе), ее несчастье преобразится в счастье, а мое поражение наиславнейшим торжеством обернется. Итак, Санчо, я жду от тебя ответа, когда ты приступишь к самобичеванию, — для ускорения дела я готов прибавить еще сто реалов.

— Когда? — переспросил Санчо. — Нынче же ночью, можете быть уверены. Постарайтесь, ваша милость, чтобы мы провели эту ночь в поле, под открытым небом, а уж я себя исполосую — только держись!

Вот наконец и настала ночь, которой Дон Кихот дожидался с нетерпением чрезвычайным, ибо ему казалось, будто колеса Аполлоновой колесницы* сломались и что день тянется долее обыкновенного: в сем случае он ничем не отличался от всех влюбленных, которые не умеют держать себя в руках. Наконец они въехали в уютную рощу, неподалеку от дороги, и, расседлав Росинанта и серого, растянулись на зеленой травке и поужинали тем, что было припасено у Санчо; засим помянутый Санчо сделал из узды Росинанта и недоуздка серого хлесткий и гибкий бич и отошел шагов на двадцать от своего господина, под сень буков. Заметив, с каким решительным и бесстрашным видом он шагает, Дон Кихот сказал ему:

— Смотри, друг мой, не избивай себя до бесчувствия, устраивай перерывы, не выказывай излишней горячности, иначе ты выдохнешься на полдороге, — я хочу сказать, чтобы ты себя пожалел, иначе ты отправишься на тот свет прежде, нежели достигнешь желанной цели. А дабы ты ни пересолил, ни недосолил, я стану тут же, рядом, и начну отсчитывать на четках наносимые тобою удары. Засим да поможет тебе господь бог претворить в жизнь благое твое намерение.

— Исправному плательщику залог не страшен, — объявил Санчо, — я буду бить себя больно, но не до смерти: ведь в этом-то весь смысл чуда и состоит.

Тут он обнажился до пояса и, схватив ременную плеть, начал себя хлестать. а Дон Кихот занялся подсчетом ударов. Санчо уже дошел примерно до восьми ударов, а затем, смекнув, что это дело нешуточное и что цену он взял пустяковую, приостановил

самосечение и сказал своему господину, что он продешевил и что каждый такой удар должен стоить не куартильо, а полуреал.

— Продолжай, друг Санчо,— молвил Дон Кихот,— не волнуйся, я заплачу тебе вдвое.

— Коли так,— подхватил Санчо,— господи благослови! Ох, я же себе сейчас и всыплю!

Однако хитрец перестал хлестать себя по спине и начал хлестать по деревьям, что, впрочем, не мешало ему по временам так громко стонать, что казалось, будто вместе с каждым таким стоном из его тела вылетает душа. Между тем у Дон Кихота душа была добрая, и он опасался, как бы Санчо не уходил себя на смерть, из-за собственного неблагоразумия так и не достигнув своей цели, вот почему он сказал Санчо:

— Сделай одолжение, друг мой, прерви на сем месте свое занятие: средство это мне представляется чересчур сильным, для него требуется передышка, недаром говорится: Самору долго осаждали*, а с налету никогда бы не взяли. Если только я не обчелся, ты уже нанес себе более тысячи ударов,— пока что довольно. Грубо выражаясь, осла нагружай, нагружай — он и не охнет, а перегрузил — издохнет.

— Нет, нет, сеньор,— возразил Санчо,— не желаю я, чтоб про меня говорили: «Денежки получил — и ручки сложил». Отойдите, ваша милость, чуть подальше, дайте я нанесу себе хотя бы еще одну тысячу: мы меньше чем в два приема с этим делом справимся, а кончил дело — гуляй смело.

— Ну, коли уж у тебя такой прилив бодрости, бог тебе в помощь,— молвил Дон Кихот,— стегай себя, а я отойду в сторону.

Санчо с таким рвением вновь принялся выполнять свой урок, что скоро на многих деревьях кора оказалась содранной — до того жестоко он себя бичевал; наконец, изо всех сил хлестнув плетью по стволу бука, он громко воскликнул:

— Здесь погиб Самсон и все филистимляне!

Услышав страшный звук удара и сей жалобный голос, Дон Кихот устремился к Санчо и, выхватив у него перевитой ремень узды, служивший оруженосцу бичом, сказал:

— Судьба не допустит, друг Санчо, чтобы, стараясь мне угодить, ты засек себя до смерти: ты нужен жене и детям, а Дульсинея потерпит до другого раза, я же, уповая на близкий конец этого предприятия, подожду, пока ты соберешься с силами и к общему благополучию его завершишь.

— Коли уж вам, государь мой, так хочется, то пусть будет по-вашему,— согласился Санчо,— только набросьте мне на плечи накидку, а то я вспотел и боюсь простудиться: кто в первый раз себя бичует, тому это очень даже просто.

Дон Кихот так и сделал и, оставшись в одном камзоле, отдал накидку Санчо, Санчо же проспал до тех пор, пока его не разбудило солнце, и тогда они снова тронулись в путь.

— Скажи мне, Санчо,— спросил Дон Кихот,— намерен ли ты в ближайшую ночь отсчитать себе еще одну порцию плетей и желаешь ли ты, чтоб это было под кровом или же под открытым небом?

— Ей-ей, сеньор,— молвил Санчо,— этим заниматься можно где угодно: хочешь — дома, хочешь — в поле. Впрочем, я бы все-таки предпочел под деревьями: у меня такое чувство, будто они со мной заодно и здорово мне помогают.

— Нет, друг Санчо, я передумал,— объявил Дон Кихот,— тебе надобно набраться побольше сил, почему мы и отложим это до возвращения к себе домой, а ведь мы приедем, самое позднее, послезавтра.

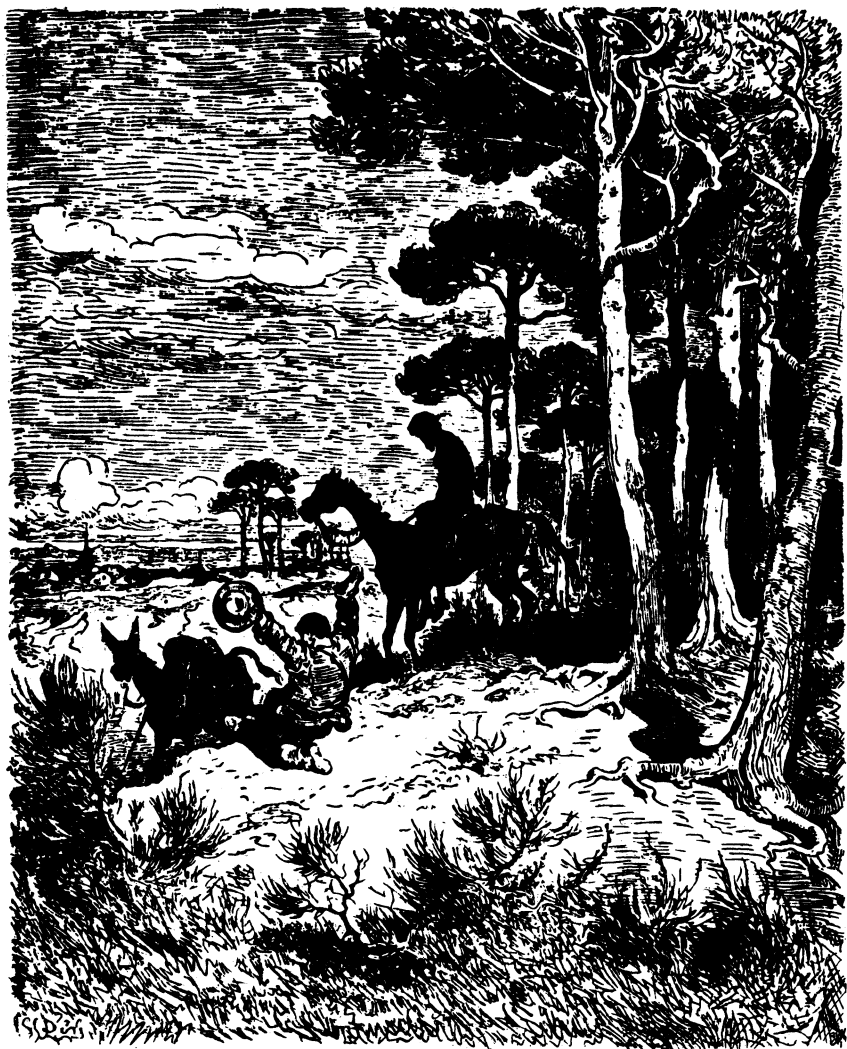
Санчо сказал, что дело, мол, хозяйское, но что он бы хотел покончить с этим, пока железо еще горячо и пока чешутся руки, ибо промедление часто бывает опаснее всего, и у бога просить не стыдись, но и потрудиться для него не ленись, и одно «Возьми!» лучше двух посулов, и лучше синица в руках, чем журавль в небе.

— Довольно пословиц, Санчо, ради самого Христа! — взмолился Дон Кихот. — Ты, кажется, снова принимаешься за прежнее. Говори просто, ясно, без обиняков, как я уже неоднократно тебя учил: лучше меньше, да лучше.

— Уж и не знаю, что это за незадача,— сказал Санчо,— я без поговорки слова не могу сказать, и всякая поговорка кажется мне словом разумным, однако ж я все старания приложу, чтобы исправиться.

Следующую ночь Дон Кихот провел также среди деревьев, чтобы предоставить возможность Санчо покончить с его уроком; Санчо и на сей раз исполнял его тем же самым способом, что и прошедшей ночью, то есть в неизмеримо большей степени за счет буковой коры, нежели за счет собственной спины, с которою он до того бережно обходился, что даже муху не могли бы с нее согнать наносимые им удары. Обманутый Дон Кихот ни разу не ошибся в счете и нашел, что вместе со вчерашними общее число плетей достигает трех тысяч двадцати девяти. Солнце, казалось, взошло в этот день раньше только для того, чтобы взглянуть на это жертвоприношение, и с первыми его лучами Дон Кихот и Санчо поехали дальше.

Весь этот день, равно как и следующую ночь, они провели в пути, и за это время с ними не случилось ничего такого, что заслуживало бы описания, за исключением разве того, что ночью Санчо выполнил свой урок, чему Дон Кихот возрадовался несказанно,— он с нетерпением стал ожидать рассвета, оттого что днем, казалось ему, он непременно должен встретить уже расколдованную владычицу свою Дульсинею; и, продолжая свой путь, он не пропускал ни одной женщины без того, чтобы не поглядеть: уж не Дульсинея ли это Тобосская, а что Мерлин мог не исполнить своего обещания — это представлялось ему невероятным. Заня-



тый этими мыслями и мечтами, он вместе с Санчо въехал на холм, с вершины которого открывался вид на их родное село, и тут Санчо, опустившись на колени, воскликнул:

— Открой очи, желанная отчизна, и взгляни на сына своего Санчо Пансу: он возвращается к тебе не сильно разбогатевший, но зато лихо исполосованный плетью. Раскрой объятия и прими также сына своего Дон Кихота: его одолела рука другого, зато он преодолел самого себя, а ведь это он же мне и говорил, что более доблестной победы невозможно себе пожелать. Я возвраща-

юсь при деньгах, потому хоть и славно меня выпороли, зато я славно верхом прокатился.

— Полно дурачиться,— сказал Дон Кихот,— дай бог нам счастливо въехать в наше селение, а уж там, на досуге, наша выдумка придет нам на помощь, и мы составим план пастушеской жизни, которую мы намереваемся вести.

Тут они спустились с холма и двинулись по направлению к своему селу.

ГЛАВА XLVIII

О знамениях, последовавших при въезде Дон Кихота в его село, равно как и о других событиях, служащих к украшению и вящему правдоподобию великой этой истории

Когда же они въезжали в село, то Дон Кихот увидел, что возле гумна ссорятся двое мальчишек, из коих один крикнул другому:

— Зря силы тратишь, Перикильо,— больше ты ее никогда в жизни не увидишь!

Тут Дон Кихот сказал Санчо:

— Ты обратил внимание, друг мой, что сказал мальчишка: «Больше ты ее никогда в жизни не увидишь»?

— Ну и что ж такого? — возразил Санчо.— Мало ли что скажет мальчишка!

— Как что ж такого? — воскликнул Дон Кихот.— Разве ты не понимаешь, что если применить эти слова ко мне, то выйдет, что мне не видать больше Дульсиinei?

Санчо только хотел было ему ответить, как вдруг увидел, что по полю бежит заяц, гонимый множеством охотников и борзых собак, и вот этот самый заяц от испуга юркнул и забился под брюхо к серому. Санчо поймал его голыми руками и преподнес Дон Кихоту, но Дон Кихот сказал:

— Дурной знак! Дурной знак! Заяц бежит, за ним гонятся борзые,— не увижу я Дульсиinei!

— Станный вы человек, ваша милость,— заметил Санчо.— Предположим, что этот заяц — Дульсиinea Тобосская, а борзые, которые его травят,— это лиходеи-волшебники, превратившие ее в сельчанку; она бежит, я ее ловлю и отдаю в руки вашей милости, а вы держите ее в объятиях и ласкаете,— какая же это дурная примета и в чем же здесь можно видеть дурное предзнаменование?

Двое только что повздоровивших мальчишек подошли поглядеть на зайца, и одного из них Санчо спросил, из-за чего у них вышла ссора. На это мальчишка, который сказал: «Больше ты ее никогда в жизни не увидишь», ответил Санчо, что он отнял у своего товарища клетку со сверчками и больше никогда ему не

отдаст. Санчо вынул из кармана четыре куарто* и вручил их мальчугану, а у него взял клетку и, передав ее Дон Кихоту, молвил:

— Готово дело, сеньор: все эти предзнаменования разрушены и развеяны в прах, хотя, впрочем, к нашим делам они имеют такое же точно касательство, как прошлогодние тучи: это даже и я соображаю, хоть я и недалежного ума человек. И если память мне не изменяет, я слыхал от нашего священника, что истинным христианам, и к тому же еще людям просвещенным, не подобает придавать значение таким пустякам, да и сами же вы, ваша милость, на днях мне объясняли, что христиане, верящие в приметы, дураки. Стало быть, и нечего нам тут из-за этого мешкать, поедемте дальше, прямо к себе домой.

Подъехали охотники, потребовали своего зайца, и Дон Кихот им его отдал; Дон Кихот и Санчо поехали своей дорогой и при въезде в село увидели, что на лужайке читают молитвы священник и бакалавр Карраско.

Священник и бакалавр тотчас узнали обоих путешественников и бросились к ним с распростертыми объятиями. Дон Кихот спешился и крепко их обнял; деревенские же мальчишки, сбежавшись гурьбой, скликали друг друга:

— Эй, ребята, поглядите на *осла Санчо* — какой он нарядный, и на *эту клячу Дон Кихота* — у нее уж теперь все ребра видны!

Наконец, окруженные мальчишками и сопровождаемые священником и бакалавром, Дон Кихот и Санчо въехали в село и направились к дому Дон Кихота, на пороге коего стояли ключница и племянница, уже осведомленные об их приезде. Услышала об этом и супруга Санчо, Тереса Панса; растрепанная, полуодетая, схватив за руку дочку свою Марисанчу, она побежала встречать мужа; когда же она разглядела, что он не так наряжен, как, в ее представлении, приличествовало губернатору, то сказала ему:

— Что это с тобой, муженек? Возвращаешься домой вроде как пешком и притом еще еле ковыляешь; право, вид у тебя не как у губернатора, а словно ты уже отгубернаторствовал.

— Молчи, Тереса, — сказал Санчо, — по уму встречают — по платью провожают, дай только до дому дойти — уж наслушаешься ты чудес. Я привез денег, это самое главное, и нажил я их собственной смекалкой, а чтобы кого обидеть — боже упаси.

— Давай сюда денежки, любезный муженек, — рассудила Тереса, — а нажиты они могут быть всяко. Как бы ты их ни нажил, этим ты никого не удивишь.

Дочка обняла отца и спросила, что он ей привез: видно было, что ждала она его, как майского дождинка; затем она ухватила за его пояс, а осла взяла под уздцы, жена с другой стороны взяла Санчо за руку, и все они отправились к себе домой; Дон Кихот между тем остался у себя — на попечении ключницы и племянницы, а также в обществе священника и бакалавра.

Не дав никому опомниться, Дон Кихот тотчас заперся с бакалавром и священником и в кратких словах рассказал им о своем поражении и о том, что он принял на себя обязательство в течение года не выезжать из села, каковое обязательство он-де намерен выполнять буквально, не отступая от него ни на йоту, как подобает странствующему рыцарю, свято соблюдающему свой устав, и что он собирается на этот год стать пастухом и уйти в безлюдные поля, где можно дать полную волю своим любовным думам, подвизаясь на поприще добродетельной пастушеской жизни; и он-де просит священника и бакалавра, если только они не очень заняты и им не помешают более важные дела, к нему присоединиться: он-де намерен приобрести стадо овец, вполне достаточное для того, чтобы им всем иметь право называться пастухами, а еще, мол, он доводит до их сведения, что главное уже сделано, ибо имена для них он подобрал, и притом весьма подходящие. Священник полюбопытствовал, какие именно. Дон Кихот ответил, что сам он будет называться пастухом *Кихотисом*, бакалавр — пастухом *Каррасконом*, священник — пастухом *Пресвитериамбро*, а Санчо Панса — пастухом *Пансино*. Этот новый предмет Донкихотова помешательства поразил священника и бакалавра, однако ж, дабы он снова, рыцарских ради подвигов, не пустился в странствия и в надежде на то, что за этот год он, может статься, поправится, они эту новую его затею одобрили и, безумную его мысль признав вполне здоровою, согласились вместе с ним начать подвизаться на новом поприще.

— И вот еще что,— прибавил Самсон Карраско.— Всем известно, что я знаменитый поэт, так вот я все время буду сочинять стихи, чтобы нам не скучно было скитаться в дебрях, но важнее всего, государи мои, чтобы каждый из нас придумал имя для пастушки, которую он намерен воспевать, и пусть не останется ни одного дерева с самой крепкой корой, на коем мы эти имена не начертали бы и не вырезали, как это принято и как это водится у влюбленных пастухов.

— Все это совершенно верно,— заметил Дон Кихот,— но только мне лично незачем придумывать имя для воображаемой пастушки, когда у меня есть несравненная Дульсинья Тобосская, слава окрестных берегов, украшение наших полей, святилище красоты, верх изящества,— словом, та, которой можно воздать любую хвалу, не опасаясь впасть в преувеличение.

Священник еще раз обещал проводить с Дон Кихотом все то время, какое будет у него оставаться после исполнения неперенных его обязанностей. На этом священник и бакалавр с Дон Кихотом распрощались, а перед уходом обратились к нему с просьбой беречь свое здоровье и посоветовали обратить особое внимание на пищу.

Племянница и ключница волею судеб слышали этот разговор, и как скоро священник с бакалавром удалились, они вошли вдвоем к Дон Кихоту, и тут племянница повела с ним такую речь:

— Что это значит, дядюшка? Мы были уверены, что вы возвратились домой навсегда и собираетесь вести мирный и достойный образ жизни, а вас, оказывается, тянет в новые дебри. Честное слово, годы ваши не те!

Тут вмешалась ключница:

— Да разве полуденный зной — летом, ночная сырость и вой волков — зимою, разве это для вас, ваша милость? Конечно, нет; это поприще и занятие для людей крепких, закаленных, приученных к этому делу, можно сказать, с пеленок. Уж коли из двух зол выбирать, так лучше быть странствующим рыцарем, нежели пастухом. Право, сеньор, послушайте вы моего совета — ведь я вам его даю не с пьяных глаз, а в здравом уме, и я недаром прожила на свете полвека, — оставайтесь дома, займитесь хозяйством, почаще исповедуйтесь, помогайте бедным, и если это не пойдет вам на пользу, то грех будет на моей душе.

— Полно, дочки, — сказал Дон Кихот, — я сам знаю, как мне надлежит поступить. Уложите меня в постель, — я чувствую некоторое недомогание, — и помните, что кем бы я ни был: странствующим ли рыцарем, пастухом ли, я вечно буду о вас заботиться, в чем вы и убедитесь на деле.

И тут обе милые дочки (а ведь ключница и племянница и правда были ему как дочки) уложили его в постель и постарались как можно лучше накормить его и угостить.

ГЛАВА XLIX

*О том, как Дон Кихот занемог,
о составленном им завещании и о его кончине*

Ничто на земле не вечно, все с самого начала и до последнего мгновения клонится к закату, в особенности жизнь человеческая, а так как небо не наделило жизнь Дон Кихота особым даром замедлять свое течение, то смерть его и кончина последовали совершенно для него неожиданно; может статься, он сильно затосковал после своего поражения, или уж так распорядилось небо, но только он заболел горячкой, продержавшей его шесть дней в постели, и все это время его навещали друзья: священник, бакалавр и цирюльник, добрый же оруженосец Санчо Панса не отходил от его изголовья. Друзья, полагая, что так на него подействовало горестное сознание своего поражения и своего бессилия освободить и расколдовать Дульсинею, всячески старались развеселить Дон Кихота, а бакалавр все твердил, чтобы он переломил себя, встал с постели и начал вести пастушескую жизнь, на каковой предмет он, бакалавр, уже купил у скотовода на собственные деньги двух славных псов, чтобы сторожить стадо, из коих одного кличут Муругим, а другого — Птицеловом. Все это, однако ж, не могло развеять печаль Дон Кихота.

Друзья послали за лекарем; тот пощупал пульс, остался им

недоволен и посоветовал Дон Кихоту на всякий случай подумать о душевном здравии, ибо телесному его здравью грозит, мол, опасность. Дон Кихот выслушал его спокойно, но не так отнеслись к этому ключница, племянница и оруженосец — они горькими слезами заплакали, точно Дон Кихот был уже мертв. Лекарь высказался в том смысле, что Дон Кихота губят тоска и уныние. Дон Кихот попросил оставить его одного, ибо его, дескать, клонит ко сну. Желание это было исполнено, и он проспал более шести часов подряд, как говорится, без просыпу, так что ключница и племянница уже забеспокоились, не умер ли он во сне. По прошествии указанного времени он, однако ж, пробудился и громко воскликнул:

— Благословен всемогущий бог, столь великую явивший мне милость! Милосердие его воистину бесконечно, и прегрешения человеческие не властны ни ограничить его, ни истощить.

Племянница слушала дядю своего со вниманием, и речи его показались ей разумнее обыкновенного, во всяком случае — разумнее того, что он говорил во время болезни, а потому она обратилась к нему с такими словами:

— О чем это вы толкуете, дядюшка? Кажется, это что-то новое? О каком таком милосердии и о каких человеческих прегрешениях вы говорите?

— О том самом милосердии, племянница, которое в этот миг, невзирая на мои прегрешения, проявил ко мне господь,— отвечал Дон Кихот.— Разум мой прояснился, теперь он уже свободен от густого мрака невежества, в которое его погрузило злополучное и постоянное чтение мерзких рыцарских романов. Теперь я вижу всю их вздорность и лживость, и единственно, что меня огорчает, это что отрезвление настало слишком поздно и у меня уже нет времени исправить ошибку и приняться за чтение других книг, которые являются светочами для души. Послушай, племянница: я чувствую, что умираю, и мне бы хотелось умереть так, чтобы люди удостоверились, что жил я не напрасно, и чтобы за мной не осталось прозвание сумасшедшего,— пусть я и был таковым, однако же смертью своей я хочу доказать обратное. Позови, голубушка, добрых моих друзей, священника, бакалавра Самсона Карраско и цирюльника маэсе Николаса: я хочу исповедаться и составить завещание.

Племяннице, однако ж, не пришлось за ними бежать, ибо как раз в это время все трое вошли к Дон Кихоту в комнату. Как скоро Дон Кихот их увидел, то повел с ними такую речь:

— Поздравьте меня, дорогие мои: я уже не Дон Кихот Ламанчский, а Алонсо Кихано, за свой нрав и обычай прозванный *Добрым*. Ныне я враг Амадиса Галльского и тьмы-тьмущей его потомков, ныне мне претят богомерзкие книги о странствующем рыцарстве, ныне я уразумел свое недомыслие, уразумел, сколь пагубно эти книги на меня повлияли, ныне я, по милости божией, научен горьким опытом и предаю их проклятию.



Трое посетителей, послушав такие речи, решили, что Дон Кихот, видимо, помешался уже на чем-то другом. И тут Самсон сказал ему:

— Как, сеньор Дон Кихот? Именно теперь, когда у нас есть сведения, что сеньора Дульсинея расколдована, ваша милость — на попятный? Теперь, когда мы уже совсем собрались стать пастухами и начать жить по-княжески, с песней на устах, ваша милость записалась в отшельники? Перестаньте, ради бога, опомнитесь и бросьте эти бредни.

— Я называю бреднями то, что было до сих пор, — возразил

Дон Кихот,— бреднями, воистину для меня губительными, однако с божьей помощью я перед смертью обращаю их себе на пользу. Я чувствую, сеньоры, что очень скоро умру, а потому шутки в сторону, сейчас мне нужен духовник, ибо я желаю исповедаться, а затем писарь, чтобы составить завещание. В такую минуту человеку не подобает шутить со своею душою, вот я и прошу вас: пока сеньор священник будет меня исповедовать, пошлите за писарем.

Присутствовавшие переглянулись — до того поразил их Дон Кихот, и хотя и не без колебаний, однако же все были склонны придать его словам веру. И это внезапное превращение безумца в здравомыслящего показалось им явным признаком того, что смерть его близка, ибо к вышеприведенным речам он прибавил еще и другие, столь связные, столь проникнутые христианским духом и столь разумные, что все их сомнения в конце концов рассеялись и они совершенно уверились, что рассудок к Дон Кихоту вернулся.

Священник попросил всех удалиться и, оставшись с Дон Кихотом наедине, исповедал его. Бакалавр пошел за писарем и не в долгом времени возвратился вместе с ним и с Санчо Пансой; Санчо же еще раньше узнал от бакалавра, в каком состоянии находится его господин, и теперь он, видя, что ключница и племянница плачут, искривил лицо и залился слезами. После исповеди священник вышел и сказал:

— Алонсо Кихано Добрый, точно, умирает и, точно, находится в здравом уме. Пойдемте все к нему, сейчас он будет составлять завещание.

Слова эти вызвали новый порыв отчаяния у ключницы, племянницы и доброго оруженосца Санчо Пансы: из очей у них, и без того уже влажных, так и хлынули слезы, а из груди беспрестанно вырывались глубокие вздохи, ибо и в самом деле, как уже было замечено, Дон Кихот всегда, будучи просто-напросто Алонсо Кихано Добрым, равно как и Дон Кихотом Ламанчским, отличался кротостью нрава и приятностью в обхождении, за что его любили не только домашние, но и все, кто его знал. Вместе с прочими к нему вошел и писарь, и после того, как он написал заголовок завещания, Дон Кихот, помолившись богу и соблюдая все, что по христианскому обряду в сем случае полагается, приступил к составлению завещания и начал так:

— Item¹, я желаю, чтобы денег моих, находящихся на руках у Санчо Пансы, которого я в пору моего помешательства взял в оруженосцы, с него не требовали и отчета в них не спрашивали ввиду того, что у нас с ним свои счета; буде же за вычетом причитающейся ему суммы что-либо из них останется, то пусть он этот остаток возьмет себе: деньги небольшие, а ему они пригодятся, и уж если я в состоянии умопомешательства способствовал тому, что его сделали губернатором острова, то ныне, находясь в здра-

¹ Кроме всего прочего (лат.).

вом уме, я пожаловал бы ему, если б мог, целое королевство, ибо простодушие его и преданность вполне этого заслуживают.

Тут он обратился к Санчо и сказал:

— Прости, друг мой, что из-за меня ты также прослыл сумасшедшим и, как и я, впал в заблуждение и поверил, что были на свете странствующие рыцари и существуют якобы и поныне.

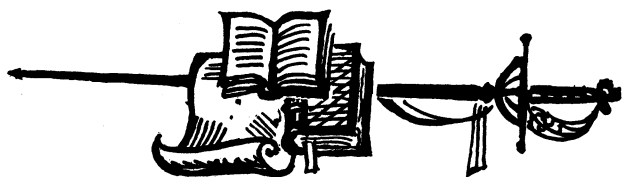
— Ах! — со слезами воскликнул Санчо. — Не умирайте, государь мой, послушайтесь моего совета: живите много-много лет, потому величайшее безумие со стороны человека — взять да ни с того ни с сего и помереть, когда никто тебя не убивал и никто не сживал со свету, кроме разве одной тоски. Полно вам в постели валяться, вставайте-ка, одевайтесь пастухом — и пошли в поле, как у нас было решено: глядишь, где-нибудь за кустом отыщем расколдованную сеньору донью Дульсинею, а уж это на что бы лучше! Если же вы умираете от огорчения, что вас одолели, то свалите все на меня: дескать, вы упали с Росинанта оттого, что я плохо подтянул подпругу, да и потом вашей милости известно из рыцарских книг, что это самая обыкновенная вещь, когда один рыцарь сбрасывает другого наземь: сегодня его одолели, а завтра — он.

— Разумеется, — сказал бакалавр, — добрый Санчо Панса совершенно прав.

— Полно, сеньоры, — молвил Дон Кихот, — новым птицам на старые гнезда не садиться. Я был сумасшедшим, а теперь я здоров, я был Дон Кихотом Ламанчским, а ныне, повторяю, я — Алонсо Кихано Добрый. Искренним своим раскаянием я надеюсь вновь снискать то уважение, коим я некогда у вас пользовался, вы же, господин писарь, пишите дальше. Item, завещаю все мое достояние здесь присутствующей племяннице моей Антонии Кихано, с тем, однако ж, условием, чтобы предварительно из него была изъята часть, предназначенная мною для иных целей; и прежде всего я желаю, чтобы ключнице моей было уплачено положенное ей жалованье за все то время, что она у меня прослужила, а сверх того прошу выдать ей двадцать дукатов на платье. Душеприказчиками же моими назначаю господина священника и господина бакалавра Самсона Карраско, здесь присутствующих. Item, желаю, чтобы племянница моя Антония Кихано, буде она вознамерится выйти замуж, выходила за такого человека, о котором ей было бы заранее известно, что он о рыцарских романах не имеет понятия; если же будет установлено, что он их читал, а племянница моя все же захочет выйти за него замуж и действительно выйдет, то в сем случае я лишаю ее наследства и прошу душеприказчиков моих употребить его по их благоусмотрению на добрые дела.

На этом Дон Кихот окончил свое завещание и, лишившись чувств, вытянулся на постели. Все в испуге бросились ему на помощь; и в течение трех дней, которые Дон Кихот еще прожил после того, как составил завещание, он поминутно впадал в забытие.

Весь дом был в тревоге; впрочем, это отнюдь не мешало племяннице кушать, а ключнице — прикладываться к стаканчику, да и Санчо Панса себя не забывал: надобно признаться, что мысль о наследстве всегда умаляет и рассеивает ту невольную скорбь, которую вызывает в душе у наследников умирающий. Наконец, после того как над Дон Кихотом были совершены все таинства и после того как он, приведя множество веских доводов, осудил рыцарские романы, настал его последний час. Присутствовавший при этом писарь заметил, что ни в одном рыцарском романе не приходилось ему читать, чтобы кто-нибудь из странствующих рыцарей умирал на своей постели так спокойно и так по-христиански, как Дон Кихот; все окружающие продолжали сокрушаться и оплакивать его, Дон Кихот же в это время испустил дух, попросту говоря — умер.



КОММЕНТАРИИ

С. 4

Л и к у р г — законодатель древней Спарты (IX в. до н. э.).

С о л о н — афинский законодатель VI в. до н. э.

...султан турецкий с огромным флотом вышел в море...— В XVI веке турецкая Османская империя была постоянной угрозой для Европы. В 1571 г. испано-венцианский флот нанес поражение турецкому флоту в заливе Лепанто. В этой битве участвовал Сервантес.

...укрепить берега Неаполя, Сицилии и острова Мальты.— В то время Неаполь, Сицилия и Мальта были испанскими владениями.

С. 5

К а п е л л а н — католический священник.

С. 6

...распоряжение исходило от архиепископа...— Больницы, приюты и прочие благотворительные заведения находились в ведении церкви.

С. 8

Л и с у а р т Г р е ч е с к и й — герой «Седьмой книги Амадиса, повествующей о великих ратных подвигах Лисуарта Греческого, сына Эспландиана» (1514), внук Амадиса. Автор романа, предположительно, Ф. де Сильва.

Р о д а м о н т — brave воин, персонаж «Неистового Роланда».

К о р о л ь С о б р и н — тоже персонаж Ариосто.

С. 10

Филистимлянин Голиаф — библейский персонаж, великан, убитый юным пастухом Давидом, будущим царем иудейским.

С. 11

Алькальд — судья; представитель центральной власти в городах.

С. 14

...учился в Саламанке...— В городе Саламанке находился крупнейший испанский университет.

С. 15

...отпечатана в количестве более двенадцати тысяч книг. Первая часть «Дон Кихота» вышла в 1605 г. в Мадриде, в том же году она дважды переиздавалась в Испании, а в ближайшие три года была издана также в Милане, Брюсселе и Лиссабоне.

С. 22

Фижмы — старинные женские юбки на каркасе из китового уса.

С. 25

...как поделить между собой солнечный свет...— то есть так поставить сражающихся, чтобы свет не бил в глаза ни одному из них.

С. 26

Санбенито — желтая рубаха с красным крестом, которую надевали те, кому инквизицией было предписано покаяние в грехах.

С. 27

...кастильского стихотворца...— Имеется в виду испанский поэт Гарсиласо де ла Вега (1503—1536), высоко ценимый Сервантесом. Дон Кихот приводит строки из его 1-й элегии.

С. 33

...дабы он... возрадовался неудачам, удачам же... опечалился.— Самсон Карраско намеренно запутывает свою речь, придавая ей смысл, противоположный общепринятому, но соответствующий его отношению к приключениям Дон Кихота.

...те стихи нашего поэта...— Дон Кихот пересказывает отрывок из эклоги Гарсиласо де ла Веги о нимфах реки Тахо.

Гораций Публий Коклес — римлянин, оборонявший во время войны с этрусками (VI в. до н. э.) мост через Тибр до тех пор, пока его соотечественники не разрушили его, преградив путь врагам. Тогда Гораций бросился в воду и в полном вооружении переплыл на другой берег.

Муций Гай — римский юноша, который проник в лагерь окруживших Рим этрусков и покушался на жизнь этрусского царя Порсены. Порсена стал угрожать ему пыткой, и тогда Муций, чтобы доказать свое презрение к его угрозам, положил правую руку в огонь и сказал, что в Риме многие не пожалеют и жизни ради того, чтобы убить Порсену. Устрашенный царь этрусков отпустил Муция и отступил от Рима. В память об этом подвиге Муция прозвали Сцеволой, то есть «левой».

Курций Марк — герой римского предания, согласно которому в 362 г. до н. э. на римском Форуме разверзлась пропасть и, как предсказал оракул, закрыться она должна была не прежде, чем в нее бросят лучшее достояние Рима. Тогда юный Курций на коне бросился в пропасть, и она сомкнулась.

...перейти Рубикон? — В 49 г. до н. э. Цезарь не подчинился приказу Сената распустить галльское войско и повел легионы на Рим, тем самым развязывая гражданскую войну и прокладывая себе путь к власти. Со словами «Жребий брошен!» он перешел реку Рубикон, границу провинции Галлия.

В самую глухую полночь...— строка из народного романа.

...кормит жаждущих и поит голодных — то есть дает не то, что им нужно. Путаница придает словам Санчо этот иронический смысл.

...вновь жаждет горестей моих судьбина...— строка из III эклоги Гарсиласо де ла Веги.

...самого ловкого кордованца или же мексиканца...—

Жители провинции Кордова, так же как и мексиканцы, славились искусством верховой езды.

С. 46

Купидон — бог любви, часто изображался в виде крылатого мальчика с завязанными глазами и с луком в руках.

...похож на ладью Харона...— В греческой мифологии Харон — перевозчик душ умерших через подземную реку Стикс в царство мертвых.

Действо о Судилище Смерти — пьеса, возможно принадлежавшая перу великого испанского драматурга Лопе де Вега (1562—1635) на распространенный в средние века сюжет: Смерть судит предстоящих перед ней людей всех сословий, от императора до нищего.

С. 49

Комедия.— Во времена Сервантеса комедией называли любое драматическое произведение.

С. 52

Касильдея Вандальская — то есть Андалузская, по имени древнего германского племени вандалов, некогда захватившего юг Испании.

С. 54

Фанега — мера емкости, около 55,5 литра.

С. 57

...по примеру мачехи Геркулеса...— Геркулес был сыном Юпитера и смертной женщины Алкмены. Ревнивая жена Юпитера Юнона, ненавидевшая Геркулеса, обрекла его служить царю Эврисфею до тех пор, пока он не совершит по его приказу двенадцать великих подвигов.

...севильскую великаншу Хиральду...— На башне севильского собора был установлен трехметровый флюгер в виде богини победы. Хиральда — по-испански «башенный флюгер».

...пришел, увидел, победил...— вошедшие в историю слова Юлия Цезаря из его донесения римскому Сенату о быстрой победе над боспорским царем Фарнаком в 47 г. до н. э.

...каменных Быков Гисандо...— так называли каменные изваяния с непонятными надписями, находившиеся близ деревни Гисандо и считавшиеся в XVI—XVII веках одной из достопримечательностей Испании.

Пропась Кабра — глубокая пропасть близ г. Кабры, окруженная мрачными легендами.

С. 73

...то ли духовных лиц... то ли студентов...— В то время священники и студенты носили схожую одежду — сутану, длинный плащ, широкую шляпу.

С. 82

Патены — пластины из серебра или более дешевого металла, обычно с изображением святого, составлявшие украшение женского крестьянского наряда.

С. 86

...в пещере Монтесиноса...— В Ламанче действительно существует такая пещера, которую местные легенды связывают с именем Монтесиноса, героя испанских романсов на рыцарский сюжет. О пещере рассказывали чудеса.

С. 87

Цицерон, Марк Тулий — великий римский оратор и политический деятель I в. до н. э.

Брас — 1,67 метра.

С. 93

...стать Фуггером...— Могущественный немецкий банкирский дом Фуггеров финансировал испанских королей; его богатство вошло в поговорку.

С. 94

Рашник — бродячий актер, показывающий кукольный театр — раек.

С. 95

Рехидор — городской советник.

С. 97

Герцог Альба (1508—1582) — всемогущий вельможа, приближенный испанского короля Филиппа II, жестоко подавивший восстание в Нидерландах в 1567 г. и установивший там кровавый террор. Его имя внушало ужас даже после его смерти.

...как славный дон Гайферос освободил Мелисендру...— сюжет одного из самых популярных в Испании романсов о том, как племянник Карла Великого Гайферос спас свою невесту Мелисендру, дочь Карла, похищенную маврами и увезенную в Испанию. Стихи, которыми сопровождает представление мальчик в следующей главе,— цитаты из народных романсов и стихов испанских поэтов XVI в. на эту тему.

Геркулесовы столпы — скалы по берегам Гибралтарского пролива; греки считали, что их поставил там Геркулес, обозначив край земли.

Меч Дюрандаль — меч Роланда, обладавший чудесными свойствами.

Родриго — последний король вестготов (начало VIII века), в царствование которого арабы завоевали Испанию. Об этих событиях сложились трагические легенды, Родриго стал героем целого цикла романсов, один из них и цитируется далее. А. С. Пушкин написал на этот сюжет два стихотворения в форме романсов («На Испанию родную...»).

...из берберийского плена...— Берберней называлась северо-западная часть Африки, включавшая территории Марокко, Алжира, Туниса, с начала XVI в. ставшие турецкими провинциями. Сам Сервантес был захвачен в 1575 г. пиратами и пять лет провел в турецком плену в Алжире.

Бешенка — род сельди.

...по Рифейским горам...— по античной географии, горы в Скифии.

Сайяго — область близ г. Саморы, жители которой считались самыми грубыми и невежественными во всей Испании.

Аластрахарея — дочь Амадиса Галльского.

...куэнкского сукна... сеговийского...— Производство шерстяных тканей было традиционной отраслью испанского ремесла; города Сеговия, Куэнка — одни из главных центров сукноделия.

В ы ж л я т н и к и — охотники, направляющие гончих собак.

«А л л а и л а л л а!» — «Нет бога, кроме Аллаха!» (арабск.) — боевой клич мусульман.

Л и р г а н д е й — волшебник из рыцарского романа «Зерцало рыцарства» (1586).

А р к а л а й — волшебник, околдовавший Амадиса Галльского.

М е р л и н — герой бретонских сказаний, великий маг.

К а с и к — вождь американских индейцев.

Хоть и славно меня выпороли, зато я славно верхом прокатился...— Приговоренных к бичеванию везли к месту экзекуции верхом на осле. Смысл испанской поговорки, приводимой Санчо: «Нет худа без добра».

«За благое молчание все тебя будут звать Санчо».— Санчо переиначивает испанскую пословицу, смысл которой: «Кто умеет вовремя смолчать, тот святой», играя созвучием своего имени со словом «sapto» — «святой».

К а м л о т — толстая шерстяная ткань.

Б а р а т а р и я — от исп. barato — «дешевый».

С. 169

...пожертвовать заключенным...— Сервантес издевается над богатыми жертвователями, обычно отсылавшими в тюрьму для арестантов непригодный хлам.

С. 170

Соломон — иудейский царь X в. до н. э., в Библии он изображен мудрым правителем и справедливым судьей.

С. 171

Гиппократ — великий древнегреческий врач (IV в. до н. э.).

...объединение же куропатками...— Доктор дурачит Санчо: на самом деле у Гиппократа сказано не о куропатках, а о хлебе.

С. 172

Тиртеафуэра — исп. «пошел вон».

...в университете Осунском.— Открытый в XVI веке Осунский университет был одним из худших в Испании.

С. 176

Отряд альгуасилов — то есть полицейских.

С. 178

...подобен чурбану, царю лягушек...— В одной из древнегреческих Эзоповых басен рассказывается о том, как Зевс на просьбу лягушек дать им царя бросил в болото деревянный чурбан. Сначала они испугались шума, но, видя, что чурбан неподвижен, осмелели и уселись на него. Потом лягушки стали требовать более сильного правителя, и Зевс дал им змею, которая всех сожрала.

С. 193

Аунтаменто — городская или сельская управа.

С. 205

Гордиев узел.— По греческой легенде, фригийский царь Гордий за-

вязал на посвященной Зевсу колеснице искусный узел, и тому, кто развяжет его, оракул сулил власть над Азией. Александр Македонский разрубил гордиев узел мечом.

С. 207

Роке Гинарт (или Педро Рокагинарда) в 1610 г возглавил отряд разбойников из двухсот крестьян, противившихся феодальной эксплуатации сеньоров. Мужество и великодушие Роке Гинарта сделали его любимцем всей Испании.

С. 210

Барселонский вице-король — наместник короля в Каталонии; столица которой — Барселона.

С. 213

...прячешь их себе за пазуху про черный день.— В 1614 г., до выхода в свет второй части романа Сервантеса, появилось подложное продолжение «Дон Кихота», написанное неизвестным автором, чей псевдоним был Алонсо Фернандес де Авельянеда. Протест Санчо — полемика с произведением Авельянеды, где он обрисован обжорой и мужланом. В одном из эпизодов он прячет за пазуху еду, упомянутую доном Антонио.

С. 223

...надпись... на трофее Роландовом...— В XXIV песни «Неистового Роланда» друг Роланда — Зербин находит брошенные им в безумии доспехи, вешает их на дерево и делает на коре надпись, приводимую далее Дон Кихотом.

...давай превратимся в пастухов...— Вторая половина XVI века была временем расцвета в Испании пасторального романа, прославлявшего идеал естественной, идиллической жизни на лоне природы. Устраивались даже литературные маскарады, участники которых переодевались пастухами и меняли имена.

С. 224

Пресвитериамбро — от слова «пресвитер» — «священник».

С. 226

...госпожа Диана отправляется на прогулку к антиподам...— Диана — римская богиня Луны; антиподами называли людей, живущих на противоположной стороне земли..

Мадригал — небольшое любовное стихотворение.

...всех сокровищ Венеции и россыпей Потоси.— Венеция была богатейшим торговым городом; Потоси — месторождение драгоценных металлов в Боливии.

Куартильо — $\frac{1}{4}$ реала.

Аполлонова колесница — то есть солнце.

Самору долго осаждали...— испанская поговорка. Осада Саморы в XII веке кастильским королем Санчо II длилась много лет.

Куарто — медная монета, равная четырем мараведи.

Н. Мавлевич

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава I. О разговоре, который священник и цирюльник вели с Дон Кихотом касательно его болезни	3
Глава II, повествующая о достопримечательном пререкании Санчо Пансы с племянницей и ключницей Донкихотовыми, равно как и о других забавных вещах	11
Глава III. Об уморительном разговоре, происходившем между Дон Кихотом, Санчо Пансою и бакалавром Самсоном Карраско	15
Глава IV, в коей Санчо Панса разрешает недоуменные вопросы бакалавра Самсона Карраско, а также происходят события, о которых стоит узнать и рассказать	18
Глава V. Об остроумной и забавной беседе, какую вели между собой Санчо Панса и супруга его Тереса Панса, равно как и о других происшествиях, о которых мы не без приятности упомянем	20
Глава VI. О чем обменялся мнениями Дон Кихот со своею племянницей и ключницей, и эта одна из самых важных глав во всей истории	24
Глава VII. О чем говорили между собой Дон Кихот и его оруженосец, равно как и о других достославных происшествиях	28
Глава VIII, в коей рассказывается о том, что произошло с Дон Кихотом по дороге к сеньоре Дульсинее Тобосской	33
Глава IX, в коей рассказывается о том, что из нее будет видно	36

Глава X, в коей рассказывается о том, как ловко удалось Санчо околдовать Дульсинею, а равно и о других событиях, столь же смешных, сколь и подлинных	38
Глава XI. О необычайном приключении доблестного Дон Кихота с колесницей, то есть с телегой Судилища Смерти	44
Глава XII. О необычайном приключении доблестного Дон Кихота с отважным Рыцарем Зеркал	49
Глава XIII, в коей продолжается приключение с Рыцарем Зеркал и приводится разумное, мирное и из ряду вон выходящее собеседование двух оруженосцев	53
Глава XIV, в коей продолжается приключение с Рыцарем Зеркал	57
Глава XV, в коей рассказывается и сообщается о том, кто такие были Рыцарь Зеркал и его оруженосец	65
Глава XVI, из коей явствует, каких вершин и пределов могло достигнуть и достигло неслыханное мужество Дон Кихота, и в коей речь идет о приключении со львами, которое Дон Кихоту удалось счастливо завершить	66
Глава XVII, в коей рассказывается о приключении с влюбленным пастухом	73
Глава XVIII, в коей рассказывается о свадьбе Камачо Богатого и о происшествии с Басильо Бедным	77
Глава XIX, в коей продолжается свадьба Камачо и происходят другие занятные события	81
Глава XX, в коей рассказывается о великом приключении в пещере Монтесиноса, в самом сердце Ламанчи, каковое приключение для доблестного Дон Кихота Ламанчского полным увенчалось успехом	86
Глава XXI. Об удивительных вещах, которые, по словам неукротимого Дон Кихота, довелось ему видеть в глубокой пещере Монтесиноса	90
Глава XXII, в коей завязываются приключение с ослиным ревом и забав-	

ное приключение с неким раешником, а также приводятся достопамятные прорицания обезьяны-прорицательницы . . .	94
Глава XXIII, в коей продолжается забавное приключение с раешником и повествуется о других поистине превосходных вещах	102
Глава XXIV, в коей поясняется, кто такие были маэсе Педро и его обезьяна, и рассказывается о неудачном для Дон Кихота исходе приключения с ослиным ревом, которое окончилось не так, как он хотел и рассчитывал	109
Глава XXV. О событиях, которые станут известны тому, кто о них прочтет, если только он будет читать со вниманием	113
Глава XXVI. О славном приключении с заколдованною ладьею	117
Глава XXVII. О том, что произошло между Дон Кихотом и прекрасной охотницей	122
Глава XXVIII, повествующая о многих великих событиях	126
Глава XXIX. О том, как Дон Кихот ответил своему хулителю, а равно и о других происшествиях, и важных, и забавных	130
Глава XXX. О приятной беседе герцогини и ее горничных девушек с Санчо Пансою, достойной быть прочитанною и отмеченною	140
Глава XXXI, в коей рассказывается о том, как был изобретен способ расколдовать несравненную Дульсинею Тобосскую, что составляет одно из наиславнейших приключений во всей этой книге	145
Глава XXXII, в коей продолжается рассказ о том, как Дон Кихот узнал о способе расколдовать Дульсинею, а равно и о других удивительных происшествиях	150
Глава XXXIII. О советах, которые Дон Кихот преподавал Санчо Пансе перед тем, как тот отправился управлять островом, а равно и о других весьма важных вещах	155

Глава XXXIV. О второй части советов, преподанных Дон Кихотом Санчо Пансе	161
Глава XXXV. О том, как премудрый Санчо Панса вступил во владение своим островом и как он начал им управлять	166
Глава XXXVI, в коей продолжается рассказ о том, как Санчо Панса вел себя в должности губернатора	170
Глава XXXVII. О том, что случилось с Санчо Пансою, пока он дозором обходил остров	175
Глава XXXVIII, в коей повествуется о том, как паж герцогини доставил письмо Тересе Панса, жене Санчо Пансы	179
Глава XXXIX. О том, как Санчо Панса губернаторствовал далее, а равно и о других поистине славных происшествиях	185
Глава XL. О злополучном конце и исходе губернаторства Санчо Пансы	190
Глава XLI. О том, что произошло с Санчо в дороге, равно как и о других прелюбопытных вещах	198
Глава XLII. О том, что случилось с Дон Кихотом на пути в Барселону	203
Глава XLIII. О том, что случилось с Дон Кихотом при въезде в Барселону, равно как и о других вещах, вполне правдоподобных при всей их видимой нелепости	210
Глава XLIV, повествующая о приключении, которое принесло Дон Кихоту больше горя, нежели все, какие до сих пор у него были	213
Глава XLV, в коей сообщается о том, кто был Рыцарь Белой Луны	219
Глава XLVI. О том, как Дон Кихот принял решение стать пастухом и до истечения годовичного срока жить среди полей, равно как и о других вещах, поистине приятных и превосходных	222
Глава XLVII. О том, что случилось с Дон Кихотом и его оруженосцем Санчо, когда они ехали в свое село	225

Глава XLVIII. О знаменях, последовавших при въезде Дон Кихота в его село, равно как и о других событиях, служащих к украшению и вящему правдоподобию великой этой истории	233
Глава XLIX. О том, как Дон Кихот занемог, о составленном им завещании и о его кончине	236
Комментарии. <i>Н. Мавлевич</i>	242

Мигель де Сервантес Сааведра

ДОН КИХОТ

В двух частях

Часть вторая

Зав. редакцией Г. Н. Усков
 Редактор М. С. Вуколова
 Младший редактор Л. Б. Миронова
 Художник Н. А. Абакумов
 Художественный редактор Л. Ф. Малышева
 Технический редактор Н. Т. Щербак
 Корректор О. В. Алтухова

ИБ № 8896

Сдано в набор 31.08.84. Подписано к печати 22.01.85.
 Формат 60×90^{1/16}. Бум. офсетная № 2. Гарнит. литературная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 16+0,25 форз. Усл. кр.-отт. 16,69. Уч.-изд. л. 17,34+0,44 форз. Тираж 300 000 экз.
 Заказ 865. Цена 70 коп.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Промсвещение» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 129846, Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41.

Смоленский полиграфкомбинат Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Смоленск-20, ул. Смольянинова, 1.

”Свобода, Санчо,
есть одна из самых
драгоценных щедрот...
с нею не могут сравниться
никакие сокровища: ни те,
что таятся в недрах земли,
ни те, что сокрыты на дне
морском. Ради свободы,
так же точно как и ради
чести, можно и должно
рисковать жизнью, и,
напротив того, неволя
есть величайшее из всех
несчастий, какие только
могут случиться
с человеком...”



